

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

1

ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1972

СОДЕРЖАНИЕ

И. К. Белодед (Киев). Советский народ, нации, языки	3
---	---

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Р. А. Будагов (Москва). Определяет ли принцип экономии развитие и функционирование языка?	17
С. И. Котков (Москва). О памятниках народно-разговорного языка	37
Я. Горецкий (Братислава). Фонологическая система словацкого литературного языка	46
М. Л. Гаспаров (Москва). Метрический репертуар русской лирики XVIII—XX вв.	54

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

А. И. Сологуб (Москва). Формы родительного, дательного и предложного падежей существительных женского рода продуктивного типа склонения в русских говорах.	68
А. И. Дубинский (Варшава). Заметки о языке литовских татар	82
Г. Дёрфер (Гёттинген). О состоянии исследования халаджской группы языков	89
Е. И. Царенко (Донецк). О ларингализации в языке кечуа	97
А. Н. Качалкин (Москва). Памятники местной деловой письменности XVII в. как источник исторической лексикологии	104
Р. С. Манучарян (Ереван). Вопросы интерпретации и измерения глубины слова	114
А. Е. Кибрик (Москва). О формальном выделении согласовательных классов в арчинском языке	124

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Л. Р. Зиндер (Ленинград). А. А. Реформатский. Из истории отечественной фонологии	132
И. Шютц (Эрланген). Н. И. Толстой. Славянская географическая терминология. Семасиологические этюды	136
В. П. Жуков (Новгород), В. И. Максимов (Ленинград). Ф. П. Сороколетов. История военной лексики в русском языке	139
Р. Я. Удлер (Кишинев). «Noul atlas lingvistic român pe regiuni. Oltenia», I, II; «Atlasul lingvistic român pe regiuni. Maramureş», I	142
В. Б. Касевич (Ленинград). Р. М. Postal. Aspects of phonological theory	148
М. М. Маковский (Москва). J. W. R. Lindemann. Old English preverbal <i>ge-</i> : its meaning.	153

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Письма в редакцию

Г. С. Ахведиани (Тбилиси). Новое в картвелистике	157
Хроникальные заметки	159

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Азманова, Р. А. Будагов, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев,
 Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), В. З. Панфилов (зам. главного редактора),
 Б. А. Серебренников, В. М. Солнцев (зам. главного редактора),
 О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин (главный редактор), Г. В. Церетели, В. Н. Ярцева

Адрес редакции: Москва К-31, Кузнецкий мост, д. 9/10. Тел. 228-75-55

И. К. БЕЛОДЕД

СОВЕТСКИЙ НАРОД, НАЦИИ, ЯЗЫКИ

(Социолого-лингвистический очерк)

При определении понятия современного развитого человеческого общества, представляющего собой этнолингвистическую, в большинстве случаев, общность, а также и государственное объединение в соответствующей его социальному характеру форме, наука и практика нашего времени пользуются терминами «нация», «народ». Эти термины используются и в названиях постоянно действующих или периодически собирающихся международных организаций, например: Организация Объединенных Наций (раньше — Лига Наций), Ассамблея народов мира и т. п.; словосочетания с этими словами являются также высокими символами в общей борьбе народов за мир и прогресс: *воля народов мира, усилия всех наций мира, форум народов мира, знамена всех наций мира* и многие другие крылатые словосочетания этого характера прочно вошли в своей национальной оболочке во все языки мира.

В некоторых странах понятие нации, народа объединяется с понятием государства, подданства. Во многих случаях языковая принадлежность человека находится в прямом соответствии с его национальной принадлежностью, выступая, таким образом, составной частью понятия нации. Однако в ряде случаев родной язык человека не совпадает с национальной принадлежностью. В некоторых государствах языковой критерий вообще не используется для выяснения определенных аспектов демографической ситуации. В ряде капиталистических стран трактовка языка общения, обихода как государственного языка затемняет или исключает признание параллельного существования родного языка человека с его конкретной национальной принадлежностью.

В характеристике, в этом плане, многонациональных государств, при наличии в них ряда наций, крупных этнолингвистических массивов, понятие «народ» нередко расширяется и приобретает различное социальное содержание в зависимости от конституционных установлений этого государственного объединения, его классового строя. Необходимо, однако, строго разграничивать фактическое положение наций в капиталистических странах и научное понимание наций в этих странах. Ученые-марксисты, передовые социологи капиталистических стран стоят в этом отношении на правильных позициях, давая единственно верное определение наций, основанное на объективных научных критериях понимания сущности данных исторических категорий.

Известно, что в понятие «американский народ» в США входят люди многих наций, народов, народностей, этнических групп, принадлежащих даже к различным расам. Подобного типа объединение представляет и канадский народ, хотя положение отдельных частей его имеет здесь ряд отличительных черт при сопоставлении с американским статусом. По сравнению с другими многонациональными капиталистическими странами Европы и Америки США, в ходе своего исторического развития, пошли

дальше всех по пути ассимиляции населяющих их народов и преобразования их в ту общность, которая ныне называется американским народом. Для определения национального положения при переписях в США чаще всего пользуются формулой «американец такого-то национального происхождения, выходец из такой-то страны», такого-то «цвета», или расы. Таким образом, само понятие «нация», «народ», в его обычном понимании, особенно характерном для однопациональных или приближенных к ним государств, здесь отсутствует как во внутригосударственном, так и в международном употреблении. В Канаде, как известно, для наименования национальных общностей как частей канадского народа, пользуются термином «этнические группы».

В ряде других стран в этих случаях принимается во внимание только подданство, без учета национальной и языковой принадлежности.

Таким образом, в этих и подобных многонациональных странах наблюдается стремление к нивелированию или игнорированию самих понятий «нация», «народ» по отношению к определенным частям населения, отсутствие общегосударственных («федеральных», «союзных») узаконенных относительно национальной государственности частей (наций, национальных массивов населения, этнических групп) этого объединенного народа; это же относится, с теми или иными отличительными чертами, и к области языкового развития, к образованию на родном языке и т. п.

В этом аспекте определенную ясность в языковую ситуацию, например, в Соединенных Штатах Америки вносит исследование данной проблемы, осуществленное группой ученых-лингвистов и социологов по поручению Министерства, ведающего вопросами образования в США. Изучив, в частности, положение языков иммигрантских национальных групп, эти ученые пришли к ряду важных выводов, среди которых отметим следующие.

1. Американизация, в частности языковая ассимиляция иммигрантских национальных групп даже западноевропейского происхождения (немецкого, норвежского, шведского, ирландского, славянского, итальянского и др.), не приобрела такого размера, как это предполагалось или считалось возможным на первый взгляд. «Теоретически, — пишет руководитель этой группы ученых и один из авторов исследования Дж. А. Фишман, — американский плавильный котел мог бы действовать с гораздо большим успехом..., принимая во внимание силы урбанизации и индустриализации, поддерживающие его»¹; до сих пор в США существуют культурно-просветительные организации, пользующиеся иммигрантскими национальными языками; на этих языках работает до 2000 школ (правда, на общественные или частные средства), идут радиопередачи и т. п.

2. С другой стороны, эта группа ученых констатирует, что большое количество иммигрантов все же быстро отказалось от родного языка и денационализировалось. Хотя эти ученые и подчеркивают, что в США нет законов, специально направленных против иммигрантских групп, их культур и языков, известны, однако, меры и условия политического, государственного, экономического и культурного характера, способствующие американизации так же, как и прямая политика национальной и социальной дискриминации по отношению к иммигрантским национальным группам. Об этом в ряде мест своей работы упоминают и сами ее авторы. Среди причин, по которым иммигрантские группы, по мнению этих ученых, отказываются от своих языков, фигурирует, в частности, то, что они будто бы добровольно отдают предпочтение «высшей», «лучшей»

¹ «Language loyalty in the United States», ed. by J. A. Fishman, The Hague, 1966, стр. 31. См. также разбор этой работы в ст. Ю. Жлуктенко («Мовознавство», 1971, 4, стр. 28—34).

местной культуре, перед которой и даже развитые языки (немецкий, испанский, французский), и какой-то там «крестьянский язык, имеющий убогую литературу и печать, как, — по словам одного из авторов книги Н. Глейзера — украинский»², должны — конечно же! — спасовать. Попутно следует отметить, что пример с украинским языком явно заводит этих ученых в конфузное положение. Он свидетельствует о некомпетентности авторов в вопросах истории и современного состояния украинского языка, который никогда не был «крестьянским» и имеет древние культурные традиции. Научные трактаты на литературном украинском языке своего времени, не говоря о художественных произведениях, деловых документах, эпистолярии, известных с XIV в. и даже раньше; на этом языке, как и на латинском, польском, греческом, церковнославянском, создавали свои труды еще в первой половине XVII в. ученые Киево-Могилянской Академии, основанной в 1632 г.; на этом языке создана классическая украинская литература еще до Октябрьской революции; имена И. Котляревского, Т. Шевченко, П. Мирного, И. Франко, М. Коцюбинского, Л. Украинки и др. известны культурному миру наряду с великими именами других народов и не нуждаются в снисхождении. После Великой Октябрьской социалистической революции украинский язык, призванный к многогранной государственной, научной, просветительной и культурной жизни, стал высокоразвитым во всех своих функциональных стилях литературным языком, на котором создана известная всему миру научная, художественная и др. литература, который звучит на международных политических и научных форумах и т. д. Нам приходится только высказать сожаление по поводу этой неосведомленности авторов, тем более, что среди них — судя по фамилии В. Нагирного — числится и американец украинского происхождения. Нам также не хотелось бы, чтобы и о других языках у авторов было такое же представление, как об украинском. Как известно, об украинском современном языке существует обширная научная литература, позволяющая компетентно, без всякой предвзятости освещать его объективные ценности. Еще более глубокое познание украинского языка дает непосредственное знакомство с ним в его многогранных функциях в жизни Советской Украины.

Что касается языковой ситуации в Канаде, то, как известно, здесь английский и французский языки законодательно получили права государственных языков, т. е. языков парламента, государственных учреждений и актов, суда и тому подобные функции³. Языки других этнических групп (датский, итальянский, китайский, польский, русский, украинский, финский и др.) этого статуса не имеют, хотя и изучаются в отдельных школах и университетах.

Союз Советских Социалистических Республик, как многонациональное государство социалистического типа, объединение свободных народов (наций, народностей) на принципах их равноправия во всех областях жизни — государственно-политической, производственно-экономической, научной и культурной — обеспечил единство своих народов на научной основе марксизма-ленинизма, на основе тех глубоких социальных преобразований, которые явились результатом Великой Октябрьской социалистической революции и проведения ленинской национальной политики КПСС.

Понятие «народ» в практике социалистического строительства в СЭТР получило несколько аспектов своего содержания. В частности, историческое название «украинский народ» как обозначение национальной и

² «Language loyalty in the United States», стр. 361.

³ «Canada year book 1967, Dominion bureau of statistics» (Canada year book division), Ottawa, 1967, стр. 199—200.

этнической общности, как наименование населения, жителей Украины в социально-классовом плане осмысливалось также, подобно названиям всех других народов, как понятие трудящихся масс, большинства населения страны.

В советский период своей истории украинский народ, украинская нация в результате всего комплекса социальных, революционных преобразований, сформировался как советский украинский народ, украинская социалистическая нация. Как и все социалистические нации великого ленинского содружества — Союза Советских Социалистических Республик — украинская социалистическая нация характеризуется высокой степенью социального единства, единой марксистско-ленинской идеологией, наличием своей советской социалистической государственности, многогранным развитием науки, просвещения, национальной по форме, социалистической по содержанию культуры. Дружба и сотрудничество в процессе достижения общей цели — построения коммунизма — являются характерным, органическим свойством всех социалистических наций и народностей СССР.

С первых дней Советской власти Коммунистическая партия и Советское правительство, осуществляя ленинскую национальную политику, при решении первоочередных задач социалистического строительства уделяли максимум внимания строительству национальной государственности союзных и автономных республик и областей, подъему их экономического и культурного уровня, развитию просвещения на родных, национальных языках народов СССР. Более чем для 50 ранее бесписьменных народов и народностей СССР были созданы алфавиты, письменности, и получили развитие литературные языки этих народов. Как говорил великий украинский поэт Т. Г. Шевченко, — «Нічим отверзлися уста». Была построена широкая сеть начального, среднего и высшего образования на родных, национальных языках народов СССР. Теперь в каждой союзной республике действует Академия наук, организации в области культуры, искусства, радиовещания, пропаганды. Национальные литературные языки народов СССР вошли в сферу государственной, политической, производственно-экономической жизни. Они стали языками науки, культуры; шедевры художественного слова — творения писателей, выразителей дум и стремлений народов СССР в их героическом труде и ратном подвиге, достигли высокого уровня совершенства. Литературные языки всех народов СССР вышли на уровень развитых языков народов мира — в них сформировались и утвердились в многогранных функциях все структурные стили — словесно-художественный, научный, публицистический, деловой, эпистолярный и др., стиль устной литературной речи.

Разрешение национально-языкового вопроса в СССР, достижения советского национально-языкового строительства известны всему миру и служат примером для многих и многих стран. В мировую научную литературу по этой проблеме трудами советских ученых введены фундаментальные исследовательские материалы.

Многие общественные деятели, деятели науки и культуры, писатели как советской страны, так и стран зарубежных при сравнении советской языковой действительности с положением национальных языков в капиталистических странах отмечают имеющиеся здесь существенные различия. Например, делаясь своими впечатлениями о поездке в Англию, советский писатель Георгий Гулия сообщает следующие любопытные факты:

«Некогда Британские острова мне казались „туманным Альбионом“, где национальные проблемы решены еще при Марии Стюарт». Но не тут-то было! «Полтора десятка лет тому назад, — продолжает он, — появились

валлийские колледжи. И лишь совсем недавно разрешили уэльсцам составлять акты гражданского состояния на родном языке. И это при том, что говорящих по-уэльски (валлийски) до трех четвертей миллиона только в самом Уэльсе. Но ведь в Абхазии, например, все это сделано пятьдесят лет тому назад, на первых порах Советской власти!»⁴.

Комментарии, как говорится, излишни...

В этом же плане отметим, что упомянутая выше группа американских ученых призывает покончить с безразличным, даже пренебрежительным, дискриминационным отношением к языкам национальных иммиграционных групп США, так как это, по их мнению, ведет также к неразумной растрате «национальных ресурсов», которые оказались очень кстати, например, в период второй мировой войны... Ученые предложили ряд мер, которые, как они считают, помогли бы сохранить национальные языки иммигрантских групп: финансовая помощь системе иммигрантских школ, печати, радио; подготовка учителей, писателей и др.; поощрение детей иммигрантов, желающих изучать родные языки, создание учебников, литературы; создание при упомянутом Министерстве специального отдела, занимающегося этими языками; организация научного исследования проблемы.

Однако, обосновывая целесообразность этих мероприятий, авторы ссылаются на закон, поддерживающий изучение национальных языков для военных целей (1957), что, естественно, снимает гуманистический и национально-культурный аспект вопроса и придает ему другую специфику.

Авторы сознают всю сложность поворота на 180° в этом вопросе, и в их выводах звучит нота неуверенности в самой возможности осуществления этих мероприятий.

К сожалению, авторы не ссылаются на пример национально-государственного, национально-культурного и национально-языкового строительства в Советском Союзе, где эти мероприятия осуществлены в самой широкой степени и на другой основе. Успехи Советского Союза в развитии национальных языков народов СССР признают и некоторые буржуазные ученые⁵.

В ходе исторического развития народов многонационального Советского государства Коммунистическая партия заботилась о всемерном развитии государственности, экономики, национальных по форме, социалистических по содержанию культур этих народов, воспитывала их на основе идеологии интернациональной дружбы, взаимодоверия и взаимопомощи в строительстве коммунизма и в защите социалистической Отчизны. Все это привело к невиданному прогрессу в жизни и деятельности всех социалистических наций и народностей СССР, к интенсивному обогащению их духовной культуры. Одновременно партия создавала благоприятные условия для сближения наций и народностей нашей страны. Всесторонний учет как общих интересов всего Советского Союза, так и интересов каждой нации и народности СССР, совместная жизнь, труд и борьба за построение социализма и коммунизма, борьба против иностранных захватчиков в нескольких войнах, которые пришлось вести народам Советского Союза, стали основой формирования новой исторической общности советских людей разных национальностей СССР — советского народа.

В отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза Л. И. Брежнев говорил:

⁴ Г. Гулиа, Лондон, Кардиф и др., Лит. газ., 12 V 71, стр. 16.

⁵ Ср., например: J. S p e n s e r, Language and independence, сб. «Language in Africa», Cambridge, 1963, стр. 35—37.

«За годы социалистического строительства в нашей стране возникла новая историческая общность людей — советский народ. В совместном труде, в борьбе за социализм, в боях за его защиту родились новые, гармоничные отношения между классами и социальными группами, нациями и национальностями — отношения дружбы и сотрудничества. Наши люди спаяны общностью марксистско-ленинской идеологии, высоких целей строительства коммунистического общества. Эту монолитную сплоченность многонациональный советский народ демонстрирует своим трудом, своим единодушным одобрением политики Коммунистической партии»⁶.

Одной из характерных черт этой общности является то, что советские народы выступают в ней как единый коллектив, но в то же время коллектив многонациональный. В этой общности гармонически сочетаются общие интересы и стремления всех народов нашей великой Родины — Советского Союза и каждой нации и народности в отдельности.

«Пожалуй, нет человека, — отмечал Л. И. Брежнев в своей речи на праздновании 50-летнего юбилея Советской Грузии, — который не испытывал бы неискоренимого чувства любви, привязанности к земле дедов и прадедов, к родной культуре, к своему языку, своим традициям и обычаям. Но в социалистическом обществе это чувство — чувство патриотизма — перерастает границы, очерченные национальной принадлежностью, наполняется новым содержанием.

Все мы, в какой бы республике мы не жили, — советские патриоты, дети одной социалистической Родины. Наша родная земля, Отчизна наша — это необъятные просторы, раскинувшиеся от Тихого океана до Балтийского моря, от Северного Ледовитого океана до Памира и Кавказа. И все, что создано на этой земле руками людей, — великолепные города, гигантские промышленные комплексы и цветущие нивы, каскады электростанций, ценности духовной культуры, — все это результаты общего труда, наше общее достояние, достояние советского народа»⁷.

Одной из отличительных черт советского народа является то, что гордость за свою нацию, любовь к ней, к своему родному языку, к истории своего народа, к высоким традициям своей культуры органически сочетается в нем с чувством гордости за свою великую социалистическую многонациональную Отчизну; для советского народа характерна глубокая преданность своей единой Родине, верность интернациональному братству и дружбе советских народов.

Формирование и развитие новой исторической общности людей — советского народа происходило не путем ассимиляции наций и народностей Советского Союза, не путем поглощения одной нации другой, как это имеет место в капиталистическом мире, раздраемом расовыми конфликтами и предрассудками, где национальные меньшинства влечат социально и морально жалкое существование, где они «забыты богом и людьми». Возникновение советского народа как высшей формы общности людей произошло на основе расцвета всех социалистических наций и народностей Советского Союза, на базе их государственно-политической, экономической и культурной общности, равенства во всех сферах деятельности. Советский многонациональный народ — это не безликий, нивелированный конгломерат, ибо творческими силами, составными частями его являются образующие его нации и народности, единые в своем общем Отечестве, многообразные в самобытной яркости своих культур, в богатствах своих языков, многогранные в своем творчестве, созидании.

⁶ Л. И. Брежнев, Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза, М., 1971, стр. 94.

⁷ «Пятьдесят лет Советской Грузии». Речь товарища Л. И. Брежнева, Пр. 15 V 1971.

Уже в самом названии — социалистические нации — заключается высокое содержание, утверждение их престижа, их роли во всем творческом процессе развития СССР. Советский народ имеет свои общие цели, общие национальные интересы своей великой Родины — Советского Союза, объединяющего и сочетающего национальные интересы каждой союзной и автономной республики, всех наций и народностей страны.

В Советском Союзе нет языков государственных и негосударственных. Это положение зиждется на ленинском принципе о недопустимости обязательного «государственного» языка в демократическом государстве, что неоднократно подчеркивается в работах В. И. Ленина⁸.

Все языки народов СССР пользуются равными и полными правами во всех сферах жизни многонационального советского государства. Права национальных языков охраняются как Конституцией СССР, так и Конституциями союзных республик. Это находит свое отражение в ряде конституционных статей (см. статьи 40, 110 и др. в Конституции СССР; статьи 90, 101 и др. в Конституции УССР).

В каждой союзной и автономной республике язык основной, коренной национальности, наименование которой отражено в самом названии республики, является и языком этой республики. В этой трактовке язык осмысливается как понятие общественное, а не административно-правовое, ибо статус государственного языка — это категория буржуазного права, утверждающего язык господствующей нации как язык государственной. В связи с этим необходимо подчеркнуть недопустимость терминологической путаницы в этом вопросе, наблюдаемой и в некоторых советских изданиях⁹.

Процесс дальнейшего расцвета и сближения социалистических наций и народностей нашей страны является, таким образом, важнейшей движущей силой коммунистического строительства, важнейшим признаком жизни и развития советского народа как новой исторической общности людей. Этот процесс, естественно, связан с интернационализацией жизни советских людей, т. е. с дальнейшим укреплением их общенародной государственности, общей социально-экономической основы, общей марксистско-ленинской идеологии, научного мировоззрения. Как показала практика жизни многонациональной семьи советских народов, объединяющей до 130 народов и их языков, интернационализация нашей общественной жизни не привела и не приводит к «денационализации». Реальным подтверждением этого является экономический, политический и духовный расцвет каждой нации и народности СССР, их единой, социалистической по содержанию, многообразной по национальной форме культуры. XXIV съезд КПСС, ярко показал мощь и силу каждой союзной республики СССР, с ее рабочим классом, колхозным крестьянством, народной интеллигенцией, мощной экономикой и культурой, высокообразованным национальным литературным языком. Коммунистические партии союзных республик СССР, как органические составные части великой партии Ленина — КПСС, продемонстрировали на съезде свою политическую и организационную зрелость руководителей своих народов, строящих коммунизм, развивающих экономику, науку, культуру, просвещение на уровне современных научных знаний и научно-технического прогресса.

Интернационализация нашей общественной жизни затрачивает все ее

⁸ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 24, стр. 295, 378; т. 25, стр. 146; т. 32, стр. 154 и др. Детальное изложение ленинских положений см. в кн.: І. К. Білодід, Ленінська теорія національно-мовного будівництва в соціалістичному суспільстві, Київ, 1969.

⁹ См., например, в книге А. А. Исупова «Национальный состав населения СССР (по итогам переписи 1959 г.)», М., 1964, стр. 36.

сферы, в том числе и процессы развития духовной культуры народов СССР, и все это находит свое определенное специфическое отображение в развитии языков народов СССР, в языковом развитии нашего многонационального и многоязычного социалистического общества.

Как известно, в марксистско-ленинской теории, в частности в положениях по национальному вопросу, язык является одним из главнейших — хотя и не единственным — признаков нации. Руководствуясь этими принципами, осуществляя ленинскую национальную политику, в частности претворяя в жизнь ленинскую теорию национально-языкового строительства, развивая ленинские мероприятия в этой области, осуществленные им лично еще при жизни, Коммунистическая партия всегда уделяла максимум внимания развитию национальных языков народов СССР, что является одним из положений Программы КПСС. Это отношение к национальным языкам, к русскому языку как средству межнационального общения и единения народов СССР нашло свое яркое отражение как в Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду партии, так и в выступлениях делегатов съезда.

«Вызывает большое удовлетворение тот факт, — говорил Л. И. Брежнев, — что плодотворное развитие литературы и искусства происходит во всех наших республиках, на десятках языков народов СССР, в ярком многообразии национальных форм»¹⁰.

Советская языковедческая наука создала ряд обобщающих теоретических работ, посвященных развитию языков социалистических наций, а также ряд монографий и практических пособий, дающих описание многих языков народов СССР. В частности, ряд работ был посвящен теоретическим вопросам и практике двуязычия, при котором в общественно-языковой практике гармонически сочетаются функции национальных языков и языка межнационального общения — русского языка. Целесообразность и необходимость этой практики получили в общественно-языковой жизни многонациональной семьи советских народов общее признание.

На современном этапе мирового языкового развития двуязычие (билингвизм), т. е. владение родным языком и вторым языком, при помощи которого расширяются сферы общения, является одной из характерных черт и закономерностей этого развития. Известно, что во многих странах мира литературно-языковой билингвизм стал широким явлением быта, производственной, научной, культурной деятельности людей.

В Советском Союзе владение родным национальным языком и языком межнационального общения — русским языком, который народами СССР добровольно избран для выполнения этих функций, является одной из черт языковой действительности и дальнейшего языкового развития, одним из символов великого братства свободных и равноправных народов.

Уважение к национальным языкам в Советском Союзе нашло также свое отражение и в Переписи населения СССР в 1970 г., при которой языковые показатели являлись важными данными для общей характеристики демографической ситуации в нашей стране. Исходя из научных положений о том, что родной язык не всегда совпадает с национальностью говорящего, что понятие родного языка в многонациональных и многоязычных государствах не может быть заменено понятием обиходно-разговорного языка, распространенного, в определенных условиях, в этой стране (так практикуется при переписи в ряде капиталистических стран)¹¹,

¹⁰ Л. И. Брежнев, Отчетный доклад Центрального комитета КПСС XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза, стр. 108.

¹¹ См.: А. А. И с у п о в, указ. соч., стр. 11; А. И. Г о з у л о в, Переписи населения земного шара, М., 1970, стр. 88—89.

при переписи населения в СССР языковые данные определялись по такой формулировке: «Родной язык, указать также другой язык народов СССР, которым владеете». Таким образом, эта трактовка вопроса отражает и значение родных языков в жизни многонационального населения нашей страны, и распространение второго языка, принадлежащего к семье языков народов СССР, которым граждан СССР свободно владеет. Без такой постановки вопроса невозможно было бы получить правдивую картину языковой ситуации в многонациональной и многоязычной стране.

Перепись населения СССР 1970 г. показала, что 94 процента населения нашей страны назвали своим родным языком язык своей национальности, а шесть процентов — языки других национальностей. Это огромная победа ленинской национальной политики КПСС, воспитавшей в советских людях как идеологию пролетарского интернационализма, советского патриотизма, так и любовь к своей нации, к ее славным историческим традициям, к своей культуре и к своему языку. Это данные полностью опровергают вымыслы буржуазных националистов и ревизионистов о «русификации», об «ассимиляции» национальных культур и языков.

Одновременно перепись показала дальнейшее возрастание роли русского языка — языка межнационального общения и единения народов СССР, увеличение числа людей, владеющих им. Русский язык — или как родной язык, или как второй язык, которым свободно владеют, — назвали не только граждане русской национальности, но и граждане других национальностей СССР — до 184 млн. человек.

О значении русского языка в жизни советского народа говорил ряд делегатов XXIV съезда КПСС. «Русский язык является испытанным средством межнационального общения и сотрудничества, он стал вторым родным языком всех народов СССР. Русский язык — это могучий ускоритель процесса сближения наций. Русский язык — это знамя дружбы и братства народов»¹².

На съезде писателей СССР грузинский писатель Григол Абашидзе так определял значение русского языка в жизни советских народов; «Русский язык является тем мостом, который не только связывает, но и духовно сближает наши народы. Он играет огромную роль в жизни нашей многонациональной страны, с его помощью осуществляются обмен духовными ценностями и взаимообогащение культур братских народов»¹³.

О роли русского языка в развитии литератур и языков братских народов СССР, о большом значении творческих контактов языков социалистических наций с русским языком для их взаимного обогащения, в частности, в процессе перевода, очень убедительно говорил на этом же съезде украинский писатель В. Козаченко: «Великая историческая роль русского языка в единении, взаимообогащении и дружбе наших литератур общеизвестна. Значение его, несомненно, будет возрастать и в будущем. Все достойное, изданное на 75 языках народов СССР, обязательно должно переводиться на русский язык, ибо это для большинства литератур выход в большой мир. Это ставит перед Союзом писателей важнейшую и еще не в полной мере решенную проблему переводческих кадров, проблему изучения национальных языков, потому что нужно наконец избавить русский язык от сомнительных услуг подстрочника, калечащего и сам русский язык, и язык оригинала»¹⁴.

Развитие языков социалистических наций в настоящий период их истории базируется на тех огромных социальных изменениях, которые

¹² Речь тов. Ш. Р. Рашидова, Первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана на XXIV съезде КПСС, Пр., 2 IV 71.

¹³ Выступление Г. Абашидзе, Лит. газ., 7 VII 71.

¹⁴ Выступление В. Козаченко, там же.

утвердились в советском социалистическом обществе. Это, во-первых, социальное единство общества, устраняющее всякие, имевшие место в прошлом, классовые тенденциозные намерения обратить литературный язык в средство духовного порабощения трудящихся масс, средство отграничения господствующего класса от полу рамотных народных масс, средство бюрократизации всего стиля государственной деятельности вопреки необходимости демократизации и усовершенствования литературного языка на путях развития науки, просвещения, научно-технического прогресса, эстетических требований народных масс.

Во-вторых, это широкие функции литературного языка во всех сферах жизни народа, который в результате развития просвещения и культуры в стране владеет этим литературным языком как надежным и всеобъемлющим инструментом общения; диалектная речь потеряла свое прежнее значение и отступила в локальную бытовую среду.

В-третьих, в результате выравнивания всех республик и районов СССР в производственно-экономическом, научном и культурном отношении, достижения ими высокого уровня общего развития литературные языки всех социалистических наций выработали в своей структуре все функциональные стили и стали многогранно богатыми языками, способными удовлетворять все запросы общества в период современного развития науки, научно-технического прогресса, эстетических требований.

В-четвертых, в результате ликвидации разрыва в культурном уровне советского города и советского села возросла культура речи всего населения страны, возросло умение пользоваться литературной речью во всех сферах жизни; литературная речь вошла в сферу производства, быта, стала непосредственным достоянием населения страны. Переход страны на обязательное общее среднее образование еще более углубляет этот процесс овладения богатствами литературной речи.

В-пятых, усилился процесс взаимодействия языков социалистических наций, их взаимообогащения и взаимопроникновения; расширились творческие контакты языка межнационального общения — русского языка с языками народов СССР, его функции, наряду с функциями остальных литературных языков народов страны, в приобщении всех народов СССР к культурным достижениям мировой науки, культуры и искусства, к языковым ценностям языков мира.

В языковедческой и других общественных науках выработалось правильное, марксистско-ленинское понимание путей дальнейшего развития, движения вперед всех национальных языков народов страны. Здесь не могут допускаться какие-либо проявления национализма и шовинизма, недооценки роли национальных языков, нигилистического, пренебрежительного отношения к ним или восхваление архаических, раритетных черт в структуре языка с целью добиться его обособленности, националистической ограниченности, противопоставления другим языкам.

Известно, что передовая лингвистическая наука всегда отстаивала прогрессивные тенденции в развитии языка, понимая, что задачей этого развития является усвоение языком всего того нового, что приносит общественная жизнь, устранение всего того, что тормозит развитие и совершенствование языка, пытается повернуть его историю вспять, на хуторянские пути примитивизма. Великий языковед-философ А. А. Потебня подчеркивал, что «... чем архаичнее язык народа, чем менее резкие перевероты в нем совершаются в течение времени, отделяющего его от начала, тем более возможна для него денационализация»¹⁵.

¹⁵ А. А. Потебня, Полн. собр. соч., I, 5-е изд., Харьков, 1926, стр. 189.

Действительное развитие языка, особенно в наше время научно-технического прогресса возможно только на путях усвоения им новых языковых ценностей, вырабатываемых и в других языках, т. е. на путях взаимообогащения языков посредством разносторонних контактов, на путях интернационализации всей нашей современной жизни. В этом процессе не происходит «денационализации», так как национальное повышается, приобретая современные формы, до уровня межнациональных обобщений, становится ценностью межнационального и мирового языкового развития.

Как правильно отмечает Э. Баграмов, «...отождествление сближения наций с их ассимиляцией, встречающееся еще в нашей научной литературе, недопонимание неразрывной связи расцвета и сближения наций как двух тенденций, носящих объективный характер, искажает подлинный смысл процессов интернационализации»¹⁶.

В процессе сближения социалистических наций их языки взаимодействуют и взаимообогащаются. Марксистско-ленинская наука, изучая перспективы развития наций вплоть до их слияния, подчеркивает, что к слиянию наций и уходу в прошлое национальных различий человечество придет в результате всестороннего расцвета и сближения наций только в период после победы и упрочения коммунизма во всем мире. Поэтому стремление ускорить этот процесс, «перескочить» его определенные этапы, как и тормозить, искусственно задерживать это развитие является вредным и не должно иметь места ни в теоретической, ни в практической нашей деятельности, так как противоречит естественноисторическому, прогрессивному развитию общества.

Говоря об обществе будущего, ученые высказывают свои суждения как о возможности появления и существования единого, общечеловеческого языка, так и о характере этого языка, путях его создания: или путем выделения самой мировой языковой практикой, подтвержденной согласием народов, одного из самых распространенных современных языков на роль единого международного языка; или создание путем научного синтеза нового языка из наиболее интернационализировавшихся элементов современных ведущих языков; или создание нового, искусственного языка на основе использования самых обобщенных и упрощенных структур, элементов современных языков. Некоторые ученые выдвигают план создания отдельно единого звукового языка и отдельно же — создание письменного языка, подобного математическим, физическим, химическим формулам и другим языковым символам для общения людей науки. В случае, если будет признана целесообразность в роли единого, общечеловеческого языка какого-либо из современных языков, то следует выбрать, говорят некоторые ученые, язык какого-либо малого количественно народа, чтобы устранить возможные в противоположном случае тенденции политического соревнования.

Не останавливаясь в этом очерке на рассмотрении вопроса о будущем едином языке, обратимся к характеристике современной языковой ситуации в аспекте современного развития языков народов СССР и их ближайшего будущего. Хотя известно, что измерение этих периодов в языке, как и в археологии, достаточно протяженно и исчисляется большими величинами, т. е. языковые изменения происходят в длительные сроки, иногда захватывают жизнь нескольких поколений, однако в языковой структуре, например в лексике, имеются элементы, изменения в которых происходят динамически, удовлетворяя насущные обществен-

¹⁶ Э. Баграмов, Развитие и сближение социалистических наций, Пр., 16 VII 71.

ные потребности и требуя регулирования, нормирования со стороны науки и практики.

Как мы уже подчеркивали, в современном процессе сближения наций СССР происходит взаимообогащение и взаимодействие их языков, развитие, совершенствование их самобытных национальных структур, особенностей. Происходит консолидация национальных литературных языков, выработка монолитности их структуры как в письменном литературном языке, так и в устной литературной речи. В процессе этой консолидации некоторые языки малых народностей, национальных меньшинств вливаются в языки крупных наций: например, языки таких этнографических групп, как крызы, хиналуги, будухи и некоторые другие — в азербайджанский; языки народностей так называемой шугнано-рушанской группы (шугнанцы, рушанцы, ваханы) — в таджикский и т. п. В этом случае объединения с большой нацией и ее языком малых народностей, групп и их языков возможны и процессы естественной ассимиляции. При этом происходит определенная дифференциация общественных и бытовых функций языков этих народов в плане увеличения или уменьшения сферы их употребления.

Одновременно в развитии языков социалистических наций вырабатываются черты общности в определенных компонентах их структуры и общественных функций, т. е. происходит процесс, наблюдаемый и в жизни мирового языкового океана, в развитии и взаимодействии языков мира. Однако в социалистическом мире этот процесс имеет целенаправленный характер, он в значительной степени управляется обществом в соответствии с научными рекомендациями лингвистов и социологов.

Прежде всего это касается языкового освоения создаваемого прогрессом общественной жизни нового понятийного фонда. Многие новые понятия входят в различные языки мира, в том числе и в языки социалистических наций, в их универсальном значении, хотя и в национальной — с большей или меньшей мерой освоения — оболочке. Ср. русск. *борьба за мир*, укр. *боротьба за мир*, белорусск. *барацьба за мір*, польск. *walka o pokój*, чеш. *boj za mír*, словац. *boj za mier*, болг. *борба за мир*, серб.-хорв. *борба за мир*, франц. *lutte pour la paix*, англ. *fight for peace*, нем. *Friedenskampf*; русск. *эскалация*, укр. *ескалація*, белорусск. *эскалацыя*, польск. *eskalacja*, болг. *ескалация*, серб.-хорв. *ескалација*, англ. *escalation*; русск. *глобальный*, укр. *глобальний*, польск. *globalny*, чеш. *globální*, словац. *globálny*, болг. *глобален*, серб.-хорв. *глобалан*, нем. *global*, франц. *global* и др. При этом понятия вступают в состав образных выражений, образуют устойчивые словосочетания, фразеологизмы, весьма близкие по строению, компонентам в разных языках, часто даже по звучанию. Например: русск. *гидропонный способ*, укр. *гідропонний спосіб*, белорусск. *гідропонны спосаб*, польск. *hydroponiczny sposób*, чеш. *hydroponická způsob*.

Подчеркнем, что ряд понятий имеет четкую идеологическую направленность, не являющуюся приемлемой для представителей противоположных идеологий (например, прогрессивный лозунг — словосочетание *Борьба народов за мир и прогресс, против колониализма и неоколониализма* и т. п. квалифицируется буржуазной пропагандой как «коммунистическая агитация»; лингвисты-марксисты в словосочетаниях «народный капитализм», «общество благоденствия» и т. п. справедливо видят словесную маскировку эксплуататорской сути капиталистического мира — и т. п.).

Большое значение в этой межязыковой общности играют лексические, в частности терминологические, интернационализмы, которые входят в общую часть словаря многих языков (русск. *кибернетика*, *бионика*, *радар*, *лазер*, *пенициллин*; укр. *кібернетика*, *біоніка*, *радар*, *лазер*, *пеніцилін*;

белорусск. *кібернетыка, біёніка, радар, лазер, пеніцылін*; польск. *cybernetyka, bionika, radar, laser, penicylina*; чеш. *kybernetika, bionika, radar, laser, penicilin*; словац. *kybernetika, bionika, radar, laser, penicilin*; болг. *кибернетика, бионика, радар, лазер, пеницилин*; серб.-хорв. *кибернетика, бионика, радар, пеницилин*; англ. *cybernetics, bionics, radar, laser, penicillin* и др.); особое значение в этом отношении имеют социалистические интернационализмы, выработанные в языках социалистических наций и составляющие их общий фонд (русск. *ЦК, инструктаж, стенгазета, новатор, рационализатор, механизатор*; укр. *ЦК, інструктаж, стінгазета, новатор, раціоналізатор, механізатор*; белорусск. *ЦК, інструктаж, насценгазета, наватар, рацыяналізатор, механізатор*; польск. *СК, instruktaż, gazetka ścienna, nowator, racjonalizator, mechanizator*; чеш. *UV, instruktaž, nástěnka, novátor, zlepšovatel, mechanizator*; словац. *UV, inštruktáž, nástěnka, novátor, zlepšovateľ, mechanizátor*; болг. *ЦК, инструктаж, стенестник, новатор, рационализатор, механизатор*; серб.-хорв. *ЦК, инструктирање, зидне новине, новатор, рационализатор, механизатор*, и др.). Основой этих лексических интернационализмов являются преимущественно европейцы, восходящие к греко-латинской традиции, которые становятся достоянием и других языковых систем.

Элементы общности фиксируются также в основах слов, морфемах, суффиксах, в способах их композиции, в моделях словообразования (ср. распространение в славянских языках новых отглагольных бессуффиксных существительных типа русск. *жим*, польск. *dobór, osiąg*, спорт. *wzrost*, образований с суффиксами *-изация, -фикация* типа русск. *витаминация, теплофикация*, укр. *вітамінізація, теплофікація*, чеш. *marsruřizace, rajonizace, teplořikace*, болг. *радиофикация*, серб.-хорв. *toplifikacija*, с суффиксом *-овка* типа русск. *подсортировка, стыковка*, белорусск. *стыкоўка*, болг. *бонитировка*, возникновение сравнительно больших групп сложных слов с общим для каждой группы компонентом типа *теле-, радио-, авто-, само-, быстро-*, например, русск. *телепрограмма, телепередача, телезритель, радиовидимость, радиомост, радиосвязь, быстродействующий, быстротвердеющий* и их соответствия в других славянских языках, не говоря уже о сохранении продуктивности ранее усвоенных аффиксов типа *-изм, -ист, -анти-* и др.). Это относится также и к области синтаксических конструкций, начиная от устойчивого словосочетания (ср. примеры, приведенные выше) и кончая большим синтаксическим единством, синтаксической композицией периода, текста.

Общность вырабатывается в процессе параллельного развития словотворчества в ряде национальных языков, их эквивалентными средствами, в процессе, который основывается на единстве восприятия и освоения, впитывания и выражения новых понятий.

Займствования из языка в язык, совершающиеся на разных уровнях (фонологическом, морфологическом, лексическом, синтаксическом и семантическом), с большей или меньшей степенью освоения заимствованных слов и форм средствами своего языка, также содействуют расширению фонда общности, как и межъязыковое калькирование — весьма распространенное, как известно, явление в практике мировых языковых контактов.

Универсализации моделей высказывания, в частности выработке языковых стандартов, точности, экономии, способствуют интенсификация и оптимизация самого процесса мышления современного человека, обусловленного динамикой современной жизни, бегом времени, рожденным темпами научно-технической революции, глобальностью познания¹⁷.

¹⁷ Ср.: Н. П. Бехтерева, *Нейрофизиологические аспекты психической деятельности человека*, Л., 1971.

Выработке языковой общности содействовала и содействует также общая письменность: латинская, славянская, арабская, иероглифическая, деванагари, являясь в сочетании с другими языковыми элементами действенным средством межъязыковой коммуникации.

В выработке языковой общности большую роль играет перевод с одного языка на другой различной литературы. Из множества возможных способов создания общих (как и различных) компонентов в языках на основе перевода и связанной с ним активизации языкотворческих процессов отметим влияние русского языка на казахский, как и на некоторые другие, например, в области формирования сложных синтаксических построений. Этот перевод, в частности, научной литературы, активизировал большие синтаксические единицы типа периода, высказывания, которые, как известно, издавна характерны для синтаксического строя казахского языка, отличающегося своей афористичностью¹⁸.

Итак, важнейшими характерными чертами и тенденциями современного развития языков социалистических наций является их дальнейший расцвет, совершенствование и выработка определенных черт общности; расширение и углубление функции русского языка как языка международного общения и единения народов СССР, языка международного действия, усиление его творческих контактов и взаимодействия со всеми языками народов мира.

Выработка элементов межъязыковой общности характерна для всех языков мира, как характерно и пробуждение к общественным функциям в письменной и устной форме ряда языков Африки и Азии, не имевших ранее своей письменности, литературного языка. Увеличение количества общих элементов в структуре разных языков в свою очередь способствует взаимопониманию и сближению народов, являющихся носителями соответствующих языков. Во взаимоотношениях социалистических наций этот процесс сказывается наиболее отчетливо.

Расцвет языков социалистических наций СССР — одно из величайших достижений социалистического строя жизни свободных народов.

Задачей языковедческой науки является глубокое исследование связанной с этим многогранной проблематики и выработка научных рекомендаций по регулированию и совершенствованию процессов языкового развития. В этом комплексе важное место принадлежит работе по воспитанию любви и уважения ко всем языкам народов СССР, патриотической гордости за их богатство, силу, красоту.

Дальнейшее глубокое, научное исследование и освещение сущности политики КПСС в области развития языков народов многонациональной советской страны, процессов национально-языкового строительства в СССР, содержания советской языковой действительности, борьба против буржуазно-националистических и шовинистических искажений в толковании этих фактов является насущной теоретической и практической задачей лингвистической науки, обеспечивающей эффективность процесса развития и совершенствования языков социалистических наций СССР.

¹⁸ См.: К. Сагындыков, К вопросам перевода трудов В. И. Ленина на казахский язык (1946—1970). Автореф. канд. диссерт., Алма-Ата, 1971, стр. 16 и след.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Р. А. БУДАГОВ

ОПРЕДЕЛЯЕТ ЛИ ПРИНЦИП ЭКОНОМИИ РАЗВИТИЕ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЯЗЫКА?

1. Постановка вопроса

У самых разнообразных лингвистов мы часто читаем о том, что «язык действует экономно». Слово и словосочетания *экономно*, *принцип экономии*, *закон экономии* то и дело встречаются на страницах лингвистических изданий разных стран мира. Пишутся даже статьи и книги о принципах лингвистической экономии, хотя никто толком не знает, что это такое и как следует понимать слово *экономия* (или термин *экономия*?) по отношению к такому сложнейшему феномену, каким является язык.

Само понятие об «экономии языка» возникло, как это будет показано в следующем разделе, давно, но его широкое применение наблюдается в последние двадцать — двадцать пять лет, особенно у тех представителей науки, которые занимаются разработкой методики «подачи языка на приборы», методикой чисто количественного изучения языковых категорий. Не менее широко словосочетание «экономия языка» встречается и у ученых, озабоченных созданием всевозможных искусственных языков для тех или иных целей. Об «экономии языка» стали писать и лингвисты, исследующие естественные языки народов мира. Все это говорит о том, что понятие об «экономии» нуждается в лингвистическом анализе.

С самого начала следует расчлнить проблему. В последующих строках речь будет идти не о том, насколько «экономны» отдельные слова, словосочетания или предложения в отдельных языках, а об «экономии» как об общем понятии, на основе которого стремятся объяснять важнейшие процессы развития и функционирования языка. Различие между двумя видами «экономии» надо подчеркнуть тем сильнее, чем чаще они практически смешиваются и даже отождествляются. Говорят, например, — «вот это аббревиатура такого-то слова или выражения», следовательно, язык действует по принципу «экономии». Между тем подобное заключение несостоятельно. «Сокращаясь» в одних своих сферах, язык обычно «расширяется» в других своих сферах. Поэтому отмеченное заключение — результат антисистемного понимания языка.

Расчлнить проблему необходимо и по другим соображениям.

Нередко приходится слышать, что разговорный стиль языка «экономнее» письменного стиля. Язык газеты «экономнее» языка журнала. Телеграфное сообщение «экономнее» сообщения, посланного простым или заказным письмом. Диалог «экономнее» монолога, язык хорошего стилиста «экономнее» языка плохого стилиста и т. д. Все эти суждения, сами по себе часто справедливые, не имеют отношения к общей проблеме, намеченной в самом начале настоящего изложения. В только что приве-

денных разграничениях речь идет о различных жанрах и стилях, о различных условиях, в которых протекает коммуникация, наконец, о различных способностях и о различной профессиональной «умелости» людей, прибегающих к тому или иному виду коммуникации. Материалы такого рода не могут, однако, помочь решить более общий вопрос об «экономии» как источнике, будто бы определяющем функционирование языка вообще. Сторонники подобных рассуждений сами невольно противопоставляют «экономные» стили и «экономные» коммуникации стилям и коммуникациям «неэкономным», теоретически не осмысляя при этом вопроса о том, что же типично для языка и как следует отличать «экономную» данной ситуации от «экономии» общих ресурсов и общих возможностей языка.

В чем все же трудность постановки вопроса об «экономии языка»? В свое время Л. В. Щерба, вслед за многими другими выдающимися лингвистами, анализируя «сравнительное достоинство отдельных литературных языков», отмечал свойственное им «богатство наличных средств выражения как для общих, так и для частных понятий»¹. Именно это богатство определяет «достоинство» любого развитого литературного языка: чем богаче язык, тем очевиднее и его достоинство. Эту особенность литературного языка можно распространить и на язык в целом, хотя в общенародной речи подобное богатство обычно выступает в менее кодифицированном, в менее «обработанном» виде, чем в языке литературном. Возникает вопрос о том, как же богатство языка сочетается с его «экономией» и как теоретически следует осмыслить сочетание такого рода?

При поверхностном рассмотрении языка его огромное богатство может показаться излишним, ненужным, избыточным. Между тем такие свойства языка, как широкая синонимичность (лексическая и синтаксическая), не менее широкая стилевая и стилистическая многоплановость, подвижность лексических регистров лексики, умение разными «приемами» воздействовать на окружающих в процессе коммуникации, в особенности, когда говорящим известны лингвистические «тайны», — все эти свойства органически присущи самому языку, и прежде всего его литературной норме.

Как же следует относиться к подобным «излишествам»? Ответ на этот вопрос потребует рассмотрения хотя бы небольшого материала (ограничение неизбежно в рамках одной статьи) и краткой справки из истории вопроса.

2. Из истории вопроса

Мысль о том, что языковая структура должна определяться «экономным распределением» между ее частями получила достаточно широкое распространение уже в XVII—XVIII вв. в связи с обсуждением различных проектов создания искусственных языков. В 1629 г., в частности, Ренэ Декарт писал аббату Мерсеню, что искусственный язык должен иметь лишь «...один способ спряжения, склонения и построения слов». Такой язык «...вовсе не имел бы форм... неправильных, возникающих вследствие привычки к искажению. Изменения глаголов и форм словообразования производились бы при помощи приставок, добавляемых к началу или концу коренных слов. Эти приставки должны находиться в общем словаре. Средние люди (*les esprits vulgaires*), пользуясь этим словарем, смогут свободно овладеть подобным языком в течение шести месяцев»². Идея создания искусственного языка, свободно овладеть ко-

¹ Л. В. Щерба, Избр. работы по русскому языку, М., 1957, стр. 121—122.

² Цит. по кн.: Э. Дрезен. В поисках всеобщего языка, М.—Л., 1925, стр. 26.

торым смогут все за несколько месяцев, очень интересовала мыслителей XVII—XVIII вв. Эта идея оказалась настолько заманчивой («язык без слез и без мучений»), что позднее, уже в XIX в., ее частично стали распространять и на языки естественные, стремясь «упростить» их, доказать возможность аналогичных операций и над ними. При этом начали ссылаться на «природу самого языка».

Особенно любопытны в этом отношении усилия английского философа и социолога Герберта Спенсера (1820—1903). Он рассуждал так: в процессе развития по «естественным законам эволюции» язык движется от сложного к простому. Длинные слова становятся короткими, «многословные предложения — предложениями односложными». Англичане когда-то прибегали к построениям типа *we tellen*, теперь же — *we tell* «мы говорим» (окончание утрачено)³. Если же сам язык, как предполагал Спенсер, стремится к упрощениям, то люди, активно воздействуя на язык, могут ускорить этот процесс. Поэтому в области стилистики аналогичный процесс дает о себе знать особенно настойчиво. Хороший стиль — это меньше «... представить идеи так, чтобы они могли быть понятны с возможно меньшим умственным усилием»⁴.

Здесь удивительным образом смешаны самые различные понятия. Уменьше излагать идеи простым и ясным языком («с возможно меньшим усилием») само по себе действительно свидетельствует об отличном искусстве говорящего или пишущего. Больше того. Подобное искусство обнаруживает не только высокую культуру человека, но и высокий уровень развития того языка, которым пользуются говорящие. Все это бесспорно. Но все это не имеет никакого отношения к процессу превращения длинных слов и длинных предложений в короткие слова и короткие предложения, процессу, который будто бы наблюдается в истории языков мира.

В одних современных языках односложных слов может быть сравнительно много (например, в английском), в других — сравнительно очень мало (например, в итальянском)⁵. Но даже в тех случаях, когда в отдельных языках, в определенные периоды их исторического бытования наблюдается процесс превращения многосложных (точнее — многослоговых) слов в двусложные или односложные, подобный процесс, во-первых, обычно ограничен во времени (совершается в одну эпоху и может не совершаться в другую эпоху), и, во-вторых, часто сопровождается противоположным процессом — появлением многосложных (многослоговых) слов.

Так, например, уже в предыстории французского языка совершился процесс редукции атонических гласных, следующих за ударением (лат. *tabula* > франц. *table* «стол», лат. *prehendere* > франц. *prendre* «брать» и т. д.). Многие слова действительно стали короче. Завершившись в предыстории, этот процесс не только полностью прекратился в исторический период жизни языка, но позднее стал «перекрываться» в литературной норме, в которой возникли многочисленные этимологические дублеты, располагающие по одному «короткому» и по одному «длинному» слову (*raide* «жесткий» — *rigide* «твердый», *le moule* «форма» — *le module* «единица измерения» и пр.). Разумеется, тонкая дифференциация этимоло-

³ Г. Спенсер. Основные начала, Киев, 1886, стр. 171—172 (первое издание книги на английском языке было опубликовано в 1862 г.).

⁴ Г. Спенсер. Соч. II, СПб., 1900, стр. 126. Принцип «экономии» Спенсер переносил и в сферу художественной литературы. Острая и яркая критика этого принципа в художественном творчестве нашего времени дана в книге: Л. С. Выготский, Психология искусства, М., 1968, стр. 254—258, и в статье: Л. И. Тимофеев, Художественный прогресс, «Новый мир», 1971, 5, стр. 240—242.

⁵ S. Battaglia, V. Pernicone, *La grammatica italiana*, Torino, 1951, стр. 39.

гических дублетов наблюдается лишь в литературной норме, но и для французского языка в целом односложные слова не характерны: они встречаются значительно реже, чем слова многосложные и, особенно, двухсложные ⁶.

Проблему «экономии» языка иначе и интереснее ставили младограмматики. В книге Германа Пауля «Принципы истории языка» (1-е изд. — 1880) находим специальную главу «Экономия языковых средств». Однако основные мысли автора на это тему изложены в другой главе под названием «Дифференциация значений» ⁷. Пауль расчленяет проблему. Он допускает существование «всякого рода излишеств» в литературном языке, противопоставляя ему наш «повседневный язык», который стремится избавиться от подобных излишеств. Именно в повседневном языке, как и в общенародной речи, гибнут дублетные образования и устанавливается дифференциация между параллельными формами.

При всей важности отдельных наблюдений и суждений Пауля (нельзя не видеть, как далеко ушел создатель «Принципов» от безапелляционных заявлений Спенсера), все же трудно согласиться с автором в его стремлении резко противопоставить «повседневный язык» и язык литературный. Основа разделения оказалась зыбкой. Хорошо известно, что именно литературный язык стремится к более четкой дифференциации категорий, чем язык повседневный, для целей которого иногда достаточна и приближительность. Между тем у Пауля получалось, что дифференциация форм и категорий больше характерна для языка повседневного, нежели для языка литературного. Вместе с тем проблема дифференциации форм и категорий в языке — это уже совсем другая проблема по сравнению с проблемой сокращения длинных слов и длинных предложений.

Будучи широко образованным лингвистом и тонким знатоком индоевропейских языков, Пауль под влиянием самого материала по существу отходит от проблемы «экономии» языка в ее чисто количественном выражении. Смело и по-новому ставил старую проблему А. А. Потебня, который уже в 1874 г., за шесть лет до Пауля, писал: «...чтобы доказать, что число форм уменьшается, нужно... считать формальные оттенки значений — труд не столь легкий, как счет окончаний». И несколько дальше: «...новые языки вообще суть более совершенные органы мысли, чем древние, ибо первые заключают в себе больший капитал мысли, чем последние» ⁸.

Хотя Потебня иногда ссылаясь на стремление языка к «экономии», он совершенно иначе истолковывал это понятие, чем, например, тот же Спенсер ⁹. Нельзя не удивляться, что уже в 1874 г. русский лингвист подчеркивал, насколько сложнее считать «формальные оттенки значений», чем выводить простое число форм. При такой постановке вопроса Потебня не мог усматривать «экономия» языка в сокращении длины слов или длины предложений, как это делали до него и как это нередко делают и в наши дни.

Любопытно, что в начале текущего столетия В. Вундт критиковал Пауля и других младограмматиков за их, как ему казалось, одностороннюю попытку свести импульсы развития языка к удобству, к упрощению, к «экономии речевых усилий». Вундт обнаруживал в истории языка и противоположные силы, постоянно осложняющие структуру и «психоло-

⁶ W. von Wartburg, *Problèmes et méthodes de la linguistique*, Paris, 1963, стр. 195—197.

⁷ Г. Пауль. *Принципы истории языка*, М., 1960, стр. 301—315.

⁸ А. А. Потебня. *Из записок по русской грамматике*, I—II. 2-е изд., Харьков, 1888, стр. 55—57.

⁹ По другому поводу прямой полемикой с Г. Спенсером начинается третий том замечательного сочинения А. А. Потебни («Из записок...», III, Харьков, 1899, стр. 2—3).

гию языка»¹⁰. И все же, несмотря на отдельные протесты, младограмматическая концепция «экономии» языка продолжает сохранять свою популярность вплоть до наших дней, хотя в эту концепцию иногда вносятся те или иные поправки и уточнения.

Особую известность принцип «экономии» языка получил в фонетике, а позднее и в фонологии. Поль Пасси в 1890 г., имея в виду звуковую систему французского языка, заявлял: «Язык постоянно стремится освободиться от того, что является лишним и выделить то, что оказывается необходимым». Вслед за Суитом, Пасси называл первую тенденцию «законом наименьшего усилия», а вторую — «принципом экономии»¹¹. Обе эти тенденции Пасси хотел обнаружить в фонетике. Ученый воздерживался от более широкого истолкования самого принципа «экономии».

В 1955 г. с аналогичным истолкованием выступает А. Мартине. Французский ученый подчеркивает, что язык постоянно подвергается действию двоякого рода сил: с одной стороны, язык изменяется, так как потребности людей в выражении различных мыслей и чувств все время увеличиваются и усложняются, а с другой — язык не изменяется, так как сказывается инерция этих же людей, приводящая к общему ограничению лингвистических средств выражения. «Языковое поведение» регулируется, таким образом, принципом наименьшего усилия или принципом экономии¹². Поясняя свой тезис, Мартине пишет: «Термин *экономиа* включает все: и ликвидацию бесполезных различий, и появление новых различий, и сохранение существующего положения. Лингвистическая экономия — это синтез действующих сил»¹³.

Нет никаких оснований придавать подобное всеобъемлющее значение «экономии». Если «экономия» — это термин, то он не может «включать все» уже в силу самого своего терминологического характера. Еще важнее другое: почему «появление новых различий» в языке должно относиться к «экономии»? Ведь возникновение новых дифференциальных признаков на любом уровне языка, в любой его сфере, приводит не к уменьшению, а к увеличению числа категорий, форм, слов, которыми оперирует язык. Подобные единицы бывают не только количественными, но гораздо чаще качественными (число значений и оттенков значений). Как и Пасси, Мартине ставит в один ряд и процесс отмирания «лишнего» и процесс появления нового, сводя тем самым «экономия» к какому-то всеобъемлющему понятию, которое «включает все». Едва ли, однако, языкознание нуждается в подобного рода всеобъемлющем понятии.

Важен и другой вывод. Стоит только отказаться от количественного истолкования лингвистической «экономии», как сам термин «экономия» начинает смешиваться с разнообразными другими терминами и понятиями, которыми оперирует лингвистика (например, такими, как дифференциация языковых значений, появление новых различий в языке, устойчивость старых значений и пр. и т. д.). Мартине невольно сам подтвердил подобное смешение, предложив включить в «экономия» все наличные в языке силы и тенденции.

Шаг назад в сторону количественной интерпретации «экономии» был сделан американским лингвистом Л. Блумфилдом в его книге «Язык» (1-е изд.—1933). Подводя итоги всего своего исследования, он писал: «Даже сейчас ясно, что изменения в языке направлены в сторону укоро-

¹⁰ W. W u n d t, Völkerpsychologie, I, 4 Aufl., Stuttgart, 1921, стр. 31 и сл.

¹¹ P. P a s s y, Etudes sur les changements phonétiques et leurs caractères généraux. Paris, 1890, стр. 227—228.

¹² А. М а р т и н е, Принцип экономии в фонетических изменениях. М., 1960, стр. 126 (французское изд. книги вышло в 1955 г.).

¹³ Там же, стр. 130.

чения слов и упорядочения их построения: звуковые изменения делают слова более короткими, а изменения по аналогии заменяют нерегулярные образования регулярными¹⁴. Как видим, Блумфилд возвращается к Г. Спенсеру, сводившему проблему экономии к укорочению слов и к вытеснению нерегулярных образований регулярными. Блумфилд не считался с той критикой подобной концепции, которую развернули уже младограмматики. Он прямо связывает «упрощение языка» с построением будущего искусственного языка. Этот последний представляется ученому как бы упрощенным естественным языком¹⁵. Глубокое качественное различие между любым естественным языком и любым искусственным языком, созданным для определенных целей, не принималось во внимание американским лингвистом.

Если в прошлые времена мысль о возможном «упрощении языка» обычно связывалась с разными проектами создания искусственного языка, то в наши дни аналогичная мысль поддерживается не только подобными проектами, но и опытами машинного перевода с одного языка на другой. Известно, что для осуществления таких опытов оба языка (с которого переводят и на который переводят) должны быть предельно простыми. Со сходными требованиями к языку выступает и кибернетика. Ее постулаты не допускают сосуществования разных значений в пределах одного слова, разных функций в пределах одной конструкции. Понятие различия оказывается «самым фундаментальным понятием кибернетики»¹⁶.

В прошлые годы предпринималась еще одна попытка обосновать принцип «экономии» языка ссылками на ...человеческую лень. В 1931 г. Е. Поливанов, анализируя разнообразие причины развития языка, писал: «И вот, если попытаться одним словом дать ответ относительно того, что является общим для всех этих тенденциях разнообразных..., то лаконичный ответ... будет состоять из одного, но вполне неожиданного для нас на первый взгляд слова: лень»¹⁷. Лень оказывается у Поливанова не только в основе «экономии» языка, но и в основе развития языка вообще. Люди лениятся говорить «по настоящему», в результате чего язык упрощается. Как ни отлична аргументация Поливанова от аргументации Мартине, оба ученых выдвигают универсальное понятие, которое будто бы и объединяет и объясняет все тенденции языка. У Поливанова это понятие называется ленью, у Мартине — экономией.

Совсем недавно со сходной аргументацией выступил западногерманский филолог Г. Вайнрих. В книге под странным названием «Лингвистика лжи»¹⁸ он стремится доказать, будто язык, вследствие полифункциональности своей грамматической системы и многозначности своей лексики, не может адекватно выражать мысли и чувства людей. Поэтому и наука, изучающая естественные языки мира, оказывается «лингвистикой лжи»¹⁹.

Здесь вся проблема ставится с ног на голову. В лингвистической литературе разных стран давно уже доказано, что язык является самым верным, самым точным и самым могучим средством выражения человеческих мыслей и чувств именно вследствие своей полифункциональности и полисемии. Эти свойства языка придают самому языку ту объемность и многоплавность, без которых он не смог бы справиться со своими важнейшими общественными функциями. К этому вопросу еще придется вер-

¹⁴ Л. Блумфилд, Язык, М., 1968, стр. 559.

¹⁵ Там же, стр. 556—558.

¹⁶ У. Р. Эшби, Введение в кибернетику, М., 1959, стр. 23.

¹⁷ Е. Поливанов, За марксистское языкознание, М., 1931, стр. 43.

¹⁸ H. Weingrich, Linguistik der Lüge, Heidelberg, 1966.

¹⁹ Там же, стр. 33—35.

нуться. Пока же отметим, что изучение «экономии» языка нередко приводило лингвистов к самым разнообразным, а иногда и к парадоксально-ошибочным выводам и заключениям.

Как видим, проблема «экономии» языка возникла давно. В истории языкознания наметились два основных ее истолкования: чисто количественное и более широкое, при котором «экономия» стала отождествляться с совокупностью «всех сил и тенденций» языка. В этом втором случае слово «экономия» лишалось своего основного значения, поэтому и правомерность его употребления стала весьма сомнительной.

Вопрос об экономии в языке вновь широко обсуждается за последние годы в связи с различными опытами применения математических методов в лингвистике. Об этом совсем недавно писал бельгийский лингвист Бюиссанс²⁰. И это понятно. Для представителей количественной лингвистики идеалом всякого естественного языка является такой язык, который опирается на принцип: «одно слово — одно значение, одно значение — одно слово». Об этом сейчас говорят многие, в том числе и участники коллективного исследования «Русский язык и советское общество»²¹. К сожалению, авторов подобных утверждений несколько не смущает, что во всех естественных языках мира наблюдается прямо противоположное соотношение: широкая многозначность слов и полифункциональность грамматических категорий. Оба эти свойства любого естественного языка определяются самой его природой и его функциями в обществе.

В самом деле. Обратим прежде всего внимание на известное положение об асимметричности языкового знака, установленное и описанное пражской лингвистической школой еще в двадцатые годы нашего столетия²². Сама идея асимметричности языкового знака выросла из наблюдений над сложностью отношений между обозначаемым и обозначающим. Люди всегда стремятся (сознательно и бессознательно) найти новые средства для номинации обозначаемого. Эти поиски обусловлены развитием языка в его связях с мышлением и окружающей человека действительностью. И хотя в двадцатые годы пражские лингвисты подчеркивали прежде всего коллизии, заложенные в самом языковом знаке, в его асимметричности, не менее существенны здесь и объективные противоречия, обусловленные развитием языка, стремлением говорящих людей ко все более полному и все более адекватному выражению мыслей и чувств.

Датский лингвист Отто Есперсен был безусловно прав, когда еще в 1925 г. отмечал, что принцип «одно слово — одно значение, одно значение — одно слово» превратил бы любой естественный язык в «адски неудобный» язык (возник бы «лингвистический ад»)²³. Подобный принцип, как и принцип, лишаящий грамматические категории их полифункциональности, трансформировал бы язык в элементарное автоматическое устройство, совершенно непригодное для передачи сложнейшего духовного мира людей нашей эпохи.

Сказанное поясним примером. Из множества значений русского прилагательного *глубокий* выделим только два и представим их в виде двух разных слов: *глубокий* «имеющий значительное протяжение сверху вниз», например, *глубокий колодец*, и *глубокий* «серьезный, выдающийся», например, *глубокий мыслитель*. Теперь представим, что перед нами два разных слова,

²⁰ E. B u y s s e n s, Tautologies, «La linguistique», 1970, 2, стр. 37—45.

²¹ «Русский язык и советское общество. Лексика современного русского литературного языка», М., 1968, стр. 121 («...в идеале каждому отдельному значению соответствует отдельный языковой знак в его материальном воплощении»).

²² S. K a r c e v s k i j, Du dualisme asymétrique du signe linguistique, TCLP, 1, 1929, стр. 88—92.

²³ O. J e s p e r s e n, Mankind, nation and individual from a linguistic point of view, Oslo, 1925, стр. 89 и 119.

звучащие неодинаково и не соприкасающиеся по значениям. Каждое из этих двух воображаемых слов сейчас же лишится того объема, который свойствен одному многозначному прилагательному *глубокий* в живом русском языке. Если переносное значение *глубокий* (*глубокий мыслитель*) перестанет восприниматься на фоне его же пространственного осмысления (*глубокий колодец*), то «потухнет» и переносное значение, которое в естественном языке усиливается самым фактом взаимодействия различных значений, в нашем случае — физического (пространственного) и переносного. «Идеал» для искусственного языка (однозначность) действительно обернется «адом» для живого, вечно подвижного и постоянно обогащающегося естественного языка. Языки станут характеризоваться лишь одним количеством (число слов и категорий) и совершенно утратят свои сложные и объемные качественные категории. Языки превратятся в конструкции, «пухлые» по числу своих элементов и «тощие» по качеству этих элементов²⁴.

3. Синхронный материал

Против постулата «экономии» выступает не только теория, но и материал любого естественного языка.

В самом деле. Рассмотрим такую русскую фразу: *Тот большой свирепый лев, который вышел на арену цирка, удивил всех зрителей.* В этой фразе категория грамматического рода (мужской род) выражена семь раз. Несколько дальше мы сможем убедиться, что для построения аналогичного характера в других языках понадобится передать категорию рода не семь раз, как в русском, а меньшее или большее число раз. Однако от этого ни в одном языке аналогичная фраза не станет ни лучше, ни хуже. Чтобы понять, в чем здесь дело, надо обратить внимание на сложное взаимодействие «избыточных» и «неизбыточных» категорий в любом языке. Хотя взаимодействие подобного характера наблюдается в каждом естественном языке, на отдельных участках его системы оно обычно выражается иначе, чем в другом языке.

Известно, например, что модальность может передаваться и лексической семантикой определенных глаголов (типа *надеяться, желать, предполагать, сомневаться, стремиться* и пр.) и наклоном глаголов в придаточных предложениях (индикатив, конъюнктив и др.). В тех случаях, когда в одних языках литературная норма требует конъюнктива, модальность оказывается «избыточной» (она передается и лексически, и грамматически). В тех же языках, в которых конъюнктив в подобных случаях необязателен, «избыточность» не наблюдается. Но при этом невозможно сказать, что лучше: «избыточное» ли выражение модальности или выражение «неизбыточное» («экономное»). Понятие «экономии» не может иметь оценочного характера, не может свидетельствовать о лучшей или худшей организации системы языка. Здесь все определяется теми или иными историческими условиями сложения конкретных языков мира.

²⁴ Р. Карнап различает (см. его книгу «Философские основания физики», М., 1971, стр. 170—176) количественный язык науки и качественный язык нашей повседневной жизни. Чем более строго излагает человек свои мысли, тем ближе его язык к количественному принципу. По мнению автора, к качественному языку прибегают лишь тогда, когда хотят «выразить... чувства в письме к другу или в лирической поэме» (стр. 176). Не говоря уже о том, что Карнап весьма произвольно и вместе с тем наивно суживает сферу распространения качественного языка, сама проблема представляется гораздо сложнее: в количественном языке обычно имеется известная доза качественных элементов, подобно тому, как и качественный язык не обходится без элементов количества. Разумеется, количественный принцип очень важен и в гуманитарных науках. Весь вопрос, однако, в том, как он интерпретируется.

Обратимся к материалу и постараемся показать, что «экономия» часто видят там, где в действительности ее совсем нет. Для этой цели сначала проанализируем несколько предложений разговорного стиля русского языка.

Как начал работать — понемногу откладывал деньги на покупку «Москвича» > *Откладывал деньги на «Москвича»* > *Откладывал на «Москвича»*. Предложение типа *Как начал работать — понемногу откладывал на «Москвича»* обычно рассматривается как упрощенное предложение разговорно-просторечного стиля²⁵. Но там, где упрощение, там и «экономия». В действительности здесь нет ни того, ни другого. Если обратиться к последнему, казалось бы самому «экономному» предложению (*Откладывал на «Москвича»*), то нельзя не заметить, как осложняется семантика самого глагола *откладывать* в построениях подобного образца. Здесь *откладывать* выступает в особом значении «откладывать деньги», т. е. осмысливается иначе, чем в свободном употреблении. Предложение, короткое по длине и тем самым казалось бы более «экономное», оказывается семантически более сложным и тем самым менее «экономным», чем предложение длинное, но с неосложненной («ненапряженной») семантикой глагола *откладывать*.

Предложение разговорного стиля *Помогать брату по арифметике* предполагает фон более развернутого предложения *Помогать брату заниматься (готовиться) по арифметике*. Конечно, лицо, произносящее первое предложение, чаще всего не ощущает фона второго предложения. Первое построение ясно и само по себе. И все же лингвист обязан видеть дальше. Если более короткое предложение по существу осмысливается на фоне более длинного предложения, то первое не может рассматриваться как более «экономное», чем второе. Количественные отношения между словами осложняются отношениями качественными, не позволяющими говорить об экономии первого (короткого) синтаксического типа сравнительно со вторым (длинным) синтаксическим типом.

В связи с победой советских хоккеистов на чемпионате мира в 1971 г. в газете «Правда» была опубликована статья под названием «Одиннадцатикратные!» (2 IV 1971). Это предельно короткое название. Прочитав статью, читатели понимают, что речь идет здесь об «одиннадцатикратных чемпионах мира по хоккею с шайбой». Внешне (количественно) краткое и «броское» название не перестает быть сложным в семантическом (качественном) отношении. Одно слово с восклицательным знаком вбирает в себя значение целого предложения. Очевидны огромные выразительные возможности языка. «Короткое» слово выступает семантически и синтаксически «некоротким», многоплановым.

В военных текстах прилагательное *противолодочный* употребляется по отношению к средствам борьбы с подводными лодками противника. При этом не говорят *противоподлодочный*, а *противолодочный*. Многоморфемное прилагательное, теоретически возможное (*противоподлодочный*), практически сокращается, становится короче и казалось бы «экономнее» (*противолодочный*). Но став «экономнее» количественно (число морфем), прилагательное *противолодочный* осложняется качественно (семантически). Несмотря на формальную утрату морфемы *под*, *противолодочный* продолжает относиться не к лодкам вообще, а к *подводным* лодкам противника. Семантическая структура *противолодочный* тем самым осложняется: не имея морфемы *под*, слово «ведет себя» так, как будто бы эта морфема в его составе бытует.

²⁵ Н. Ю. Шведова, Активные процессы в современном русском синтаксисе, М., 1966, стр. 79.

Сторонники «экономии» обычно связывают понятие «экономии» с понятием дифференциальных тенденций в языке. Но между этими понятиями нет никакой связи. Больше того. Чем отчетливее выражены дифференциальные тенденции в языке (особенно в лексике, синтаксисе, стилистике), тем бессильнее «экономия» с ее принципом «поменьше», а не «побольше». В результате же дифференциации любых языковых категорий самих этих категорий становится обычно больше, а не меньше. И что особенно важно: разграниченные категории получают в языке более законные, апробированные нормой права, чем категории неразграниченные или недостаточно разграниченные.

Следовательно, если и устанавливается связь между понятием «экономии» и понятием лингвистической дифференциации, то подобная связь имеет обратный пропорциональный характер.

Как известно, в русском языке существуют многочисленные однокоренные слова с разным значением: *будний* и *будничный*, *вправить* и *выправить*, *героизм* и *геройство*, *глубинный* и *глубокий*, *двойной* и *двойственный*, *деловой* и *деловитый*, *надеть* и *одеть*, *освещение* и *освещенность*, *планировка* и *планирование*, *решимость* и *решительность* и сотни других²⁶. Здесь могут быть не только парные, но и более сложные противопоставления типа, например, *героизм* — *героика* — *геройство* и т. д. Историкам русского языка хорошо известно, что смысловые разграничения между словами такого характера установились не сразу: они формировались в процессе развития литературной нормы. Чем более строгими становились подобные разграничения, тем труднее стало обходиться без того или иного члена коррелирующей пары слов. Следовательно, дифференциация слов способствовала не «экономии», как обычно утверждают, а «узаконению» всех слов, входящих в отмеченные противопоставления. Слов делалось не меньше, а больше, причем каждое слово в самом процессе разграничения становилось все более и более нужным в системе языка. Легче пренебречь словом-дублетом, чем словом, морфологически и семантически сравнительно строго отделенным от его однокоренного образования.

Известно, что в истории самых разнообразных литературных языков количество синонимов неуклонно увеличивается. При этом наблюдается и параллельный процесс — постепенно устанавливаются все более строгие разграничения между ними (тоже дифференциальный процесс).

Французское прилагательное *venimeux* «ядовитый» употребляется вплоть до конца XVIII в. в таком же значении, как и прилагательное *véneux*. Затем между ними произошла дифференциация. Первое стало обозначать «ядовитый» по отношению к змеям и паукам, а второе — «ядовитый» по отношению к растениям. Дифференциация помогла обоим словам закрепиться в языке. Так же постепенно произошло разграничение семантики таких существительных, как *fleuve* и *rivière*. Первое теперь именуется «реку, впадающую в море», а второе — «реку, впадающую в другую реку». Разумеется, подобная дифференциация вовсе не обязательна для разных языков. Родственные итальянский, испанский и португальский языки, в частности, располагают для именованной реки по одному слову. Языки же, имеющие в своем фонде по два и более слов для номинации *реки*, теоретически в состоянии устанавливать дифференциальный признак между подобными словами по разным параметрам: величина реки (малые и большие реки), глубина реки (глубокие и мелкие), степень возможного производственного использования реки (судоходные и не-

²⁶ См., например, словарь «Трудные случаи употребления однокоренных слов русского языка. Составили Ю. А. Бельчиков и М. С. Панюшева», М., 1966; Н. П. Косинов, Словарь паронимов русского языка, Тбилиси, 1971.

судоходные) и т. д. Для цели моей статьи здесь существенно подчеркнуть лишь одно: дифференциация слов способствует увеличению словаря, а не его уменьшению. Поэтому дифференциацию ошибочно связывают с «экономией» языка.

До середины XVIII в. европейские языки не располагали словами, равными по значению современным *культура* и *цивилизация*. Со второй половины века Просвещения почти одновременно оформляется два новых слова (*культура*, *цивилизация*), между которыми в разных языках постепенно устанавливаются тонкие и сложные градации²⁷. Казалось «экономнее» было бы иметь по одному слову для выражения нового понятия. Многие же языки поступают иначе. В результате выигрывает человеческая мысль, стремящаяся ко все более глубокому осмыслению природы и общества.

Дифференциация, столь характерная для лексики в ее историческом движении, широко наблюдается и во всех других сферах языка.

Известный фонетист и фонолог Б. Малмберг показывает, что современная система гласных французского языка характеризуется двумя вокалическими подсистемами: одна из них, состоящая из 15 фонем, типична для строго литературной нормы, другая, состоящая из 10 фонем, наблюдается в разговорной и фамильярной речи. Здесь могут не различаться фонемы, противопоставление которых в литературной норме совершенно обязательно: например /*ẽ*/ — /*œ*/, *brin* «стебелек; хворостинка» и *brun* «коричневый»²⁸. Следовательно, большее число фонем определенного языка обычно успешнее справляется со своими коммуникативными функциями, чем меньшее число фонем того же языка. При меньшем числе фонем могут возникнуть недоразумения, вероятность появления которых резко уменьшается при большем количестве взаимнопротивопоставленных фонем. Дифференциация, оформляющаяся в лексике чаще всего диахронно, в фонетике и фонологии дает о себе знать прежде всего синхронно. Н. С. Трубецкой был совершенно прав, когда вслед за Л. В. Щербой выделял «различительную функцию» (*distinktive Funktion*) как важнейшую функцию в фонологии²⁹.

В синтаксисе дифференциация категорий наблюдается преимущественно в историческом развитии языка. Анализируя вслед за А. А. Потебней построения типа *он был купец* и *он был купцом*, Д. Н. Овсяннико-Куликовский констатирует, что в древнерусском языке они употреблялись равнозначно. Позднее «... случилось здесь то, что всегда случается, когда в языке оказываются две равнозначные формы: одна из них была применена к выражению одного оттенка, другая — к выражению другого»³⁰. С определенной эпохи конструкция со вторым именительным падежом (*он был купец*) послужила для передачи постоянного признака, а конструкция с творительным (*он был купцом*) — для передачи переменного признака. В этом заключении исследователя лишь наречие «всегда» звучит слишком категорически («всегда случается»), хотя общая тенденция синтаксического развития, приводящая к смысловой дифференциации категорий, намечена вполне убедительно.

Итак, «экономия» и дифференциация — взаимноисключающие друг друга понятия.

²⁷ Во многих языках *цивилизация* чаще употребляется по отношению к прошлым эпохам в истории человечества, *культура* по отношению к более новым временам.

²⁸ B. M a l m b e r g, *Synchronie et diachronie* «X Congrès international des linguistes», Bucuręsti, 1967, стр. 3 (отдельное издание доклада на конгрессе).

²⁹ N. S. T r u b e t z k o u, *Grundzüge der Phonologie*, Wien, 1939, стр. 30 и 34.

³⁰ Д. Н. О в с я н н и к о - К у л и к о в с к и й, *Синтаксис русского языка*, 2-е изд., СПб., 1912, стр. 166.

4. Диахронный материал

Попробую теперь иначе поставить вопрос. Допустим, что принцип «экономии» действительно определяет развитие языка. В таком случае древние языки должны быть менее «экономными», чем языки новые. Если языки становятся «все экономнее и экономнее», то очевидно, что самый принцип «экономии» должен приобретать все большее значение в процессе развития тех или иных языков. Между тем в действительности это нигде не наблюдается.

Младограмматики в свое время установили, что синтаксис древних индоевропейских языков еще не умел передавать временную и пространственную перспективу. Архаичный синтаксис они сравнивали с древней живописью, мастера которой изображали предметы как бы в одной плоскости. Позднее об этом же стали писать и современные исследователи, стремясь уточнить время появления синтаксической перспективы в европейских языках.³¹

И. М. Тронский, в частности, приводил примеры из архаической и классической латыни: *Socrates letus venenum hausit*, буквально «Сократ радостный выпил яд» (а не *радостно* или *с радостью*); *adulescens didici я научился юноша*, т. е. «будучи юношей», «в юности»; *orator suavis est voce* «оратор приятен голосом», т. е. «голос оратора приятен» и т. д.³² Нужно заметить, что перспектива во времени выступала как решающий фактор в развитии синтаксической перспективы. Если перспектива в живописи больше зависела от перспективы в пространстве, то синтаксическая перспектива опиралась прежде всего на перспективу во времени и уже во вторую очередь — на пространственную перспективу. Но так или иначе все разновидности перспективы взаимодействовали между собой.

Можно ли сказать, однако, что древнее предложение типа *Сократ радостный выпил яд* было более «экономным», чем предложение *Сократ радостно* (или *с радостью*) *выпил яд*, характерное для языков нового времени. Разумеется, этого сказать нельзя. Невозможно утверждать и противоположное — будто бы построение второго типа «экономнее» построения первого типа. Все дело в том, что вполне допустимое в других отношениях сопоставление предложений подобных двух типов не допускает сопоставления с позиции «экономии». Предложение *Сократ + радостный + выпил яд* строится по принципу «нанизывания» членов предложения, чего не наблюдается в предложении иного образца, где наречие *радостно* выступает в функции характеристики глагольного действия (*радостно выпил*). Хорошо известно, что во всех индоевропейских языках гипотаксис возникает не только позднее паратаксиса, но и оказывается более сложное последнее. Языки двинулись от конструкций более простых к конструкциям более сложным. Поэтому, если обратиться здесь к принципу «экономии», то пришлось бы отождествить более сложное с более «экономным». Между тем «экономия» казалось бы должна упрощать, а не усложнять язык.

³¹ По мнению Д. С. Лихачева (см. его «Поэтику древнерусской литературы», Л., 1967, стр. 305) перспектива в живописи, как и перспектива во времени, возникают в России во второй половине XVII в. Материалы для других стран в сб. «История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли», 1, М., 1962, стр. 302, 539, 655. В этой связи весьма интересно суждение великого скульптора Огюста Родена. В своем «Завещании» он писал: «Вы, скульпторы, развивайте в себе понимание глубины. Ведь наш разум лишь с трудом воспринимает ее. Он представляет себе явственно только поверхности. Вообразить себе формы в их объемности он не в состоянии. Но именно в этом и заключается ваша задача» (цит. по кн.: Д. Вейс, Огюст Роден, М., 1969, стр. 557).

³² И. М. Тронский, Очерки из истории латинского языка, М.—Л., 1953, стр. 134.

В свое время С. Д. Кацнельсон показал, что древнеисландские построения типа *vit Gunnar* «мы оба Гунар», т. е. «мы оба, я и Гунар» нельзя рассматривать ни как построения эллиптические («экономные»), ни как построения плеонастические («неэкономные»)³³. Все дело в том, что мысль людей той эпохи двигалась иначе, чем мысль наших современников. В древних языках часть обычно подчинялась целому, тогда как в новых языках она может выступать и независимо от целого. Этим определяется и архаический характер отмеченных построений. Их отдаленные пережитки встречаются и в новых языках, например, *мы с тобой* в смысле «я с тобой», *мы с ним*, т. е. «я с ним». Ср. также во французском просторечии *pous deux mon homme*, буквально «мы оба и мой муж», т. е. «я с мужем», или «мы с мужем». И в этом случае, как и в предыдущих, различие между старыми и новыми оборотами определяется отнюдь не степенью их «экономности», а характером мышления людей разных исторических эпох, особенностями синтаксических структур языков на разных этапах их существования.

Попытаемся, однако, подойти к конструкциям образца *vit Gunnar* с позиции «экономии». В этом случае в них можно найти что угодно: и «экономия» (в двух словах так много передано: «мы оба, я и Гунар») и антиэкономия (слово *vit* удивительно полисемантично, язык «расточительно» вкладывает в одно слово множество значений). Как видим, суждения такого рода сейчас же становятся дилетантскими.

Если бы «экономия» постепенно «наращивалась» в истории языка, то новые языки были бы экономнее старых языков. Факты, однако, опровергают подобное предположение.

Обратимся к историческому синтаксису французского языка и приведем два-три примера. При ближайшем рассмотрении оказывается, что старый язык часто «опускал» такие синтаксические звенья, без которых современный язык обойтись не может. В стихотворном тексте XIII в. «*La Chastelaine de Vergi*» (строки 342—343) читаем: *J'aim vostre niece de Vergi et ele moi* «Я люблю вашу племянницу, а она — меня». По нормам современного аналитического языка так сказать невозможно. Согласно этим нормам, глагол непременно должен быть повторен после второго подлежащего: *et elle aime moi* «и она любит меня». Нормы аналитического языка «требуют» повторения глагола после второго подлежащего, хотя подобное повторение может показаться «неэкономным». Следовательно, проблема не в дилемме «экономия — неэкономия», а в строе языка, в синтаксических изменениях, совершившихся исторически.

Старый язык мог «пропускать» не только сказуемое, но и подлежащее. В этом же тексте постоянно встречается построения типа: *Il disoit qu'il ert toz miens et le disoit si doucement que le creoie vraiment* (строки 786—788) «Говорил, что он весь мой и говорил так тихо, что я ему действительно поверила». В оригинале я «пропущено» и только из контекста видно, о каком лице идет речь (сама форма *creoie* могла относиться и к первому и к третьему лицу). Старый язык поступал «экономнее» (пропуск подлежащего) нового языка (нет пропуска подлежащего), но от этого он не становился ни более ясным, ни более точным. Дело, следовательно, не в «экономии», а в строе языка на том или ином этапе его развития.

В этой связи нельзя не вспомнить старый спор о том, какие конструкции «проще и экономнее» — флективные или аналитические. «Простоту и экономность» обычно усматривают в аналитических конструкциях. Ут-

³³ С. Д. Кацнельсон, Историко-грамматические исследователи, М.—Л., 1949, стр. 75, 79, 110; см. также: Ю. С. Степанов, Французская стилистика, М., 1965, стр. 339—340. Из старых исследований, до сих пор сохраняющих все свое значение: Ф. Е. Корш, Способы относительного подчинения. Глава из сравнительного синтаксиса, М., 1877.

верждают, что такие конструкции избавляют язык «от трудных и неэкономных флексий» и делают его «стандартным и современным»³⁴. Несмотря на популярность подобного рода концепции (обычно ее защищают более осторожно, с целым рядом оговорок), она представляется совершенно несостоятельной. Только что мы видели, в частности, что флективный строй старофранцузского языка был в определенном отношении более «экономным», чем аналитический строй современного французского языка.

Как известно, и в русском языке наших дней довольно широко представлены аналитические конструкции. Говорят, например, *проблема номер один* «вместо» *первая проблема*, *рейс три* «вместо» *рейс третий*, *в городе Калинин* «вместо» *в городе Калининне* и т. д. Сами по себе аналитические конструкции, взятые изолированно, кажутся «проще и экономнее» флективных конструкций. В системе языка, однако, это совсем не так. В определенных случаях, например, в разговорном стиле, можно сказать *в городе Калинин*, в письменном же изложении грамотного человека встретим *в городе Калининне*. Словосочетание *проблема номер один* возможно, но словосочетание *проблема один* (идеальное с позиции строгого аналитизма) невозможно, а *проблема одна* имеет уже совсем иной смысл, чем *первая проблема* или *проблема номер один*. Пределы аналитизма очерчены сравнительно четко. Вместе с тем аналитические конструкции создают новые возможности для дальнейшей дифференциации и дальнейшего усложнения синтаксического ряда. «Упрощение» отдельных конструкций сопровождается усложнением всего синтаксического ряда, усложнением дифференциальных возможностей языка.

Н. Ю. Шведова, недавно обратившая внимание на сходные явления, вместе с тем повторила старое утверждение, согласно которому язык «всегда стремится освободиться от дублетности»³⁵. Стремясь к разграничениям, язык, однако, известное время (нередко длительное) «терпит» дублетные формы с тем, чтобы позднее провести между ними дифференциацию. Дублетность — материал для дифференциации. Но дублетные формы обычно не сразу разграничиваются. Им надо некоторое время «побывать» в языке, чтобы дать ему возможность разобраться в самом этом материале.

Итак, утверждение, согласно которому старые языки менее экономны, чем новые, и что по мере развития языков они становятся все более «экономными», опровергается фактами, конкретным материалом разных языков (подобный материал легко можно расширить).

5. Межъязыковой материал

Но если «экономия» невозможно обнаружить в истории языка, то, быть может, она дает о себе знать в межъязыковых отношениях? Быть может одни языки «построены» экономнее, чем другие? Обратим внимание на межъязыковой аспект «экономии». Для этой цели проведем сравнительный анализ одного предложения на нескольких европейских языках: русск. *Моя единственная настоящая подруга*, англ. *My only real friend*, нем. *Meine einzige wirkliche Freundin*, франц. *Ma seule véritable amie*, итал. *La mia unica vera amica*, исп. *Mi única amiga verdadera*.

Обратим здесь внимание только на одну грамматическую категорию — рода. Как она выражается в одном и том же предложении, переданном на

³⁴ См. обзор разных мнений по этому вопросу в статье В. М. Жирмунского, опубликованной в сб. «Аналитические конструкции в языках различных типов», М., 1965.

³⁵ Н. Ю. Шведова, О понятии синтаксического ряда, сб. «Историко-филологические исследования. К 75-летию акад. Н. И. Конрада», М., 1967, стр. 212—213.

шести различных языках? Сначала выделим полярные в этом отношении конструкции — английскую и итальянскую. В английском языке категория рода (в данном случае женского) здесь совсем о себе не заявляет: каждое из четырех английских слов, составляющих анализируемое предложение, не имеет никаких родовых признаков. В итальянском языке ситуация прямо противоположная: каждое из пяти итальянских слов (включая и артикль) имеет отчетливо выраженную форму женского рода и каждое из них в мужском роде имело бы другую форму. Следовательно, в итальянском языке в одном простом предложении категория рода передается пять раз подряд. В русском, как и в итальянском, каждое слово тоже выступает с родовым признаком, но самих слов оказывается здесь меньше, чем в итальянском. В испанском местоимение *mi* нейтрально по отношению к роду, а во французском ситуация гораздо сложнее: фонетически категория рода выражена только один раз (*ma*), а графически — три раза (*ma, seule, amie*). Как видим, различные языки неодинаково «расточительны» в способах передачи категории грамматического рода.

Что из всего этого следует? Что итальянский язык менее «экономен», чем, например, французский и, тем более, английский? Такое заключение не имело бы никакого научного значения, так как не исключало бы противоположного вывода. «Сплошное» выражение категории рода в каждом из пяти итальянских слов, входящих в анализируемое предложение, допустимо рассматривать не как «расточительное», а как «экономное»: в процессе коммуникации не надо задумываться о каком «настоящем друге» идет речь — о мужчине или о женщине. Как видим, принцип «экономии» широко раскрывает дверь для произвольных толкований. «Неэкономное» с одной точки зрения может показаться вполне «экономным» с другой точки зрения.

Индоевропейские языки знают противопоставление имен существительных по категории числа: единственное и множественное (другие возможные оппозиции в системе числа здесь не рассматриваются). Между тем китайский и японский языки к подобному противопоставлению прибегают лишь в исключительных случаях, когда возникает особая нужда подчеркнуть категорию числа. Обычно же лишь по контексту судят, о чем идет речь — об единственном числе или о множественном³⁶. Что же здесь «экономнее»: наличие категории грамматического числа или ее отсутствие? С одинаковым «успехом» можно доказывать и то, и другое.

С позиции «экономии» ничего нельзя объяснить и в сфере межъязыковых лексических отношений. Во французском языке некогда было два слова для обозначения «города» — *ville* и *cit *. Позднее второе существительное приобрело более специальное значение (ср. например, *cit  universitaire* «университетский городок»). В современном русском языке *город* не имеет синонимов, а его церковнославянская форма *град* стала архаичной (ср. известные строки Пушкина: «красуйся град Петров»). К тому же диахронные отношения *ville* — *cit * совсем иные (здесь два разных слова), чем аналогичные отношения между *город* — *град* (этимологически одно слово). В немецком же языке *Stadt* «город» вообще не имеет синонимов. Три языка дают три разных решения вопроса о номинации *города* и невозможно сказать, какое из них «экономнее». Но вот немецкий язык располагает двумя существительными, выражающими понятие «заимствованное слово»: *Lehnwort* «заимствованное слово до XV в.», *Fremdwort* «заимствованное слово после XV в.». Ни русский, ни французский языки подобного разграничения не знают. Поэтому семантический объем рус-

³⁶ А. И. Иванов, Е. Д. Поливанов, Грамматика современного китайского языка, М., 1930, стр. 219; Н. И. Фельдман, Японский язык, М., 1960, стр. 31.

ского словосочетания «заимствованное слово» оказывается большим по сравнению с аналогичным объемом каждого из двух немецких существительных — *Lehnwort* и *Fremdwort*.

«Лишнее» («неэкономное») с позиции одного языка обычно предстает как необходимое с позиции другого языка. В современных европейских языках разграничение местоимений *ты* и *вы* используется, в частности, и в плане обращения: множественное число может выступать как «вежливое число». Однако английский язык постепенно утратил противопоставление *thou* — *you* «ты— вы». Тем самым местоимение *you* «вы» лишилось того противопоставления в обращении (*ты* — *вы*), которое столь характерно для большинства других европейских языков³⁷. Но стал ли от того английский язык более «экономным»? Ответ может быть только отрицательным. Изменилась лишь семантика местоимения *you*, которая стала более многоплановой, чем в те времена, когда оппозиция *thou* — *you* еще сохранялась. Современное английское *you* в обращении к одному лицу звучит и вежливо, и невежливо в зависимости от контекста, от интонации, от сочетания с другими словами и т. д. Утратив противопоставление *thou* — *you*, язык осложнил семантику оставшегося звена (*you*). Процессы подобного рода обычно не выходят за пределы отдельных языков. Само противопоставление *ты* — *вы* сохраняет прочные позиции во многих языках мира.

Нередко складываются такие отношения, при которых одна группа родственных языков пользуется одним словом для выражения одного понятия, а другая группа родственных языков — двумя словами для передачи того же понятия.

«Покидать пределы чего-либо» в русском языке часто передается глаголом *выходить*. Русское *он выходит* соответствует французскому *il sort*, испанскому *sale*, португальскому *sai*, итальянскому *esce*, румынскому *iese*. А вот в некоторых германских языках глаголы движения, обозначающие направление, обычно выражаются не с помощью одного, а с помощью двух слов. Французскому *il sort* «он выходит» в немецком соответствует *er geht hinaus*, а в английском *he goes out*³⁸. Означает ли сказанное, что романские языки «экономнее» германских языков? И в этом случае ответ может быть только отрицательным. Различие между двумя группами языков здесь определяется различной ролью приставок в истории каждой из этих групп. К тому же в плане общей грамматической системы английский язык как максимально аналитический (в пределах германской группы), казался бы, должен быть «экономнее», например, румынского как минимально аналитического (в пределах романской группы). Между тем в английском выступают два слова, а в румынском — одно слово. «Экономное» в одном ракурсе предстает как «неэкономное» в другом ракурсе. С этим явлением мы уже встречались и раньше.

Межъязыковые соответствия точно так же опровергают принцип лингвистической «экономии», как и отношения внутри отдельных языков.

6. Еще о теории

Теперь можно вернуться едва ли не к центральному вопросу и спросить: на какие теоретические положения опирается теория языковой «экономии»?

³⁷ К. Бруннер, История английского языка, 2, М., 1956, стр. 103—105 (противопоставление *thou* — *you* встречается еще у Шекспира).

³⁸ М. Wandruszka, Sprachen vergleichbar und unvergleichlich, München, 1969, стр. 461.

Часто рассуждают так: в своем историческом развитии язык движется от конкретного к абстрактному, конкретное и «дробное» менее «экономно», чем абстрактное и обобщенное. Следовательно, само развитие языка от конкретного к абстрактному определяет рост и усиление «экономного» принципа на всех уровнях языка. Иногда же причину и следствие «переворачивают»: так как язык становится все более «экономным», то тем самым он движется от конкретного и «дробного» к абстрактному и обобщенному.

В самом общем плане утверждение о том, что языки развиваются от конкретного к абстрактному не вызывает возражений. Об этом давно и много писали самые различные ученые. Но, во-первых, связано ли подобное развитие с «экономией», и во-вторых, ослабляет ли абстракция способность каждого языка передавать богатейший мир конкретных представлений — все это уже гораздо сложнее и нуждается в особом рассмотрении.

Не выходя за пределы индоевропейских языков, отметим, что многие лингвисты не обнаруживают у них на древних этапах их бытования способности передавать абстрактные категории. М. И. Стеблин-Каменский, например, совсем недавно писал: «Современному человеку непременно хочется находить общие понятия у людей прошлых эпох там, где были только более частные понятия. Из данных древнеисландского языка очевидно, что у людей, говоривших на этом языке, не было понятия „убийства вообще“. Были только понятия об убийствах определенного характера»³⁹. Далее автор показывает, как следует понимать подобные «частные убийства» (из долга мести, из особо понятой чести и т. д.). Исследователь подчеркивает, что недопустимо переносить современные понятия мести, долга, чести, зла, души и другие в эпоху XIII—XIV вв., от которой дошли до нас рукописи исландских саг. Только такая концепция (не переносить современное в прошлое) представляется М. И. Стеблину-Каменскому исторической.

Спору нет. В историческом исследовании каждое понятие должно анализироваться исторически. Неправоммерно транспонировать в средние века современные представления о долге и чести, разуме и чувстве и т. д. Но соблюдая историческую дистанцию и констатируя нетождественность понятий разных эпох, нельзя на этом основании лишать старые языки всякой способности к обобщениям и к абстракциям. Люди средних веков, как и языки того времени, умели обобщать по-своему, в пределах своего миропонимания и своих возможностей. Не следует забывать и другого: всякий язык обобщает, всякий язык стремится, в меру степени своего развития, передать не только конкретное (*этот* предмет, *это* чувство), но и обобщенное (предметы, чувства и пр.). В той же книге М. И. Стеблина-Каменского показано, что не умея оперировать еще, в частности, с понятием «убийства вообще», создатели древних исландских саг уже знали свои абстрактные категории: месть могла вызываться разными причинами и совершаться неодинаково, поэтому понятие «убийство из долга мести» уже обобщало известные случаи отдельных, как бы более частных поступков.

Следует противопоставлять не абстрактные категории современных языков конкретным категориям средневековых и других старых языков, как это обычно делают, а разные типы абстракции и разные типы передачи конкретных представлений в те или иные эпохи жизни анализируемых языков.

³⁹ М. И. Стеблин-Каменский, Мир саги, Л., 1971, стр. 83.

К тому же сама абстракция вовсе не всегда «экономна». В неоконченном сочинении «Кто мыслит абстрактно?» Гегель показывает, что есть различные виды и типы абстракции, некоторые из которых могут быть и примитивными. «Ведут на казнь убийцу. Для толпы он убийца, и только. Дамы заметят, может статься, что он сильный, красивый, интересный мужчина. Такое замечание возмутит толпу: как так? убийца — красив?» И несколько дальше: «Эй, старуха, ты торгуешь тухлыми яйцами! — говорит покупательница торговке. — Что, — кричит та, — мои яйца тухлые?! Сама ты тухлая!»⁴⁰.

Гегель убедительно показывает полную несостоятельность подобного рода абстракций (обобщений). В сознании торговки покупательница сейчас же становится «тухлой», как только самой покупательнице предлагаемый товар покажется тухлым. Убийца может быть только убийцей, поэтому физическая красота к нему не пристала и т. д. Подобные абстракции оказываются мертворожденными, а в лучшем случае — «тощими».

Известно, что классики марксизма считали, что история «предметов» обычно движется от конкретного к абстрактному. Теоретическое мышление, однако, обычно исходит из абстрактного, чтобы затем раскрыть всю сложность и многоплановость конкретного объекта (объектов) исследования. Известно также, что именно такой метод был применен К. Марксом в его «Капитале». Поэтому В. И. Ленин подчеркивал: «Нельзя вполне понять „Капитала“ Маркса и особенно его I главы, не проштудировав и не поняв *всей* Логике Гегеля»⁴¹.

Сказанное имеет отношение и к лингвистической теории. Соотношение между конкретным и абстрактным в истории разных языков нередко изображается прямолинейно и упрощенно как одностороннее движение от конкретного к абстрактному. Реальная картина гораздо сложнее. Даже история семантики слов, где, казалось бы, все определяется постулатом «от конкретного к абстрактному», в действительности гораздо сложнее.

Совсем недавно Э. Бенвенист показал, что, ставший уже хрестоматийным, пример индоевропейского развития *resci* (*rescinia*) от значения «скот» к значению «богатство» в трех группах индоевропейских языков, где сохранилось это слово (в индоиранской, италийской и германской), долго трактовался неверно. Тщательное изучение материала показало, что *resci* в значении «богатство» оказалось более старым, чем в значении «скот». Исследователь предложил «перевернуть» соотношение двух центральных исторических значений этого слова⁴². Проблема представляется мне сложнее. Не исключена возможность, что в архаичном сознании само значение «богатства» мыслилось более предметно, чем теперь: это было «богатство», как бы ориентированное «на поголовье» (владение большим или меньшим поголовьем). Категория абстрактного в языке, как и категория конкретного, оказывается, таким образом, категорией строго исторической.

А. А. Потебня был глубоко прав, когда подчеркивал: «Нельзя охарактеризовать развитие языка его стремлением к отвлеченности, не прибавив, что вместе с тем развивается и его способность изображать конкретные явления»⁴³. Перефразируя эти слова замечательного филолога, можно то же сказать о соотношении рационального и чувственного в языке. Чем

⁴⁰ Цит. по кн.: А. В. Гулыга, Гегель («Жизнь замечательных людей»), М., 1970, стр. 82—83.

⁴¹ В. И. Ленин, Философские тетради, М., 1969, стр. 162.

⁴² E. Benveniste, Le vocabulaire des institutions indoeuropéennes, I, Paris, 1969, стр. 47—52.

⁴³ А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, I—II, Харьков, 1888, стр. 355.

больше развивается способность языка передавать рациональные основы человеческого мышления, тем очевиднее выступает не менее важное умение языка выражать чувственное восприятие человека. Лермонтовское «погружаясь в *голодный кипяток* нарзана» («Герой нашего времени») — это не только метафора, но общая особенность языка, его сила, позволяющая проникать в многообразный мир чувственного восприятия. Все языки на всех этапах своего исторического существования всегда умели выражать конкретное и отвлеченное, рациональное и чувственное. Но в разные эпохи с этой задачей они справлялись неодинаково. Развитие любого языка совершенствует его же способности передавать все более адекватно и все более многообразно весь сложный мир значений, категорий и отношений.

Попытаюсь теперь резюмировать сказанное:

1. Ни развитие, ни функционирование языка не определяются принципом «экономии», так как любой живой естественный язык пополняется все новыми и новыми средствами выражения, новыми «приемами» коммуникации.

2. «Экономию» недопустимо смешивать с различными процессами лингвистической дифференциации, в результате которых разграниченные категории начинают занимать в языке более прочные позиции, чем категории неразграниченные; устранение (выпадение) неразграниченных категорий совершается обычно легче, чем категорий разграниченных; дифференциация расширяет ресурсы языка, а не суживает их.

3. «Экономию» неправомерно отождествлять с регулярностью системы языка, так как подобная регулярность обычно опирается на сложные и нередко противоречивые тенденции языка. «Неэкономное» спряжение так называемых неправильных глаголов сочетается с их регулярностью в каждом отдельном случае и с их устойчивостью в литературной норме.

4. «Экономию» нельзя отождествлять с выразительными возможностями языка, которые предполагают многообразие и выбор средств самого языка; «экономию» склоняет свою «голову» перед самим фактом непрерывного увеличения синонимических рядов (лексических, синтаксических, стилистических).

5. «Экономия» не может существовать ни за счет рационального, ни за счет абстрактного, так как в самом языке рациональное всегда представлено во взаимодействии с чувственным, а абстрактное — с конкретным.

6. «Экономия» как будто бы может коснуться отдельных звеньев языка (аббревиатуры), которые, однако, перестают быть «экономными» в системе языка; сама «экономию» предполагает изолированный анализ отдельных «черточек» языка.

7. «Экономию» нельзя относить к языку в его противопоставлении к речи, где «царствует избыточность». Ранее было показано, что «избыточность» таких категорий, как, например, род и число, проникает не только в речь, но и в язык. «Экономное» с позиции одного языка может предстать как «избыточное» с позиции другого языка.

8. Из всего сказанного следует, что понятие «экономии» языка и понятие прогресса языка — это совершенно различные понятия. Прогресс языка в конечном счете определяется непрерывно растущими возможностями человеческого мышления, «экономию» же языка — той или иной коммуникативной ситуацией, удобной в одних случаях и неудобной в других. Поэтому понятие «экономию» не имеет никаких оснований считаться «синтезом действующих в языке сил», тем более — результатом лени, как это до сих пор предполагают отдельные ученые.

За последние два десятилетия лингвисты очень часто отделяли язык

от человека. Между тем язык неотделим от человека. С позиции машинно-технических критериев сам человек может показаться «сплошным излишеством». В нем слишком много «деталей», как будто бы «ненужных» для выполнения той или иной операции по жестко запрограммированной схеме. Но сила человека в его универсальности⁴⁴. То же следует сказать и о человеческом языке. Именно поэтому язык не подчиняется «закону экономии», как не подчиняется ему и сам человек. Разумеется, человек может, а иногда и обязан выполнять ту или иную работу «экономно». Природа же человека всегда будет характеризоваться универсальностью. Поэтому и человеческий язык универсален по своей природе и безграничен в своих реальных и потенциальных возможностях.

⁴⁴ См. об этом: Э. В. Ильенков, Об идолах и идеалах, М., 1968, стр. 289—290.

С. И. КОТКОВ

О ПАМЯТНИКАХ НАРОДНО-РАЗГОВОРНОГО ЯЗЫКА

В заметке «Редкое выражение русской разговорной речи XVII века» Б. О. Унбегаун, касаясь исследований синтаксиса древнерусского разговорного языка, пишет: «Уже само изучение разговорного языка по письменным памятникам, — а иными источниками мы, увы, не располагаем, — является парадоксом» и далее утверждает: «... даже тексты, казалось бы, наиболее близкие к строю разговорной речи, написанные на так называемом деловом языке, все же значительно отклоняются от этого строя, следуя правилам выработанной письменной традиции, особенно в XVII в.». «Поэтому, — замечает он попутно, — несколько странно звучит заглавие недавно вышедшего издания писем XVII в.: Памятники русского народно-разговорного языка XVII столетия. (Из фонда А. И. Безобразова). Издание подготовили С. И. Котков, Н. И. Тарабасова. М., 1965»¹. Указывая, что тексты делового содержания «являются сугубо утилитарными, далекими от разговорной стихии языка», исследователь вместе с тем напоминает: «даже частная переписка, и та подчиняется условностям традиции, отклоняясь от непосредственности устного разговора, каким она в сущности могла бы быть»².

Хотя уже сам условный характер письма древнерусских памятников, как и любого обыкновенного, общепринятого письма, предопределяет некоторые отклонения от звуковой, а в известной мере и грамматической непосредственности, однако это вовсе не означает, что в основной своей конкретной данности фонетика и грамматика разговорной стихии в нем не реализуются, если не вступает в действие влияние таких лингвистических факторов, которые заведомо лежат за пределами разговорности. Следовательно, основное затруднение заключается не в том, что разговорную стихию прошлого приходится изучать по письменным памятникам (это историческая неизбежность), а в том, что определенный уровень разработки истории русского языка, и в частности письменных источников, далеко еще не всегда обеспечивает уверенное различение отложившихся в памятниках литературно-книжной и разговорной стихий, а следовательно, и самих памятников по преобладанию в них той или другой из этих стихий.

Не случайно и автор упомянутой заметки без достаточных на то оснований из обширного круга различных текстов старинной деловой письменности избирает как включающие элементы разговорной речи только так называемые явки, «происходящие почти исключительно из северных, бывших новгородских, земель и сохранившиеся в архивах Устюжской и Холмогорской епархий» и определяемые как «заявление о преступных действиях, направленных против автора явки, вместе с просьбой о защите и помощи»³.

¹ См.: «Проблемы истории и диалектологии славянских языков. Сборник статей к 70-летию члена-корреспондента АН СССР В. И. Борковского», М., 1971, стр. 273.

² Там же.

³ Там же.

Несколько слов относительно того, что материалы деловой письменности, как «сугубо утилитарные», далеки от разговорной стихии. Напротив, их практическая направленность может как раз благоприятствовать проявлению в них этой стихии. Все дело в том, каков характер их утилитарности, какая сфера человеческого бытия и в каком именно виде получает в них отражение. Скажем, и царская грамота, и грамотка, адресованная родственнику, по-своему утилитарны, но первая, естественно, облечена в особую, официальную форму, далекую от разговорной, а грамотка, помимо зачина и концовки, порою не свободных от фразеологии, навеянной церковной книжностью, в значительной степени разговорна, поскольку обслуживает сферу неофициального, интимного общения.

Вот, к примеру, грамотка сугубо утилитарного свойства:

«Гсдрю Андрію Иличу холоп твои Истратка Микитин да старостишко Харлашко Борисовъ челомъ бьют писал ты гсдрь ко мне холопу своему велель прислать лен и поскон что осталос за роздачею у оброков и у нас гсдрь лен не родилса нет ни горсти а поскони толко десет десятков да ты же гсдрь ко мне холопу своему пишеш велишь кормит мелкую скотину ухвостьемъ и у меня холопа твоего ухвостья нет по ка места молотили хлеб по та места и ухвостья (так в ркп.— С. К.) было пожалуй гсдрь изволь прислать льну на сети»⁴.

Мы не видим в грамотке ни одного слова, во вседневном, обиходном употреблении которого в то время в среде простого люда можно было бы сомневаться. Все, обозначаемое подобной лексикой,— предметы, явления и отношения — составляло тот обыденный мир простого русского человека, в условиях которого как раз и пользовались разговорной речью. Характерно в этом отношении и выражение *лен не родилса*. А такие образования, как *посконь*, *горсть* в значении «мера льна» и, кроме того, *ухвостье* обличают в писавших грамотку носителей диалекта⁵. Географическая дифференциация, с одной стороны, слова *посконь*, а с другой, *замашки* применительно к XVII в. установлена нами, например, для южновеликорусской области⁶. Принадлежность слова *горсть*, применяемого в указанном значении, к словам не общего употребления отмечалась неоднократно. О диалектном характере слова *ухвостье* говорит наличие дублетов *озадки* и *ухоботье* в других русских говорах.

Уже в приведенном заурядном тексте, небольшом и относительно «однотонном», определенно прорывается народно-разговорная речь в ее лексических элементах. Нет оснований определять как далекий от разговорного, как свойственный, скажем, литературно-книжному или приказному языку и синтаксис этой грамотки.

С точки зрения отражения на письме народно-разговорной стихии подобной общей характеристике отвечают и многие другие тексты той же категории, вошедшие в публикацию, упомянутую Б. О. Унбегауном. Не выпадает из этого круга текстов, например, пространная грамотка, которую послал своему брату Ф. И. Безобразов. За вычетом единичных выражений («приставили к тебѣ», «искали владенья», «земли ісшут», «межа писцовая», «прямои... выпиши», «велел ему тебя во всем дакладоват»), ее лексическое и фразеологическое наполнение не обнаруживает характерных примет приказного языка, как не обнаруживает явных при-

⁴ «Памятники русского народно-разговорного языка XVII столетия. (Из фонда А. И. Безобразова)», изд. подготовили С. И. Котков, Н. И. Тарабасова, М., 1965, стр. 73. Здесь и далее буква „ук“ заменяется буквой у.

⁵ О нетвердости их правописания и отсутствии книжной выучки, что безусловно благоприятствовало проявлению в письме «разговорности», свидетельствует, между прочим, отказ от употребления буквы ъ: *злеб* (вместо *злѣб*), *сети* (вместо *сѣти*) и т. д.

⁶ См.: С. И. Котков, Очерки по лексике южновеликорусской письменности XVI—XVIII веков, М., 1970, стр. 28.

мет и литературно-книжного языка (кроме, разве, пожелания «*пробываи во всяких радостях*» и выражений «*добра желател*» и «*чести твоеи аберегаеть*»). А отражение в ней фонетических явлений свидетельствует о близости написанного к устной народной речи.

Вот текст грамотки:

«*Батка и братецъ Андреи Ильич здравствуи гсдрь на многие лета і пребываи во всяких радостях с невѣсткою с Агаеюю Василевною і с теми кто тебѣ гсдрю всякова добра желател и чести твоеи аберегаеть*

Писал ты гсдрь ко мне что Иван да Степан Ловчиковы приставили к тебѣ і не сходя суда искали владенья сорока семи четвертеи с осминою и про то гсдрь мне ведома и то гсдрь дела у нас обчя толка гсдрь какои они земли ісшут у нас их земли нет с нашею дрвнею Дешкиною и ныне межа писцовая съ их дрвнею Дешкиною толка гсдрь по той меже ныне проложена большая дарога и от реки от Оки каторыя были грани на деревях те все высечаны толка один столбъ у дароги стоит а от тово столба межою да телчанскои межи надобна была два столба да две ямы и те столбы выволились а ямы заплыли а прямои гсдрь выпиши нету и ты извол гсдрь выпис прислат а я нарошна велел чюбаровского своего крстьянина прислат кои час приедит члвченка мои что с Ловчиковыми з дрвнею Дешкиною писцовою межою да без нея ж и не даходя Оки межа цела толка гсдрь столбы вывалились всево два столба стоит да две ямы и они не о своем уме на нас земли ісшут у нас промеж их дрвни Дешкиною і нашеи дрвни Телчеи межа писцовая а кои час гсдрь пут падет и я тот час буду к Москве и мне на них бит челом с тобою вместе что у нас их земли нет і не бывала а их земля от наших земель отмежована и крстьяне гсдрь наши владеют по писцовым книгам и по писцоваи меже как батюшка и дядя при прежних помещиков владели а что ты гсдрь изволил ко мне писат что дарога из Болхова і ва Мценескъ ездят и по иным по той дароге гсдрь Ловчиковы крстьяне не ездят а другая дорога что на их дрвню была и я по твоему писму велел вспахат и надолбы от их земли зделат чтоб их скотина на нашу землю не ходила и в лес в наши бы их не пускат и то гсдрь зделано во все лето ногою не были а иных дарок нет по нашеи земли и своим крстьяном заказал против твоего писма да пишеш гсдрь чтоб мне не заживатца в дрвне естли бы братецъ не нужна меня несла для орловскои дрвни для межаваня кто бы меня с Москвы нес еи гсдрь за писцом за Полуехтом Шамординым посылаючи лошадеи и людеи помарил а я гсдрь с людьми с твоими по меже ездил и землю их смечали и у них надобна в дачах на петдесят четвертеи старые дачи да внос сорок сем чети вь их жа дачех за писцовою межою и они без ума на нас ісшут мошна и на землю что у них в дачех и я у них землю смечю всю і к тебѣ отпишу что у них всеи земли да пишеш ты гсдрь ко мне что будут писцы в Канкова и в Гаврикова и на Каменку межават а меня на Москве нет и тебѣ бутто без меня делат печава и Яков Стрешнее нарежаецца бит челом и Якову гсдрь с коими глазы бит челом брат ево Яковлев Григорей бил челом на батюшка и на дядю об межаване и по ево челобитю Семен Хлопов и межавал и про то тебѣ гсдрю ведома сам ты тут был и как что делал все при тебѣ а я в те поры был под Быховом и Якову как бит челом а гсдрвь указ старои и новаи не токмо что межавоя дело будет по записям или по каким крепостям у прежних помещиков или у вотчинников зделки были так им и быть будет Яков станет на нас бит челом и ты изволь на него бит челом гсдрвным указом и мое именишка вели написат а что гсдрь пишеш мне самому быт не на чамъ а дрвенские выписи с писцовыи книг у тебя гсдрь дрвни Канковаи выпис с межавых книг Семена Хлопова у тебя гсдрь а хотя братецъ я и на Москве был и мне без твоево веленя как делат как тебя гсдрь богъ на разум наставит так и делаи во всем ты волен послал к тебѣ гсдрю

нарошина члвченка своего Силку и велел ему тебя во всем дакладоват что ты гсдрь изволиши и ты гсдрь за тем делам прикажи члвку своему ходит а будет что лучитца кормь или что дат и ты гсдрь прикожи члвченку моему да писал ты гсдрь ко мне что мои члвк Митка Даниловъ с поваренным малам украл полсажени дров и я как буду на Москве і про то гсдрь розыщу мне гсдрь такая дурость не надобна по том тебе гсдрю своему і вѣвестьке Агаеѣ Василевной братишка твои Оетка челомъ бьеть

В белеевской своей древи Телчеи октября въ КГ де живь»⁷.

Промелькнувшее в тексте *токмо* — не обязательно из церковных книг: для многих русских говоров, по данным старых словарей и современных наблюдателей, образования *тѣкмо* или *токмá* вполне обыкновенны, почему и попадают в художественные произведения в качестве народных, например: «[Акулина:] Не токмо пшена,— хлебушка нет» (Эртель, Гарденины); «Афанасий Яклич выразил большое неудовольствие, когда Гарнаыска взял столичного человека.— Я бы эдакую погань не токма ночевать, на версту не подпустил к деревне! — сказал он с необыкновенным видом презрения прямо в лицо столичному человеку» (Эртель, Гарденины).

Особенно яркие приметы народно-разговорной стихии находим в таких, например, выражениях: «кои час гсдрь пут падет и я тот час буду к Москве»; «другая дорога что на их дреню была и я... велел вспахат... чтобы их скотина на нашу землю не ходила... и то гсдрь зделано во все лето ногою не были»; «пишеш гсдрь чтоб мне не заживатца в дрѣне»; «естьли бы братецъ не нужна меня несла... кто бы меня с Москвы нес»; «Яков Стрешнев нарежаецца бит челом и Якову гсдрь с коими глаза бит челом». В оборотах вроде «пут падет» и «во все лето ногою не были» или «не заживатца в дрѣне» и «естьли бы... не нужна меня несла... кто бы меня с Москвы нес», и, помимо того, «Якову... с коими глаза бит челом», легко улавливаем слог, характерный для устного рассказа.

О том, что писавший грамотку был обычным сельским грамотеем, в значительной степени свободным от орфографической традиции и, значит, в письме во многом следовавший живой народной речи, говорят его весьма нередкие отклонения от орфографии, с едва ли не полным отрешением от правописания буквы ѣ.

И приведенные грамотки и многие другие, вошедшие в цитируемое издание, по содержанию являются деловыми, и тем не менее отождествление их со всеми иными деловыми текстами явно неправомерно. Грамотки обслуживали неофициальное, порою семейное общение и не имели юридического значения, почему определенно выпадали из приказной, официальной письменности, сферы приказного языка. К сожалению, безоговорочное отнесение материалов частной переписки к неизмеримо более стандартной и функционально иной официальной письменности в науке еще не преодолено. Обыкновенно не делают различия не только между грамотками и частью-правовыми актами — меновными, раздельными, духовными и т. п. — но и между грамотками и актами государственными. Так, например, читаем: «Рядом с описанным здесь литературным стилем письменного языка Московская Русь знала и другой его стиль — деловой. Этот стиль речи принято называть приказным языком, так как наиболее типичные его образцы находятся в приказном делопроизводстве XVI—XVII вв. Это, следовательно, язык канцелярских бумаг, юридических актов, хозяйственных записей, официальной и частной переписки, то есть таких явлений письменности, в которых нет стремления к литера-

⁷ «Пам ятники русского народно-разговорного языка XVII столетия», стр. 43—44.

турности изложения»⁸. Поскольку ранее у автора говорилось о произведениях с определенными художественными достоинствами, литературность так или иначе в приведенном здесь высказывании сводится к художественности, а между тем «понятие „литературности“ речи необходимо отличать от понятия ее „художественности“»⁹.

Трудно согласиться с представлением, что в XVII в. русский литературный язык существовал всего лишь как язык художественной литературы и не было общего литературного языка, в основе своего русского, на базе которого (и церковнославянского) в то время только и мог развиваться язык художественной литературы. Связывать его развитие с одним лишь церковнославянским, по меньшей мере, спорно. Предположение, что в русском обществе в течение полутысячелетия, в том числе и в деловом общении, литературные функции выполнялись исключительно старославянским — церковнославянским языком, не согласуется с данными старой письменности. Существенные литературные функции выполнял и так называемый язык московских приказов. Отказывать этому языку в какой бы то ни было литературности едва ли есть основания, особенно если принимать во внимание, что в названии «приказный язык» вкладывают самое разнообразное содержание.

В самом деле: разве язык того же Уложения не несет на себе печать определенной кодификации (имеем в виду литературную, а не юридическую), которая прежде всего и обуславливает литературность? Не случайно и Г. О. Винокур обнаруживает в этом «памятнике приказного языка» «некоторый налет книжности». Присутствие последней правомерно объясняется естественной необходимостью в литературной обработке документа большого государственного значения. Едва ли возможно полагать, что существовавшее в ту пору на Руси представление о литературности не было принято во внимание составителями основного закона государства. А по мнению Г. О. Винокура, наличие в нем налета книжности «имеет специальное объяснение в особых условиях его появления (каких именно условиях, об этом не говорится. — С. К.) и, в частности, в том, что ему была придана типографская печатная форма»¹⁰.

Придание Уложению печатной формы в какой-то степени, понятно, содействовало его кодификации, но лишь в отношении графики, орфографии и пунктуации и не имело существенного значения для его литературности. Ср. замечание П. Я. Черных о работе справщиков Печатного двора: «Они не имели возможности (если бы даже к этому стремились) произвести какие-нибудь существенные изменения в тексте печатного Уложения сравнительно с рукописным оригиналом, потому что за этим следил Одоевский и дьяки, но они были полными хозяевами этой книги в других отношениях, в частности, например, в области графики, орфографии и пунктуации...»¹¹.

Возьмем не попадавшие в печатный станок Вести-Куранты XVII в. И они являют собой образцы хотя и не специфически художественного, тем не менее, литературного изложения. Стремление «курантальщиков» Посольского приказа — русских переводчиков зарубежных вестей — к определенной литературности проявляется и в композиции материала, и в исправлениях, порой многочисленных, рассеянных в черновых записях, причем не только фактического, но и стилистического свойства. То же стремление к литературности прослеживаем и в отчетах русских послов,

⁸ Г. О. Винокур, Избр. работы по русскому языку, М., 1959, стр. 64.

⁹ В. В. Виноградов, Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка, М., 1958, стр. 69.

¹⁰ Г. О. Винокур, указ. соч., стр. 66.

¹¹ П. Я. Черных, Язык Уложения 1649 года, М., 1953, стр. 73.

или так называемых статейных списках, которые Д. С. Лихачев с достаточным основанием характеризует как памятники литературы¹². Уже самый характер таких текстов, как Уложение (государственный кодекс), Вести-Куранты и Статейные списки (ответственная международная информация), в значительной мере предопределял необходимость их литературной обработки, тем более, что в приказной практике сложились для этого благоприятные условия. «В московских приказах, — справедливо писал Б. А. Ларин, — ... с XV—XVI вв., по мере усиления централизации административной системы создается единство административной терминологии и фразеологии, единство основных норм языка деловой письменности»¹³.

Но если тексту Уложения, Вестям-Курантам и Статейным спискам нельзя отказать в литературности (не касаясь обстоятельств иного рода — хотя бы просто потому, что они выходили из-под пера людей по тем временам образованных), говорить о стремлении к литературности писца какой-нибудь грамотки в лице, например, деревенского старосты или барского приказчика, а также сельского нецерковного дьячка или, скажем, в более высоком кругу, супруги, пишущей к мужу, было бы, по меньшей мере, опрометчиво. Особенно показательны в этом смысле не свободные порой от элементов фольклора грамотки «семейные», грамотки интимного свойства. Только в зачинах и концовках этих, как и прочих, грамоток встречаем слова и выражения, навеянные церковной книжностью. Вот несколько примеров: «гсдю моему і другу сердешному Івану Семеновичю женишка твоя Дашка премного чело (так в ркп. — С. К.) бьет здравствуи друг мои Іванъ Семеновичъ на множество лѣтъ в млсти бжии а ко миѣ друг ізвол писат о своемъ многолѣтномъ здорое чего я о твоємъ блгоздравіи по вся чсы слышати со усердиемъ желаю»; «подаи годь богъ тебе гсдю моему многолетна здраствовать на многие впредь идущия леть»; «за семь писаниемъ мир и тебя благословения»; «па многие нищетные лѣта желая к себѣ вашего премногого» млсрдие Івашка Губинъ рабски і с женою и з детми со усердиемъ премного с радостию чело м бьемъ»¹⁴. Примеры эти еще не указывают на осознанное стремление к литературности, а означают лишь усвоение писцами, так сказать, в готовом виде исторически сложившихся формул эпистолярного этикета.

А вот каков основной текст той «семейной» грамотки (приводимой вследствие повреждений с незначительными купюрами), которую послала Ивану Семеновичу его «женишка Дашка»:

«... а Парашечка у меня девочка ізрядная даи гсди те[бе]... і как станем тебя кликат і она так же кличет і нам всево дороже... прошу у тебя друг мои Іванъ Семеновичъ млсти гда ра[ди] ... мои не пѣчался во всемъ уповаи на млсть бжию і пожалѣи мѣ[ня] і детокъ своих а у нас толко і радости что ты друг мои бга ради не пѣчался

А чаят Петров днь кончая... Мартьянъ с Воронежа приѣхал а с Воронежа с ним... ко Кузма Титов в Козловѣ у строгового дѣла [н]е бывал а будет де он ис Козлова на Воронеж на Троицу... даны будары которыя на Воронеже Семену Грибое[до]ву а естли Кузмы Титова ждат с запасом на Воронеже ж ... будет долго а которыя будары на Воронеже ест іс под Азова взогнаты і те все на сухом берегу худы и гнилы і по се число не

¹² См.: Д. С. Лихачев, Повести русских послов как памятники литературы, в кн: «Путешествия русских послов XVI—XVII вв. Статейные списки», М.—Л., 1954.

¹³ Б. А. Ларин, Разговорный язык Московской Руси, сб. «Начальный этап формирования русского национального языка», Л., 1961, стр. 29.

¹⁴ См.: С. И. Котков, Н. П. Панкратова, Источники по истории русского народно-разговорного языка XVII — начала XVIII века, М., 1964, стр. 65, 74, 128, 152.

чинены а в грамоте великаго гсдря какова послана іс Пущкарскаго приказу на Воронеж Кузме Титову о бударах написано велено дат боярину кнзю Алеѣю Петровичю Прозоровскому будара а нам будара з дьяками іс тех которыя взогнаты іс под Азова вверхъ Доном на Воронеж болшаго полку боярина і воеводы Алеѣя Семеновича Шеина і боярина кнзя Алеѣя Петровича члвкъ ево Семень Куров і Лазоревъ грамоту великаго гсдря Семену Грибоедову подали і онъ указал на старыя будары которыя на сухом берегу не починены и згнили і о гребцах грамоты великаго гсдря подали же Семену Грибоедову і онъ сказал у мѣня скат грѣбцов нет грэбите і сами і Лазорев вкупилися в будару у донских казаков і со есем в будару угрузалис а дано вкупу И ру их гребцы і кормщицк а хотя б будары і дали старыя і гнилыя і в тех бударах ѣхат опасно і на починку б днгъ много надобно а гребцов бы нанят же а чайт с Воронежа вскоре а что прислана грамотка июня в И де а в Азовѣ писана маия К з числа и писано немного і мне о том гараздо печелно все ли ты друг мои в добром здорове і смирно ли у вас і нет ли каких подходов от неприятелей і ты друг мои о томъ ко мнѣ никогда не отпишеш ... у вас дѣлаецца а горенка і садняя сени гараздо худы ннешнее лѣто одва простоит ли а естли повалятца сад вес переломаетъ а в горенку нне і девки не ходят і ходит дтям по сеням опасно а прошлаго году починивали присылан был съ Юрева Ванка Деменьтеев і нне вся горенка і с сенми отошла от полаты і поклонилас вся на сад а какъ горенка і сени обвалятца сад вес переломает да пожалуи друг мои сердешнои Иванъ Семеновичъ не печался побереги своего здорovia умилис надо мною над такою бедною безродною і над детми а я безродная і безпомошная пожалей своего здорovia да пиши друг мои х Катюшке грамотки уставом хотя неболшее да послала я к тебѣ друг мои связочку извол носит на здорове і связыват головушку а я тое связочку целою днь носила і к тебѣ друг мои послала извол носит на здорове а я еи еи в добром здорове а которыя у тебя друг мои ест в Азовѣ каютаны старыя изношены и ты друг мои пришли ко мне отпоров от воротка доскуточикъ камки и я тое камочку стану до тебя друг мои стану носит будто с тобою видятца а Дмитрии Федорович і Матрена Ивановна і Марѣа Дмитревна дал бгъ здорovy а живут в подмосковнои а кнзь Василей Григоревичъ в дрвне а кнгиня Ёрина Ивановна на Москвѣ и с свекровю а кнжны Стеѣаниды Василевны не стало і я у неи на погребенье была і о том пожалуи друг мои не пѣчался у нас и у самиг Михаилушка не ста[ло] да не пособит по тому тебѣ друг мои премного челом бью да пожалуи друг мои извол писат об людях все ли в добромъ здорове а к женам грамотки не прих[одят] и оне плачють извол друг мои их грамотки своими печат...»¹⁵.

И описание семейного быта и всяких хозяйственных забот, и изливание связанных с народным верованием глубоких, интимных чувств, и сообщения о судьбах близких людей и о различных житейских обстоятельствах — все это (оно и составляет содержание письма), не нуждаясь в особом, церковнокнижном или специально приказном выражении, естественным образом облекалось в форму разговорной речи.

Конкретно эта «разговорность» письма, при всей разнородности его содержания, проявляется в абсолютно свободном переключении с одной темы на другую, переключении, нисколько не мотивированном предшествующим текстом: так, душевную весточку о детях сменяет рассказ о затруднениях с бударами и о плохом состоянии домашних строений, а далее следует изъяснение нежной привязанности к мужу. О «разговорности», кроме того, свидетельствуют и обращение к «другу сердешному», и экспрессивное употребление уменьшительных образований не только

¹⁵ С. И. Котков, Н. П. Панкратова, указ. соч., стр. 65—66.

от собственных имен, что было обыкновенно в приказной письменности и в ней социально обусловлено, но также от нарицательных, и уверение «ей ей».

Для суждения о том, каким языком писались в то время грамотки, существенны сведения о людях, которые их писали, как писали и документы, особенно сведения о писцах с огромной периферии. Исследование южно-великорусской письменности XVII в. убедительно показало: периферийные писцы-профессионалы не являлись присланными из Москвы, как прежде обычно думали, а в подавляющем большинстве своем были местными уроженцами. Аналогично происхождение и писцов-непрофессионалов¹⁶. Вместе с тем выяснилось, что письмо подобных грамотеев не отличается твердой орфографией и заключает приметы локальной речи¹⁷. Принимая во внимание эти обстоятельства, отражение в грамотках разговорной стихии можно считать реальным. Итак, приходим к заключению: частные письма — грамотки в сопоставлении с прочими источниками того же самого времени представляют разговорную стихию если и не в полном виде, то наиболее рельефно. Выходит, характеристика грамоток как памятников народно-разговорного языка имеет достаточные основания.

Определенные объективные обстоятельства в известной степени обеспечивают отражение разговорной стихии и в материалах актового характера, в документах государственного управления и частно-правовых. Вместе с тем подобные материалы заключают и заметный элемент того литературного языка, истоки которого берут начало в древнерусской эпохе и который, в отличие от церковнославянского, способен был обслуживать более широкие сферы жизни русского общества. В исследуемое время, как и прежде, при известном церковнославянском влиянии, этот язык продолжает развиваться на общерусской основе, наиболее обобщенным выражением которой к началу национального периода становится московский говор.

Недифференцированное, общее восприятие деловой письменности XVII в. приводит к ошибочным суждениям о лингвистической содержательности и лингвистической информативности образующих ее категорий источников. В интересах успешной разработки истории русского языка составляющие деловую письменность категории источников необходимо определенно разграничивать. Поскольку эта письменность недостаточно исследована, в качестве элементарного разграничения, полагаем, возможно следующее: эпистолярная письменность, актовая письменность, статейная письменность. Первые два обозначения не нуждаются в особых разъяснениях. Заметим только: в актовые включаем и законодательные тексты, вроде Уложения 1649 г. Статейную письменность представляют отчеты русских послов, или так называемые Статейные списки¹⁸, а также Вести-Куранты. Включение последних в статейные тексты оправдано и общностью их содержания и содержания Статейных списков (военно-политические и экономические вести из зарубежных стран), и более или менее общим следованием в тех и других источниках статейному принципу изложения. Например, в Вестях-Курантах 1620 г. встречаем такие

¹⁶ См.: С. И. Котков, Южновеликорусское наречие в XVII столетии (Фонетика и морфология), М., 1963, стр. 24—26; е г о ж е, Отказные книги, ВЯ, 1969, 1, стр. 131.

¹⁷ Впервые осуществленные лингвистами обширные публикации грамоток подтверждают это со всей определенностью. Кроме названных, см.: «Грамотки XVII — начала XVIII века», изд. подготовили Н. И. Тарабасова, Н. П. Панкратова, под ред. С. И. Коткова, М., 1969. См. также отдел первый в кн.: «Московская деловая и бытовая письменность XVII века», изд. подготовили С. И. Котков, А. С. Орешников, И. С. Филиппова, М., 1968.

¹⁸ См.: С. И. Котков, Сказки о русском слове, М., 1967, стр. 72—73.

редакторские пометы: «переписат к тѣм к прежним к четырем статьям тотчсъ» (ЦГАДА, ф. 141, оп. 1, 1620 г., № 15, л. 15); «переписат тотчсъ к прежнимъ к трем статьям» (там же, л. 30). На листе амстердамского издания «Europische Saterdaegs courant», с которого переводили вести, встречаем следующую помету: «переведены тѣ стати которые надобны а иные были» (ЦГАДА, ф. 155, 1646 г., № 5, л. 4 об.).

С деловой письменностью исследуемой эпохи обыкновенно связывают деловой, или так называемый приказный язык. Но если эта письменность, как можно было убедиться, довольно неоднородна, по-видимому, нуждается в пересмотре и представлении об этом языке как однородном образовании. Когда выделяют «деловой» язык, в отличие от «книжно-литературного», то это противопоставление в какой-то мере оправдано, поскольку определение «деловой» в сравнении с «приказный» является более емким. А что касается определения «приказный», то его применение к языку в смысле «деловой», по меньшей мере, спорно. Скажем, язык эпистолярной письменности, в известной степени деловой, не является, однако, приказным, тождественным языку делопроизводства и государственного управления, языку актовой письменности. Да и в таких безусловно «деловых» произведениях русской письменности, как Статейные списки и Вести-Куранты, мы не можем с уверенностью усмотреть просто язык приказов, хотя появление этих произведений и обуславливалось деятельностью последних. И в Статейных списках, и в Вестях-Курантах вполне отчетливо проступает определенная литературность и, кроме того, заметные элементы публицистического стиля, которые в общем не характерны для массовой актовой письменности. По нашему мнению, определение «приказный» условно можно ассоциировать только с языком стандартных актовых текстов.

Я. ГОРЕЦКИЙ

ФОНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СЛОВАЦКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

В современной фонологии наблюдается любопытное и своеобразное положение. В 30-е годы пражская функциональная фонология к фонетике относилась отрицательно. Фонология считалась единственной лингвистической дисциплиной о звуковом строе языка, а фонетика — дисциплиной нелингвистической, относящейся к области естествознания¹. В связи с этим фонема определялась лишь на основании функциональных, часто только реляционных признаков, т. е. как различительный элемент, имеющий свое место в системе относительно других взаимосвязанных элементов. Фонемой считался только такой элемент звукового плана языка, при помощи которого различались семантически по меньшей мере два слова данного языка (минимальная пара).

Экспериментальная спектрографическая фонетика, основывающаяся на стремительном развитии техники акустических приборов, дала новый толчок для развития фонологии, которая и сама к этому времени сосредоточила свои усилия на поисках элементов меньше фонемы, при этом нередко полностью возвращаясь к собственно фонетическим явлениям и интерпретациям. Новые методы дали возможность более точно, нередко и количественно исследовать акустический сигнал, что в свою очередь способствовало возникновению новых методов и способов определения фонем. Подчеркивалось использование формантов и их взаимоотношений. Естественно, методами экспериментальной фонетики легче всего можно было исследовать физические, акустические свойства гласных. Но скоро оказалось, что акустический континуум (акустический сигнал) несет больше информации, чем это нужно для передачи собственно языковой информации, особенно семантической, больше, чем нужно для различения слов с точки зрения функциональной фонологии. Далее, во многих работах было показано, что на одном только основании акустического сигнала почти невозможно или, по крайней мере, очень трудно определить характер отдельных фонем, особенно их границы. Возникали различные интерпретации акустического сигнала; становилось очевидно, что фонемы, определяемые на основании различительных признаков (выделяемых прежде всего при помощи формантов и их конфигураций в спектре), не могут образовывать столь же четкие системы, как, например, системы, построенные согласно принципам функциональной фонологии. Раздавались и скептические голоса, говорящие о принципиальной невозможности построить фонологическую систему данного языка на основе спектрографического анализа².

Не раз оказывалось, что адекватно оценить форманты и их роль при определении различительных признаков можно лишь, предварительно

¹ Ср., например: N. S. T r u b e t z k o y, Grundzüge der Phonologie, TCLP, 7, 1938, стр. 7 (русск. пер. см.: Н. С. Т р у б е ц к о й, Основы фонологии, М., 1960).

² Ср.: A. V. I s a ě n k o, Foném a jeho signálový korelát, SaS, 27, 3, 1966; e г о ж е, Spektrografická analýza slovenských hlások, Bratislava, 1968.

определив (по каким-либо другим, неакустическим свойствам), какие фонемы имеются в данном языке.

Тот факт, что при помощи приборов отмечается больше явлений, чем нужно для функционирования языка как средства общения, говорит о физическом, неязыковом характере спектрографического метода и выделяемых с его помощью различительных признаков. А. В. Исаченко, например, отметил в словацком слове *vädni* три слога, он выделил посторонний шум после согласного *d*, между тем как все говорящие интуитивно различают здесь только два слога. Посторонний шум после *d* здесь, очевидно, не имеет никакой коммуникативной функции.

Итак, кажется, что фонология, основанная на признаках, получаемых из спектрографического анализа акустического сигнала, находится в тупике. Этим подтверждается отличие фонологии от фонетики — это дисциплина, ориентированная функционально. Правда, прогресс нужно видеть в том, что образовалась теория различительных признаков, на основе которой возникла так называемая субфонематическая фонология, считающая основными, минимальными единицами не фонемы, а различительные признаки. При этом ее отличие от фонетики состоит в том, что различительные признаки определяются не акустическими свойствами, не только спектрографическим анализом, а как функциональные элементы. Различительные признаки обладают различительной силой в собственном смысле слова, выступая не отдельно, а всегда в совокупности. Отдельные фонемы определяются на основании не отдельных различительных признаков, а по упорядоченным рядам этих признаков.

Отклонение от акустической основы поддерживается общим развитием фонологической теории, отражающим явное приближение к перцептивной артикуляционной стороне. Это наблюдается не только в теории Н. Хомского и М. Халле³ (что не было бы показательно, поскольку генеративная фонология в сущности афонематическая, она не считает фонему основной единицей звукового уровня), но и во многих критических разборах генеративной фонологии.

На данном этапе развития фонологической теории можно вернуться к положению Р. Якобсона о различительной или же классификационной функции бинарных различительных признаков, успешно примененной, например, в статье группы советских авторов⁴, и использовать теорию различительных признаков (понимаемых в качестве чисто классифицирующих элементов, как результат абстрагирования определенных фонетических свойств) для описания фонологической системы конкретного языка, в данном случае словацкого литературного языка. Словацкий язык дает для этого, по мнению многих лингвистов, хороший материал, так как его звуковой план сравнительно прост и прозрачен.

При описании фонологической системы посредством различительных признаков необходимо исходить из того, что известен состав фонем словацкого литературного языка. Это следующие фонемы: *s z c z t d f v p b š ž č ž t' d' x h k g j m n ň l l' r r: l: a a: ia e e: ie o o: uo i i: u u: iu.*

Для полного описания этой системы нужно найти такие различительные признаки, при помощи которых все приведенные фонемы могут получить необходимое и достаточное определение, т. е. такое, чтобы к каждой

³ N. Chomsky, M. Halle, *The sound pattern of English*, New York — Evans — London, 1968.

⁴ М. И. Лекомцева, Д. М. Сегал, Т. М. Судник, С. М. Шур, Опыт построения фонологической типологии близкородственных языков, «Славянское языкознание. Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов (София, 1963)», М., 1963; М. И. Лекомцева, Типология структур слога в славянских языках, М., 1968.

фонеме можно было отнести особую совокупность, пучок различительных признаков.

В этом смысле наиболее общим различительным признаком является признак сонорности SNR⁵. На основе этого признака все словацкие фонемы разделяются на сонорные и несонорные. К сонорным (+SNR) принадлежат фонемы, при образовании которых полость рта приспособлена так, что допускает спонтанное звучание, глоттальные вибрации. Правда, критерий, высказанный М. Халле, акустический. С точки зрения артикуляционной можно определять несонорные фонемы (-SNR) как такие, при артикуляции которых преодолевается известное препятствие; такие фонемы иногда называют обструэнтами (или же *mutae*). Итак, имеют место уравнения +SNR = (-obstr) и -SNR = (+obstr). С другой точки зрения это фонемы формантные и неформантные.

С точки зрения различительного признака сонорности положение фонемы /j/ не совсем ясно. По мнению Хомского и Халле, эта фонема занимает критическое, переходное место среди сонорных и несонорных, но все-таки принадлежит сонорным фонемам. По фонетическим данным согласный *j* можно определить как непарный звонкий фрикативный звук и, следовательно, отнести его к шумным согласным (в таком случае мы могли бы предполагать для словацкого языка единственный шумный согласный без звонкого противопоставления), но, с другой стороны, по наблюдениям А. В. Исаченко, этот гласный имеет явную формантную структуру *и*-образного типа, четко проявляющуюся также в участии голосовых связок. Основным критерием для нас будет то, что /j/ функционирует как неслоговая фонема. Именно на основе формантности и неслоговости А. В. Исаченко относит фонему /j/ к сонорантам. Также оценивает ее и Е. Паулини⁶. Такое распределение подходит и для нашего описания, и потому определяем ее как +SNR⁷.

Следующие различительные признаки (по Р. Якобсону первые), вокальность и консонантность, определяются наличием или отсутствием работы голосовых связок. Из этих двух различительных признаков первое место принадлежит признаку вокальности. Поводом для такого решения служит то обстоятельство, что при акустическом спектрографическом анализе исследовались прежде всего гласные (как легче анализируемые), и обнаруженные у них свойства применялись к согласным. Если на первое место поставить признак сонорности, то второе место для признака вокальности обосновывается степенью сужения: при различительном признаке сонорности совсем нет сужения, при вокальности оно увеличивается, при консонантности увеличивается еще больше.

Если к гласным причислять не только собственно гласные, но также и плавные, необходимо при классификации иметь в виду признак высшего уровня, охватывающий оба вида этих фонем. Этим различительным признаком является консонантность (CNS). Если различительный признак вокальности (VOC) поместить после различительного признака консонантности, можно знаком +VOC обозначить настоящие гласные, выступающие вместе с плавными (за исключением *l'*) в роли носителей слоговости, а знаком -VOC носовые вместе с /j/. Фонема /j/ определяется зна-

⁵ Различительные признаки обозначаются обычно строчными буквами в прямых скобках. Чтобы указать, что речь идет не о фонетически мотивированных признаках, а о чисто классификационных, различительные признаки мы обозначаем прописными буквами и без скобок.

⁶ Е. P a u l i n y, *Fonológia spisovnej slovenčiny*, 2. vyd., Bratislava, 1968.

⁷ М. И. Лекомцева обозначает согласный /j/ как компактный непериферийный консонант, в другой работе как гласный, согласный, непрерывный, неяркий, звонкий, компактный, диффузный, непериферийный, небемольный, дизный, неназальный, ненапряженный.

ком +SNR (как указано выше), но из-за своей близости к гласным она имеет признак неконсонантности, а из-за шумности при артикуляции — признак невокальности. Итак, фонема /j/ является единственной словацкой фонемой, определяющейся различительными признаками +SNR —CNS —VOC⁸.

Приведенные три различительных признака образуют отдельную группу признаков. Их комбинацией образуются разные типы фонем, которые в соответствии с теорией Хомского — Халле можно обозначить как главные классы. Логически допустимы следующие комбинации различительных признаков и, следовательно, классы фонем:

— SNR	— SNR	— SNR	— SNR	+ SNR	+ SNR	+ SNR	+ SNR
— CNS	— CNS	+ CNS	+ CNS	— CNS	— CNS	+ CNS	+ CNS
— VOC	+ VOC						
0	0	t	0	j	a	m	r

В виде дерева эти классы изображены на рис. 1.

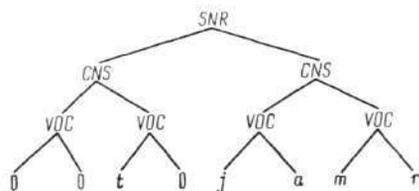


Рис. 1. Классы фонем по комбинации признаков консонантности, вокальности и сонорности (главные классы)

Поскольку логически исключена комбинация —SNR —CNS (несonorные не могут быть неконсонантными), первому и второму столбцамальные фонемы не соответствуют. Точно так же исключается комбинация —SNR + VOC (несonorные не могут быть вокалическими); ср. пробелы в четвертом столбце.

В дальнейших двух ступенях классификации нужно применить различительные признаки компактности (CMP) и грависности (GRV). Эти термины мотивированы концентрацией акустической энергии в весьма узкой зоне спектра, или же большим расстоянием формант F_1 — F_3 . Необходимо добавить, что акустическая мотивация этих различительных признаков в общем совпадает с их артикуляционной мотивацией, примененной в нашем описании: компактными являются фонемы, артикулируемые в задней полости рта, некомпактными — в передней части (половине) полости рта.

При оценке консонантных фонем (главного класса типа *t*) по признаку компактности между авторами разногласий нет. При оценке гласных такого согласия не наблюдается. Например, М. Халле и Р. Якобсон считают компактным только /а/, в то время как гласные /i e o u/, по их мнению, некомпактные, а гласные /i u/ диффузные⁹. Общеизвестно, что в определении бинарного характера различительного признака компактности много неясного. Первоначально предполагалось, что решение

⁸ Такая оценка принимается почти всеми исследователями; только Е. Паулини и М. И. Лекомцева («Типология структур слога в славянских языках») оценивают /j/ как вокальный и консонантный.

⁹ R. Jakobson, M. Halle, *Fundamentals of language*, 's-Gravenhage, 1956.

можно найти в выделении двух различительных признаков — компактности и диффузности. Например, у Е. Паулини мы находим попытку оценивать /a ä/ как компактные, /i u/ как диффузные, а /e o/ лишены различительного признака компактности или диффузности. У Я. Горецкого¹⁰ можно найти оценку /a ä/ как компактных, /i u/ как некомпактных, а /e o/ как (+comp).

Разумеется, что при логической классификации, основанной на бинарности каждого различительного признака (или же на возможности только двоякого выбора при каждом шаге классификации), возникают значительные затруднения, если речь идет не о последнем шаге. Этих трудностей можно избежать при условии, что гласные будут оцениваться аналогично согласным по месту артикуляции (хотя оно не выделяется столь отчетливо и фонетически не столь релевантно, как у согласных), причем передние гласные, т. е. /ä e i/ будут обозначены —СМР, задние гласные, т. е. /a o u/ будут обозначены +СМР.

В оценке носовых также наблюдается разноречие. Е. Паулини оценивает /ñ/ как компактный, /п m/ как диффузные, Г. Кучера¹¹ считает /й/ акутовым, /п m/ неакутовыми. У В. Яссема¹² /й п/ рассматриваются как компактные, /п m/ как некомпактные. По нашему мнению, и здесь можно исходить из места артикуляции. По А. В. Исаченко, место затвора у словацкого /й/ более заднее, чем у /п/, поэтому его можно оценить как +СМР, а /п m/ обозначить —СМР.

М. И. Лекомцева и др. соглашаются в мнении, что все носовые некомпактные /п й/ непрерывные (к /п m/ этот различительный признак не применим).

Большое затруднение представляет мотивация различительного признака компактности для плавных. Фонему /l/ можно оценивать как +СМР на основании тех же свойств, что у фонемы /й/. У фонемы /й/, по А. В. Исаченко, также наблюдается расширение фарингальной полости. Фонемы /l, r/ с артикуляционной точки зрения разного характера, но общее у них то, что их нельзя оценивать как компактные (это, так сказать, не прямое определение). Общим фонемам присуще совместное свойство: они могут быть носителями слоговости, т. е. могут быть долгими (к /l/ это не относится). Как компактную оценивает фонему /l/ Е. Паулини, а /r l/ как диффузные. А. В. Исаченко как будто различает слоговые и неслоговые плавные. М. И. Лекомцева и др. полагают, что все плавные некомпактные, периферийные, /l l'/ прерывные, /r/ непрерывный неносовой.

При дальнейшей классификации фонем по различительному признаку компактности (в зависимости от артикуляции в передней или задней части полости рта) удастся с успехом применить признак, основанный на артикуляции в середине или на краю полости рта. Этот признак называется «периферийность — центральность» или «острота — тупость». При определении этого признака и в применении его к отдельным фонемам, главным образом неконсонантным, наблюдается значительный разноречие.

Консонантные фонемы в словацком языке можно оценивать как грависные, когда их артикуляция происходит на краю полости рта (например, /р/, /х/), и как негрависные, когда артикуляция происходит в середине полости рта (например, /т/, /т'/).

Словацкие вокалические фонемы /i а e/ Е. Паулини определяет как острые, /u а o/ как тупые, причем эти признаки в сущности совпадают

¹⁰ J. H o r e c k ý, Fonologický systém spisovnej slovenčiny, «Slovenská reč», 33. 5, 1968.

¹¹ H. K u č e r a, The phonology of Czech, 's-Gravenhage, 1961.

¹² W. J a s s e m, The distinctive features of Polish phonemes, «Speech transmission laboratory (Stockholm)», April, 1962.

с нашим различительным признаком компактности. По признаку периферийности Е. Паулини обозначает /а ä u i/ как периферийные (в нашей интерпретации это грависные), /о е/ как центральные (негрависные). В качестве критерия Е. Паулини использует не место артикуляции, но степень поднятия языка. Для гласных это более естественно, чем место артикуляции, но нам кажется, что для соблюдения единства и для гласных тоже можно использовать место артикуляции в качестве критерия; тогда передние (более передние) и задние (более задние) гласные — +GRV, остальные —GRV. В качестве аргумента в пользу этой точки зрения можно сослаться на А. В. Исаченко, у которого при измерении разных величин появляется обыкновенно последовательность /i e ä a o u/, где фонемы /i e — o u/, всегда на краю. М. И. Лекомцева и др. занимают другую точку зрения: /е i/ (—perif), /о u/ (+perif) и /а ä/ (0 perif).

В оценке носовых тоже существует несколько разных мнений. По мнению В. Яссема, /m/ неакутовое, /n ñ/ акутовые, Г. Кучера, напротив, считает /m n/ неакутовыми, /ñ/ акутовым. Е. Паулини считает /n ñ/ острыми, /m/ тупым. По нашему мнению, здесь нужно исходить из места артикуляции и оценивать ряд /m n ñ/ аналогично ряду /p t t'/ (т. е. /m/ как (+GRV), произносимое на краю полости рта). Ср. мнение М. И. Лекомцевой и др., считающих /m/ периферийным и /n ñ/ непериферийными.

Оценка положения плавных еще более не ясна. Е. Паулини оценивает /г/ как средний (по нашей системе различительных признаков —GRV), /l l'/ как крайние (+GRV). С точки зрения места артикуляции /l l'/ следует оценивать как —GRV; правда, оценка /г/ как +GRV не совсем обоснована. Но здесь, как и в случае с носовыми, оценка (в значительной степени условная) опирается на параллель с /m/, а также с /г: l:/; последнее позволяет выделить для них особый различительный признак долготы.

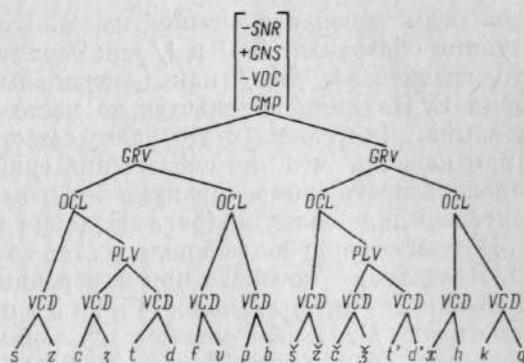
До сих пор приведенные различительные признаки (признаки главных классов и два признака по месту артикуляции) были общими для согласных и гласных (или же неслоговых фонем), за исключением /j/. Далее будем разграничивать различительные признаки консонантов и вокалов.

Для группы собственно согласных (—SNR +CSN) наиболее важным критерием классификации является затвор, или же степень затвора. Поэтому основным различительным признаком здесь выступает смычность (occlusive) (OCL). Поскольку у спирантов вообще не наблюдается затвора, их можно оценивать как —OCL, в то время как для аффрикат можно до известной степени говорить о затворе, что позволяет оценивать их вместе с собственно смычными как +OCL. Для разграничения аффрикат от собственно смычных можно ввести различительный признак пловивности (PLV), обозначающий полность или неполность затвора, то, что Хомский и Халле называют «delayed release» (отодвинутый спуск); итак, собственно смычные +PLV, аффрикаты —PLV.

Наконец, нужно все несогласные согласные оценивать посредством различительного признака звонкости (VCD).

Несогласные согласные фонемы (см. также рис. 2)

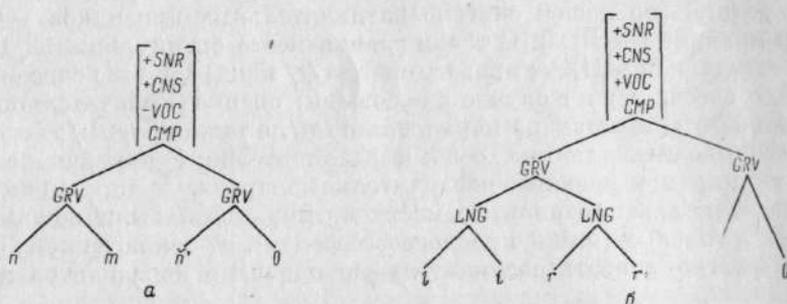
	s	z	c	ž	t	d	f	v	p	b	š	ž	č	ž'	t'	d'	x	h	k	g
CMF	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
GRV	—	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
OCL	—	—	+	+	+	+	—	—	+	+	—	—	+	+	+	+	—	—	+	+
PLV			—	—	+	+							—	—	+	+				
VCD	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+



Р и с. 2. Дерево несонорных согласных фонем

Носовые и плавные согласные фонемы (см. также рис. 3а, 3б)

	п	м	ñ	0	l	r	l'	0 resp. l	l:	r	r:	l'	0
CMP	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	-	+	+
GRV	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-	+	+	-
LNG					-	+			-	+			+



Р и с. 3: а. Дерево носовых согласных фонем, б. Дерево плавных согласных фонем

Для различения вокалических фонем не хватает первых пяти различительных признаков, которые свойственны и консонантам. Нужно ввести еще такого рода различительные признаки, на основе которых различались бы вокалические фонемы /e i/, одинаково определяемые пятью различительными признаками (+SNR, -CNR +VOC -CMP +GRV), и вокалические фонемы, определяемые рядом различительных признаков (+SNR -CSN +VOC +SMP +GRV).

Нужно выяснить, нет ли здесь различительного признака по артикуляции. Место артикуляции здесь нерелевантно, потому допустимо взять в виде вспомогательного критерия подъем языка: при артикуляции вокалических фонем /u i/ положение языка выше, чем при артикуляции вокалических фонем /o e/. Это дает возможность определять /u i/ как высокие (+HGH), /o e/ как невысокие (-HGH); правда, релятивность этого признака всегда остается.

Далее, нужно принять во внимание различительный признак долготы, хотя этот признак не мотивирован местом артикуляции. С функциональной точки зрения несомненно, что в словацком языке долгие и краткие фонемы являются особыми фонемами. Нужно добавить, что различительный признак долготы называют и другие авторы (например,

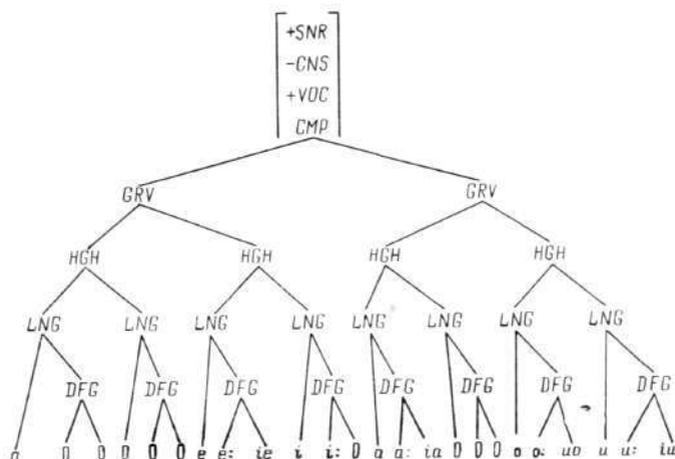
С. К. Шаумян¹³), не основывающие различительные признаки на акустических свойствах.

Особой проблемой являются словацкие дифтонги, имеющие, несомненно, различительную силу, и тем самым являющиеся фонемами. В первоначальной теории различительных признаков о дифтонгах не говорится. Обычно их считают соединением двух вокалов или же согласного /j/ и /w/ и соответствующего гласного. Но вполне ясно, что словацкие дифтонги выступают в роли долгих носителей слоговости, и их следует оценивать как монофонематические образования, определяемые с фонетической стороны скольжением при переходе от первого компонента к другому¹⁴. Это качество можно использовать как особый различительный признак дифтонгичности (DFG). Наличие или отсутствие этого признака разделяет долгие гласные фонемы на дифтонгичные и недифтонгичные¹⁵.

Для общей таблицы гласных фонем (+SNR +VOC) показательно, что в ней много белых мест. Нет высокого соответствия низкому /ä a/, нет дифтонгов, соответствующих /i:/, нет также долгих дифтонгов, соответствующих /ä/.

Гласные фонемы (см. также рис. 4)

	ä	e	e:	ie	i	i:	.	a	a:	ia	.	.	.	o	o:	uo	u	u:	iu	
CMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
GRV	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HGH	-	-	-	+	+	+	-	-	-	+	+	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+
LNG	-	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	-	+
DFG	-	+	-	-	+	-	+	-	-	+	-	-	+	-	-	+	-	-	+	-	-	+	-	+



Р и с. 4. Дерево гласных фонем

Таким образом, для характеристики всех фонем словацкого литературного языка достаточно пяти общих различительных признаков и трех различительных признаков для согласных и гласных. Эти различительные признаки образуют систему, в которой занимают определенное место.

Различительные признаки не образуют пучков у отдельных фонем, но они упорядочены в ряды. Если ввести функцию φ, при помощи которой образуются ряды, и функцию ψ, применяющую эти ряды к отдельным фонемам, и если считать известным множество фонем А и множество различительных признаков В, то фонологическая система предстает в виде:

$$F = \{A, B, \varphi, \psi\}.$$

¹³ С. К. Шаумян, Проблемы теоретической фонологии, М., 1962.

¹⁴ J. Dvořáková, G. Jenča, A. Kráľ, Atlas slovenských hlások, Bratislava, 1969.

¹⁵ J. Honecký, Slovenské diftongy, «Jazykovedné štúdie», 12, Bratislava, 1972 (в печати).

М. Л. ГАСПАРОВ

МЕТРИЧЕСКИЙ РЕПЕРТУАР РУССКОЙ ЛИРИКИ XVIII—XX вв.

Стиховая система каждого языка складывается под перекрестным влиянием двух факторов: фонологических данных языка и литературной традиции стиха. Взаимодействие этих двух факторов совершается на двух уровнях, метрическом и ритмическом. На метрическом уровне оно определяет набор употребительных стихотворных размеров и пропорции их употребительности. На ритмическом уровне оно определяет набор употребительных ритмических вариантов каждого размера и пропорции их употребительности. В русском стиховедении до сих пор преимущественно исследовался этот второй аспект и мало обращалось внимания на первый. Со времен Андрея Белого сделано очень много для изучения ритмики, например, 4-стопного ямба, ее эволюции от XVIII в. к XX в., но очень мало — для выяснения места 4-стопного ямба среди других размеров в системе русского стиха каждой эпохи. Здесь до сих пор приходилось довольствоваться такими общими впечатлениями, как «при Пушкине в русской поэзии господствуют ямбы», «при Некрасове расцветают анапесты и другие трехсложные размеры», «в XX в. характерным становится обращение к чисто-тоническому стиху». Но в какой мере «господствуют» ямбы при Пушкине, и преобладают ли трехсложные размеры над ямбами при Некрасове, — этого по впечатлению сказать нельзя, здесь нужны специальные подсчеты.

Толчком для усиления внимания к первому, метрическому аспекту эволюции стиховой системы послужила в последнее десятилетие новая постановка вопроса о семантике метра. До сих пор здесь были в ходу лишь импрессионистические замечания: «ямб хорошо выражает четкость», «амфибрахий хорошо выражает плавность» и т. п. Работа К. Тарановского о семантике лирического 5-стопного хоря в русской лирике¹ показала, что возможен и иной подход: выделение (сколько можно более полное) стихотворений, написанных одним и тем же (не очень употребительным) размером, и выявление общих семантических признаков в этом реальном материале. Однако для того, чтобы должным образом оценить данные такого обследования, необходимо с достаточной ясностью представлять себе тот метрический фон, на котором выделяется этот материал. Поэтому такую важность имеет составление метрических справочников по творчеству отдельных поэтов: со времени работ Б. И. Ярхо и его группы над Пушкиным и Лермонтовым² эта тема впервые привлекла теперь внимание исследователей. Работа над метрическими справочниками к стихотворениям тех или иных поэтов XVIII—XIX вв. ведется сейчас в разных местах,

¹ К. Тарановский, О взаимоотношении стихотворного ритма и тематики, «American contributions to the V International congress of slavists», I, The Hague, 1963. Образцовые анализы см. также: Б. Томашевский, Строфика Пушкина, в его кн. «Стих и язык», М., 1959.

² Н. В. Лапшина, И. К. Романович, Б. И. Ярхо, Метрический справочник к стихотворениям А. С. Пушкина, [М — Л.], 1934; и х же, Из материалов «Метрического справочника к стихотворениям М. Ю. Лермонтова», ВЯ, 1966, 2.

но по общей программе³; ее координирующий центр — группа Л. И. Тимофеева при ИМЛИ АН СССР. Но прежде чем явятся результаты этой многолетней работы, целесообразно произвести предварительное обследование по достаточно представительной выборке из всего подлежащего материалу. Попыткой такого предварительного обследования и является настоящая статья. Задача ее — уточнить состав и, главное, пропорции употребления различных размеров в русской лирике за два с лишним века ее истории. Разумеется, все ныне получаемые результаты могут быть лишь грубо приближенными, и в дальнейшем будут по многу раз проверяться и уточняться; но и в этих самых общих очертаниях они уже представляют интерес для историка стиха.

В качестве выборки материала для настоящего обследования были использованы наиболее полные серийные и антологические издания русской поэзии — в предположении, что в этих изданиях отобраны тексты, наиболее представительные для своих эпох, и что при отборе их метрические критерии во внимание не принимались, т. е. сознательной деформации пропорций метрического материала не производилось. Издания эти следующие:

а) для XVIII в. — антология С. А. Венгерова «Русская поэзия. XVIII век», вып. 1—7, СПб., 1897—1901. Для сравнения были сделаны подсчеты и по текстам, вошедшим в малую серию «Библиотеки поэта» (гораздо более малочисленным); пропорции близко сошлись;

б) для 1801—1900 гг. — сборники малой серии «Библиотеки поэта» (3-е изд.; 1-е и 2-е изд. использовались лишь в тех случаях, когда те или иные поэты были представлены в них полнее): Державин, Карамзин и Дмитриев, Радищев, «Поэты-радищевцы», «Поэты начала XIX в.», Крылов, Жуковский, Батюшков, Давыдов, Гнедич, Ф. Глинка, Рылеев, Кюхельбекер, Одоевский, «Поэты-декабристы», Катенин, Грибоедов, Козлов, Вяземский, Пушкин, Дельвиг, Баратынский, Языков, «Поэты 1820—1830-х гг.», Веневитинов, Шевырев, Хомяков (1-е изд.), Бенедиктов (1-е изд.), Полежаев, Лермонтов, Кольцов, Ершов (2-е изд.), Тютчев (2-е изд.), «Поэты 1840—1850-х гг.», «Поэты-петрашевцы», Плещеев, Огарев, А. Григорьев, Тургенев, Майков, Мей, Фет, А. К. Толстой, Полонский, Щербина (1-е изд.), Некрасов, Никитин, Михайлов, Добролюбов, Курочкин (2-е изд.), Минаев (2-е изд.), «Поэты 1860-х гг.», Суриков (2-е изд.), Трефолев (2-е изд.), Дрожжин (2-е изд.), «Поэты-демократы 1870—1880-х гг.», Случевский (1-е изд.), Фофанов (1-е изд.), Апухтин (1-е изд.), Надсон, «Поэты 1880—1890-х гг.», «Революционная поэзия», Бунин, Брюсов, Блок (стихи до 1900 г.);

в) для 1890—1924 гг. — антология Н. Ежова и Е. Шамурина «Русская поэзия XX века» (М., 1925) с разделами «Символисты», «Акмеисты», «Футуристы», «Имажинисты», «Крестьянские поэты», «Пролетарские поэты» и др.;

г) для 1924—1957 гг. — сборники серии «Библиотека советской поэзии»: Александровский, Алигер, Алтаузен, Антокольский, Асеев, Ахматова, Барто, Безыменский, Берггольц, Браун, Ваншенкин, С. Васильев, Винокуров, Герасимов, Голодный, Гончаров, Городецкий, Грибачев, Гудзенко, Гусев, Дементьев, Долматовский, Дудин, Жаров, Заболоцкий, Инбер, Исаковский, Казин, Кириллов, Кирсанов, Коваленков, Комаров, Корнилов, Луговской, Луконин, Маршак, Мартынов, Межиров, Михалков, Наровчатов, Недогонов, Орешин, Орлов, Ошанин, Пастернак, «Поэты 1920-х гг.», Прокофьев, Решетов, Рыленков, Садофьев, Санников, Светлов, Сельвинский, Симонов, Смеляков, С. Смирнов, Софронов, Стрельченко, Сурков, Твардовский, Тихонов, Уткин, Ушаков, Шефнер,

³ См.: ИАН ОЛЯ, 1970, 5, стр. 442—446.

Щипачев, Яшин; кроме того, из сборников малой серии «Библиотеки поэта» — Багрицкий, Д. Бедный, Маяковский, Лебедев-Кумач (2-е изд.; так как указанный сборник Лебедева-Кумача приблизительно вдвое объемистее книжек «Библиотеки советской поэзии», мы брали из него стихотворения через одно);

д) для 1958—1967 гг. — издаваемые в Москве альманахи «День поэзии» за 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968 гг. (только новые стихи; посмертные публикации и т. п. не учитывались).

Из рассмотренного материала были взяты только произведения среднего объема: пропускались стихотворения длиной менее 8 стихов и пропускались произведения больших жанров (поэмы, драмы); таким образом, всюду идет речь не о метрическом репертуаре п о э з и и, а о метрическом репертуаре л и р и к и. Там, где возникали сомнения, считать ли данную вещь стихотворением или поэмой, мы предпочитали первое и включали ее в свой подсчет. Переводные стихотворения учитывались для тех поэтов, у которых они входят как часть в их оригинальное творчество (Жуковский, Лермонтов) и не учитывались для тех, у кого оригинальные и переводные стихи четко разделены (Михайлов, Плещеев).

При подсчете учитывалось только количество стихотворений, а не количество стихотворных строк. Точнее сказать, учитывалось количество обращений поэта к каждому отдельному стихотворному размеру или форме строфы. Это значит: в полиметрических стихотворениях, состоящих из кусков текста, написанных разными размерами, учитывается столько текстов, сколько использовано разных размеров; так, стихотворение Катенина «Мстислав Мстиславич» учтено как 13 текстов (2-ст. амфибрахий, 2-ст. ямб с муж. окончанием, 4-ст. хорей, 4-ст. дактиль, 2-ст. ямб с дактилическим окончанием и т. д.), а стихотворение Трефолева «Песня о камаринском мужике» (из чередующихся по несколько раз кусков 4-ст. и 6-ст. хорей) учтено как два текста. Куски объемом меньше 8 строк и куски, дословно повторяющие друг друга (например, припевы в песнях), не учитывались.

Группировка текстов — хронологическая, по десятилетиям; для советской поэзии 1924—1957 гг., кроме того, была сделана более дробная разбивка по пятилетиям, но существенных уточнений она не дала. Конечно, часть стихотворений с неуточненными датами пришлось отнести к тому или иному десятилетию гадательно. Так как антология Венгерова и Ежова — Шамурина, к большому сожалению, не датируют стихотворений, то разделы «XVIII в.» и «1890—1924» пришлось дать без разбивки на десятилетия; кроме того, венгеровская антология, несомненно, включает и некоторые стихотворения 1800-х гг., а антология Ежова — Шамурина заведомо включает стихотворения 1890-х гг., отчасти перекрывая, таким образом, основной массив лирики XIX в., взятой по «Библиотеке поэта». Однако из нижеследующих таблиц видно, что это не мешает ясности хронологических рубежей.

Большинство обозначений размеров — «2-ст. ямб» (Я 2), «3-ст. ямб» (Я 3) и т. д. — пояснений не требуют. Стихи длиннее 6-ст. ямба и хорей или 5-ст. дактиля, амфибрахия, анапеста объединяются как «длинные» (дл.). Цезурные варианты не выделялись; только 6-ст. хорей различался цезурованный (цез.: «У бурмистра Власа бабушка Ненила...») и бесцезурный (б/ц: «Вдоль по улице метелица метет...»). «Разностопными» (рз.-ст., рз.) названы размеры, в которых строки разной стопности чередуются упорядоченно (например, «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» или «Певец во стане русских воинов»); «вольными» (В.) — размеры, в которых строки разной стопности чередуются беспорядочно («Погасло дневное светило...» или басни Крылова).

Среди неклассических размеров выделены следующие: 1) гексаметр с элегическим дистихом; 2) логаяды строчные (упорядоченное чередование строк разного размера, например, ямба и амфибрахия) и логаяды стопные (упорядоченное чередование стоп в строке, например в имитациях античных строф или в некоторых современных песнях); 3) «пяτισложник» кольцовского типа («Что, дремучий лес, Призадумался...»); 4) стихи с переменной анакрусой («Русалка плыла по реке голубой...»); 5) дольник — стихи с переменными междуиктовыми интервалами в 1—2 слога; 6) тактовик — стихи с переменными междуиктовыми интервалами в 1—3 слога (в частности, многие подражания народному стиху); 7) акцентный стих — с произвольными междуударными интервалами и с рифмой («Облако в штанах» Маяковского); 8) свободный стих — тоже с произвольными междуударными интервалами, но без рифм («Александрийские песни» Кузмина)⁴. (В сокращении они соответственно обозначаются гекс., дог., 5-сл., п. а., д-к, т-к, акц., св.).

Разумеется, часто приходилось сомневаться, написано ли данное стихотворение правильным 6-ст. ямбом с единичными отступлениями в 5-ст. ямб или же вольным ямбом? правильным анапестом с отступлениями или же дольником? Условно мы считали, что если строки с отступлениями составляют менее 25% текста, то размер можно относить к более «правильным», если более 25% — то к более «свободным». Но, конечно, на практике многое приходилось решать «на слух»: здесь еще требуется немало уточнений.

Результаты подсчетов (в абсолютных числах) представлены в таблице 1.

Переводить в проценты все показатели этой таблицы вряд ли имеет смысл; однако стоит выделить, во-первых, те размеры, которые охватывают не менее 5% всех текстов каждого десятилетия, и, во-вторых, в убывающем порядке — те размеры, которые вместе с предыдущими охватывают 75% всех текстов каждого десятилетия. Это поможет увидеть, сколько размеров из общего числа 47, перечисленных в таблице, составляют, так сказать, основной фонд русской метрики.

XVIII в.: Я В — 40,4%; Я 6—24,2%; Я 4—17,9%; Х 4—8,0% (всего 90,5%);

1801—1810: Я В — 28,2%; Я 4—22,3%; Х 4—13,9%; Я 6—12,8%; Я рз — 7,0% (всего 84,2%);

1811—1820: Я В — 37,8%; Я 4—16,7%; Я 6—9,9%; Х 4—7,9%; Я рз — 7,6% (всего 79,9%);

1821—1830: Я 4—42,4%; Я В — 13,0%; Х 4—9,1%; Я 5—8,9%; Я рз — 6,7% (всего 80,1%);

1831—1840: Я 4—25,4%; Х 4—19,7%; Я В — 9,9%; Я рз — 7,4%; Я 6—7,1%; Я 5—6,9% (всего 76,4%);

1841—1850: Я 4—19,8%; Я 6—11,9%; Я 5—11,4%; Х 4—11,0%; Я рз — 7,3% (всего 61,4%); Я В — 4,2%; Ам 3—4,1%; Ан 3—3,5%; Х рз — 3,1% (всего 76,3%);

1851—1860: Я 4—22,2%; Х 4—12,7%; Я 6—11,8%; Я 5—7,7%; Я рз — 6,1%; Ан 3—6,0% (всего 66,5%); Ам 3—3,1%; Х 3—3,0%; Я В — 2,9% (всего 75,5%);

1861—1870: Я 4—23,4%; Х 4—14,3%; Я 6—6,3%; Я 5—6,0%; Я рз — 5,7% (всего 55,7%); Х 3—4,9%; Х рз — 3,9%; Ан 3—3,9%; Ам рз — 3,6%; Д 4—3,1% (всего 75,1%);

⁴ Обоснование для выделения всех этих размеров разрабатывается в статьях: М. Л. Г а с п а р о в, Русский трехударный дольник XX в., «Теория стиха», Л., 1968; е г о ж е, Тактовик в системе русского стихосложения, ВЯ, 1968, 5; е г о ж е, Акцентный стих раннего Маяковского, «Труды по знаковым системам», 3, Тарту, 1967; е г о ж е, Тактовик и русский народный стих, «Теория стиха», II (в печати).

Таблица 1 (продолжение)

Основные размеры	XVIII в. «Б. П.»	Венг.	1801— 1810	1811— 1820	1821— 1830	1831— 1840	1841— 1850	1851— 1860	1861— 1870	1871— 1880	1881—1890	1891—1900	1890—1924	1925—1935	1936—1945	1946—1957	1958—1968
Ам 2	2	2	2	5	13	7	5	5	4	1	—	2	2	4	1	5	4
3	2	—	1	—	3	6	32	31	16	14	15	17	28	25	70	74	71
4	—	—	2	13	26	21	15	16	13	8	19	11	19	33	48	38	26
5	—	—	—	—	7	1	9	—	1	—	—	1	5	3	9	4	5
дл	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
рз	—	—	1	6	16	21	18	15	25	19	15	12	14	16	39	28	14
в	—	—	—	1	3	4	2	1	4	—	—	1	1	1	2	3	3
Ан 1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
2	2	—	—	—	8	14	5	7	2	4	—	4	10	—	11	23	26
3	2	1	—	2	1	2	27	60	27	20	29	23	61	24	78	68	83
4	—	—	—	—	1	—	7	8	2	3	22	13	16	11	19	35	30
5	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	4	1	12	17	4
дл	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
рз	—	—	—	1	7	4	7	22	19	21	32	20	27	4	14	20	9
в	—	—	—	—	—	—	—	5	—	2	2	3	10	7	9	12	8
гекс	2	4	2	9	14	9	17	9	1	—	—	1	7	—	—	—	—
5-сл	3	—	7	7	3	3	3	12	1	1	3	5	10	3	8	10	4
Б-сл	—	2	1	1	1	19	9	12	9	3	1	2	—	—	1	—	—
п. а.	1	3	3	2	1	5	1	1	—	—	—	1	11	8	13	14	10
д-к	2	1	3	2	4	6	6	3	1	—	—	3	163	171	184	151	165
т-к	1	1	—	1	4	11	—	8	1	2	—	3	30	17	4	5	18
акц	2	—	2	—	—	—	—	—	4	—	—	—	62	38	4	6	14
св	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	17	—	—	1	17
Всего	512	1350	273	515	1122	798	782	1017	701	469	600	575	1863	919	1617	1640	1649

1871—1880: Я 4—17,5%; X 4—10,4%; Я 6—7,7%; Я 5—6,8%; X рз — 5,2% (всего 47,6%); Д 4—4,9%; Д рз — 4,5%; Я рз — 4,5%; Ан рз — 4,5%; Ан 3—4,3%; Я В — 4,3%; Ам рз — 4,1%; X 3—4,1% (всего 82,8%);

1881—1890: Я 6—18,7%; Я 4—17,8%; X 4—8,0%; Я рз — 6,0%; Я В — 5,5%; Ан рз — 5,4% (всего 61,4%); Ан 3—4,8%; Д 4—4,3%; Я 5—4,0%; Ан 4—3,7% (всего 78,2%);

1891—1900: Я 4—26,3%; X 4—10,9%; Я 6—8,7%; Я 5—7,7%; Я рз — 5,4% (всего 59,0%); Ан 3—4,0%; Ан рз — 3,5%; Я В — 3,3%; Д 4—3,1%; Ам 3—3,0% (всего 75,9%);

1890—1924: Я 4—18,9%; Я 5—11,6%; X 4—8,0%; Я В — 5,5%; д-к — 8,7%; Я 6—5,2% (всего 57,9%); X 5—4,5%; Я рз — 3,8%; акц — 3,3%; Ан 3—3,3%; Я 3—2,1%; т-к — 1,6% (всего 76,4%);

1925—1935: д-к — 18,6%; Я 4—16,4%; X 5—9,4%; X 4—8,5%; Я 5—6,7% (всего 59,6%); акц — 4,1%; Я В — 4,1%; Я рз — 3,6%; Ам 4—3,6% (всего 75,0%);

1936—1945: Я 5—16,2%; Я 4—13,5%; д-к — 11,4%; X 5—10,0%; X 4—8,8% (всего 59,9%); Ан 3—4,8%; Ам 3—4,3%; Я рз — 4,3%; Ам 4—3,0% (всего 76,3%);

1946—1957: Я 5—17,4%; Я 4—16,6%; X 5—10,5%; д-к — 9,2%; X 4—5,7% (всего 59,4%); Я рз — 4,9%; Ам 3—4,5%; Ан 3—4,1%; X рз — 3,2% (всего 76,1%);

1957—1968: Я 4—21,2%; Я 5—20,2%; д-к — 10,0%; X 5—9,1%; X 4—5,6%; Ан 3—5,0% (всего 71,1%); Ам 3—4,3% (всего 75,4%).

Таким образом, ядро метрического репертуара русской лирики составляет лишь небольшая часть наличествующих в ней размеров: от 4 до 13 из выделенных нами 47. Это количество наиболее активных размеров увеличивается с XVIII в. до 1840—1924 гг. (максимум — 1870-е гг.), а потом сокращается вновь. Максимум метрического единообразия приходится на 1820-е гг. (42% лирических текстов написаны 4-ст. ямбом!), обычно же доля господствующего размера после 1840-х гг. слабо колеблется около 20%.

Состав этого основного метрического фонда тоже характерным образом меняется. Постоянными его элементами остаются лишь 4-ст. ямб и 4-ст. хорей. Из размеров, употребительных в начальные периоды, вольный ямб сходит с авансцены к 1840-м гг., 6-ст. ямб и разностопный ямб — к началу XX в. Из размеров, употребительных в последние периоды, 5-ст. ямб появляется в заметных количествах с 1820-х гг., 5-ст. хорей вступает в ведущую группу размеров в 1920-х гг., дольник — на рубеже XX в. (по не надо забывать, что в нашей таблице дольник представляет собой не один размер, а группу размеров — 3-, 4-, 4-3-иктный дольник и т. п.). Заметим, что трехсложные размеры в этой ведущей группе появляются лишь в единичных случаях (1850, 1880, 1960-е гг.): уже из этого видно, что говорить о «преобладании» 3-сложных размеров в какую бы то ни было эпоху было бы неосторожно.

Более детально эволюция метрического репертуара выявляется из таблиц 2—6 в.

Все таблицы даны здесь в двух вариантах: в развернутом, с показателями по каждому десятилетию, и в обобщенном, где смежные десятилетия, дающие сходные показатели, сгруппированы в более крупные периоды. Группировка, как можно видеть из таблиц, производилась только на основе публикуемых цифр, без всяких сторонних предположений. Не во всех таблицах пороги между периодами полностью совпадают, но некоторые из них обнаруживаются достаточно единообразно — например, рубеж между 1830 и 1840-ми гг. или между 1870 и 1880-ми гг.

Таблица 2

	Группы размеров							
	XVIII в.	1800—1810	1811—1820	1821—1830	1831—1840	1841—1850	1851—1860	1861—1870
Ямбы	87,5	71,5	79,5	77,0	58,0	56,0	51,5	46,0
Хорей	9,5	17,0	10,5	12,0	24,0	18,5	22,0	27,5
3-ст.	2,0	5,0	6,0	8,5	11,5	20,0	23,0	24,0
Проч.	1,0	6,5	4,5	2,5	6,5	5,5	3,5	2,5

	1871—1880	1881—1890	1891—1900	1890—1924	1925—1935	1936—1945	1946—1957	1958—1968
	Ямбы	41,5	52,5	53,0	49,5	34,0	41,0	45,0
Хорей	25,5	15,5	18,5	19,5	25,0	24,5	21,5	17,5
3-ст.	32,0	31,0	26,0	14,5	15,0	21,0	22,0	18,5
Проч.	1,0	1,0	2,5	16,5	26,0	13,5	11,5	14,0

Таблица 2а

	XVIII в.	1800—1830	1831—1880	1881—1900	1890—1935	1936—1968
Ямбы	87,5	77,0	51,5	53,0	44,5	45,5
Хорей	9,5	12,0	23,0	17,0	21,5	21,0
Зсл.	2,0	7,5	21,5	28,5	14,5	20,5
Проч.	1,0	3,5	4,0	1,5	19,5	13,0
Число текстов	1352	1910	3767	1175	2793	4894

Некоторые интересные характеристики размеров, выступающие из таблиц, остаются неизменными для всех периодов: например, более заметный вес 2-стопных строчек среди трехсложных размеров, чем среди ямбов и хореев (объясняется это тем, что строчки объемом менее 6 слогов, по-видимому, ощущаются в русском стихе как слишком короткие) или более заметный вес разностопных размеров среди трехсложников, чем среди хореев, и, тем более, среди ямбов (объясняется это тем, что ритм трехсложников и отчасти хореев в большей степени опирается на ударные константы внутри стиха, чем ритм ямбов, а потому ощущается как более монотонный и ищет разнообразия в разностопности). Но гораздо более любопытны те характеристики, которые меняются от периода к периоду.

Первый период (XVIII в. и отчасти самое начало XIX в.) — это время господства немногих размеров, твердо расписанных по жанрам. Девять десятых всех стихотворений написаны ямбами, одна десятая хореем, остальные размеры почти незаметны. Половина всех ямбов приходится на вольный ямб басен и пиндарической лирики, четверть — на 6-ст. ямб посланий и элегий, четверть — на 4-ст. ямб од и других жанров; скромная доля 3-ст. ямба занята анакреонтикой. В хорее на 4/5 господствует 4-стопный размер (анакреонтика, песни, романсы). Ничтожное количество трехсложников — это преимущественно дактиль: 2-стопный («адонический размер», как его называли) и получающийся из его удвоения 4-стопный (часто с цезурным усечением: «Страшно в могиле, хладной и темной...»)⁵.

⁵ См. подробнее: К. Д. Вишневский, Становление трехсложных размеров в русской поэзии, в кн.: «Русская советская поэзия и стиховедение» (Материалы межвузовской конференции [МОПИ им. Н. К. Крупской]), М., 1969.

Таблица 3

Ямбы

	XVIII в.	1800—1810	1811—1820	1821—1830	1831—1840	1841—1850	1851—1860	1861—1870
3-ст.	3,5	1,5	4,0	1,5	1,0	2,0	2,5	4,5
4-ст.	20,5	31,5	21,0	55,0	44,0	35,5	42,5	51,0
5-ст.	0,2	—	4,0	11,5	12,0	20,0	15,0	13,0
6-ст.	27,5	18,0	12,5	5,5	12,5	21,0	22,5	13,5
Рз-ст.	2,5	9,5	9,5	8,5	12,5	13,0	11,5	12,5
Вольн.	46,0	39,5	48,0	17,0	17,0	7,5	5,5	4,5
Проч.	—	—	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0
Число текстов	1185	195	407	866	463	439	526	322

	1871—1880	1881—1890	1891—1900	1890—1924	1925—1935	1936—1945	1946—1957	1958—1968
3-ст.	1,5	1,0	1,5	4,5	6,5	6,5	6,5	7,0
4-ст.	42,0	34,0	49,5	40,5	48,5	33,5	37,5	42,5
5-ст.	16,5	7,5	14,5	23,5	20,0	40,0	39,0	40,0
6-ст.	18,5	35,5	16,5	10,5	2,0	1,5	1,5	1,5
Рз-ст.	11,0	11,5	10,0	7,5	10,5	10,5	11,0	5,5
Вольн.	10,0	10,5	6,5	11,0	12,0	7,5	4,5	2,5
Проч.	0,5	0,3	1,5	2,5	0,5	0,5	—	1,0
Число текстов	195	316	304	928	312	657	736	825

Таблица 3а

	XVIII в. 1820	1821—1840	1841—1880	1881—1900	1890—1935	1936—1968
3-ст.	3,5	1,5	2,5	1,5	5,0	6,5
4-ст.	21,5	51,0	42,0	41,5	42,5	38,0
5-ст.	1,0	11,5	16,5	10,5	22,5	40,0
6-ст.	23,0	8,0	20,0	26,0	8,5	1,5
Рз-ст.	5,0	10,0	12,0	11,0	8,5	9,0
Вольн.	45,5	17,0	6,5	8,5	11,0	4,5
Проч.	0,5	1,0	0,5	1,0	2,0	0,5
Число текстов	1787	1329	1482	620	1240	2218

Период от 1800—1810 до 1830-х гг. — это время метрического обновления, освоения новых размеров. Резко падает вольный ямб, понижается 6-ст. ямб; 3-ст. ямб держится, обслуживая уже не анакреонтику, а дружеские послания. Рядом с ними усиливается, достигая высшего своего расцвета, 4-ст. ямб, отчасти вытесняя вольный ямб из элегий, а 6-стопник из посланий. Параллельно, благодаря развитию легких лирических жанров, усиливается хорей (по-прежнему, в основном 4-стопный). Новые размеры, входящие в употребление в этот период, — это 5-ст. ямб (прививающийся в тех же жанрах, что и 4-стопный), разностопный ямб (в балладах) и трехсложники, среди которых господствует уже не дактиль, а амфибрахий (тоже прежде всего в балладах — в основном 4-стопные и разностопные формы). И разностопность и применение трехсложных размеров явились как средство передать силлабо-тоническим стихом германские дольники. Наконец, здесь же можно отметить оживление экспериментов с неклассическими размерами (имитациями античной и народной метрики); в творчестве Кольцова оно продолжается в следующем периоде.

Период 1840—1870-х гг. — это время, когда на смену освоению новых размеров приходит переосмысление старых: жанровые ассоциации сме-

Таблица 4

Хорее

	XVIII в.	1800—1810	1811—1820	1821—1830	1831—1840	1841—1850	1851—1860	1861—1870
3-ст.	1,5	—	7,0	8,5	7,0	11,5	13,0	17,5
4-ст.	83,0	81,0	76,0	77,0	83,0	59,5	55,0	52,5
5-ст.	1,0	—	—	2,5	0,5	7,5	8,0	3,5
6-ст. цез.	—	—	—	—	—	2,0	7,0	8,0
6-ст. б/ц.	—	8,5	2,0	3,0	0,5	2,0	4,5	3,0
Рз-ст.	11,5	10,5	13,0	9,0	6,0	16,5	10,0	14,0
Проч.	3,0	—	2,0	—	3,0	0,5	2,5	1,5
Число текстов	130	47	54	132	189	145	233	193

	1871—1880	1881—1890	1891—1900	1890—1924	1925—1935	1936—1945	1946—1957	1958—1968
3-ст.	16,0	4,5	2,0	3,5	5,0	7,0	5,0	3,0
4-ст.	41,0	51,5	58,5	41,0	34,0	35,0	27,5	32,5
5-ст.	7,5	16,0	14,0	23,0	37,0	41,0	48,5	52,0
6-ст. цез.	9,5	9,5	6,5	4,5	1,0	1,5	1,0	1,5
6-ст. б/ц.	3,5	—	4,5	5,5	2,5	2,0	2,0	1,0
Рз-ст.	22,5	17,5	11,0	8,0	13,0	11,5	15,0	7,0
Проч.	—	1,0	3,5	14,0	7,5	2,0	1,0	3,0
Число текстов	119	93	108	362	233	393	351	287

Таблица 4а

	XVIII в.	1800—1840	1841—1880	1881—1900	1890—1924	1925—1968
3-ст.	1,5	6,5	14,5	3,0	3,5	5,0
4-ст.	83,0	80,0	53,0	55,0	41,0	32,0
5-ст.	1,0	1,0	6,5	15,0	23,0	45,0
6-ст. цез.	—	—	6,5	8,0	5,0	1,0
6-ст. б/ц.	—	2,5	3,0	2,5	5,5	2,0
Рз-ст.	11,5	8,5	15,0	14,0	8,0	12,0
Проч.	3,0	1,5	1,5	2,5	14,0	3,0
Число текстов	130	422	690	201	362	1264

няются тематическими. Прочно устанавливается понизившаяся доля ямбов среди других размеров (около 50%) и доля 4-ст. ямбов среди других ямбов (около 40%); 5-ст. ямб все больше укрепляется в элегии и романсе, а окрепнувший вновь 6-ст. ямб, — кроме того, и в антологической лирике; 3-ст. ямб отходит в шуточную поэзию; вольный ямб окончательно сходит с авансены. Зато увеличивается доля хореев и особенно трехсложных размеров: именно ими осваиваются сейчас новые темы (прежде всего — народно-бытовые), открывшиеся в этот период перед русской поэзией. В них тоже происходит внутренняя перегруппировка. В хорее сокращается доля 4-стопника (с 75—80% до 50—60%), а вместо него развиваются, во-первых, ритмически близкие друг другу 3-ст. хорей и 6-ст. цезурованный хорей («Перед воеводой молча он стоит...»), привлекающие своей простотой, и во-вторых, 5-ст. хорей, проникающий в лирику (особенно начиная с Лермонтова) вслед за 5-ст. ямбом. В трехсложниках прекращается монополия амфибрахия, и все три размера (амфибрахий в балладе и романсе, анапест в интимной лирике, дактиль в народных темах) употребляются в равной мере; при этом 4-стопные размеры все больше вытесняются 3-стопными.

Таблица 5

Трёхсложные размеры

	XVIII в.	1800—1810	1811—1820	1821—1830	1831—1840	1841—1850	1851—1860	1861—1870
Дакт.	75,0	57,0	12,5	11,5	14,0	19,0	23,0	33,0
Амф.	8,5	43,0	78,0	70,0	64,5	52,0	30,5	35,5
Анап.	16,5	—	9,5	18,5	21,5	29,0	46,5	31,5
Число текстов	24	14	32	97	93	157	223	169

	1871—1880	1881—1890	1891—1900	1890—1924	1925—1935	1936—1945	1946—1957	1958—1968
Дакт.	38,0	25,0	28,5	27,5	8,0	8,0	10,5	8,5
Амф.	28,0	27,0	29,5	25,5	58,0	50,0	41,5	40,0
Анап.	34,0	48,0	42,0	47,0	34,0	42,0	48,0	51,5
Число текстов	149	187	148	273	138	340	365	309

Таблица 5а

	XVIII в. — 1810	1811—1850	1851—1880	1881—1924	1925—1935	1936—1968
Дакт.	68,5	15,5	30,5	27,0	8,0	9,0
Амф.	21,0	61,5	31,5	27,0	58,0	44,0
Анап.	10,5	23,0	38,0	46,0	34,0	47,0
Число текстов	38	379	541	609	138	1014

Таблица 6а

Дактиль

	XVIII в. — 1840	1841—1924	1925—1968
2-ст.	16,5	2,0	2,0
3-ст.	7,5	22,0	17,0
4-ст.	39,0	38,5	42,0
Рз-ст.	29,5	25,5	24,0
Проч.	7,5	12,0	15,0
Число текстов	54	358	101

Таблица 6б

Амфибрахий

	XVIII в. — 1840	1841—1924	1925—1968
2-ст.	18,0	4,0	2,5
3-ст.	6,0	37,0	45,5
4-ст.	38,5	24,0	27,5
Рз-ст.	27,5	28,5	18,5
Проч.	10,0	6,5	6,0
Число текстов	161	415	526

Таблица 6в

Анапест

	XVIII в. — 1840	1841—1924	1925—1968
2-ст.	55,5	6,5	11,5
3-ст.	13,5	46,5	48,0
4-ст.	2,0	13,0	18,0
Рз-ст.	27,0	28,0	9,0
Проч.	2,0	6,0	13,5
Число текстов	45	533	525

Период 1880—1890-х гг. — это время борьбы между более молодыми размерами, потеснившими более старые размеры. В первую очередь это борьба между хорейми и трехсложниками; победу на этом этапе одерживают трехсложники, достигающие своих высших показателей (это время позднего Фета, Надсона, Фофанова). При этом среди трехсложников продолжается внутренняя перегруппировка: равновесие трех размеров нарушается, и на первое место решительно выходит самый молодой из них — анапест. Меняются пропорции и среди хореев: 5-ст. хорей, державшийся до сих пор вровень с 6-стопным, теперь сильно опережает его. Наконец, происходит борьба и среди ямбических размеров: здесь соперничают 5-стопник, опирающийся на философскую и интимную лирику, и 6-стопник, опирающийся на гражданскую патетическую лирику; победу на этом этапе одерживает 6-стопник (Надсон, Якубович-Мельшиц).

Период 1890—1925 гг. — это время явного обновления метрического репертуара: вторжение и освоение неклассических, чисто-тонических размеров. (Доля этих размеров любопытно колеблется по литературным направлениям, выделяемым антологией Ежова и Шамурина: символисты и акмеисты — 5,5—7,0%, футуристы и имажинисты — 43,5%, писатели «вне групп» и крестьянские поэты — 13—12%, пролетарские поэты — 26%.) Оно перекраивает все пропорции, но прежде всего сказывается на положении трехсложников: именно у них новые размеры отвоёвывают «жилплощадь» прежде всего (можно вспомнить, что дольник долго воспринимался как трехсложный размер с нарушениями междуударных интервалов). Доля трехсложных размеров сокращается вдвое, и они опять отстают перед хорейми. Внутри хореев падает доля 6-стопников и даже 4-стопников (вкус к простоте сменился вкусом к сложности), а за счет этого нарастает доля 5-стопника; можно также отметить резкое, но недолгое усиление «прочих» (главным образом, многостопных) хореев, которые были благодарным поприщем для метрических экспериментов. Внутри ямбов падает доля 6-стопников (особенно у футуристов и пролетарских поэтов), но 4-стопник, опирающийся на богатую классическую традицию, держится стойко; тем не менее, резко усилившийся 5-ст. ямб (который как бы берет реванш за свое отступление в предыдущем периоде) начинает теснить и его.

Переход от этого периода к следующему совершается постепенно. На стыке их лежит десятилетие 1925—1935 гг. с его своеобразными приметами: максимумом неклассических размеров, минимумом ямбов (наследие предыдущего периода) и кратковременным взлетом таких размеров как вольный хорей (метр Маяковского в «Товарищу Нетте» и «Сергею Есенину») и 4-ст. амфибрахий, дробящийся на 2-стопные полустишия («Гренада» Светлова). Но затем перемены становятся заметнее. Доля неклассических размеров сокращается (только дольник, самый простой из них, сохраняет свою популярность); за счет этого восстанавливают свое положение трехсложные размеры, вновь сравниваясь с хорейми. Среди трехсложных размеров теперь, после бурного оживления амфибрахия, уже невозможно прежнее господство анапеста: анапест и амфибрахий идут вровень (оба по большей части в 3-стопной форме), дактиль далеко от них отстаёт. Среди ямбов продолжает решительно нарастать 5-стопник; в последние десятилетия он уверенно делит ведущее место со старым 4-стопником и у многих поэтов (например, у Суркова) ощутительно преобладает над ним. («Четырёхстопный ямб мне надоел», — XX век имеет больше права на эти слова, чем пушкинский век.) Но если среди ямбов 4-стопник еще может бороться за первенство, то среди хореев он не выдерживает соперничества и отступает под натиском 5-стопника, который в настоящее время один составляет более половины всех хореев. Рост 5-ст. ямба и хо-

рея — самая заметная черта последнего периода эволюции русской метрики; рядом с этим можно отметить также усиление более скромного соседа 4-стопного ямба — 3-стопника (у самых разных поэтов, от Прокофьева до Пастернака).

Таковы общие черты эволюции метрического репертуара русской лирики. Некоторые из них, несомненно, интуитивно ощущались и раньше; но только с помощью подсчетов они выявляются с достаточной ясностью, чтобы сложиться в цельную и связную картину. Интерпретация этой картины, установление связи метрической эволюции с эволюцией других аспектов литературного стиля, в полном объеме пока еще неосуществима: для этого необходимо, чтобы с подобной же количественной точностью был обследован словарь литературного языка, стилистические приемы, тематические образы и мотивы, идейные суждения, — а это задача неизмеримо более трудная. Мы старались подчеркнуть лишь один, наиболее уловимый момент связи метрики с другими характеристиками поэтического текста — связь метра с жанром. Но думается, что некоторые полученные данные позволяют при дальнейшем исследовании надеяться и на более интересные обобщения. Вряд ли случайно, что границы естественно выделившихся шести периодов истории метрического репертуара близко соответствуют обычно выделяемым границам периодов историко-литературного процесса в целом: классицизм — романтизм — реализм — начало XX века — советское время. Нормативность жанровой поэтики и, соответственно, метрического репертуара в эпоху классицизма; смещение внимания от «высоких» жанров к «средним» и сознательное освоение новых форм в эпоху романтизма; размытие жанровых границ, наполнение прежних форм новым содержанием, вкус к простоте в эпоху реализма — все эти приметы времени не новы для литературоведа. Очень благодарной задачей было бы проверить, подтверждает ли эволюция других аспектов поэтики реализма заметный в метрике рубеж между 1870-ми и 1880-ми годами; столь же важно было бы уточнить датировку рубежа между метрическим репертуаром начала XX в. и метрическим репертуаром советской эпохи (к сожалению, антология Ежова и Шамурина не датирует многих стихотворений, а других достаточно больших выборок материала по этой эпохе не имеется). Несомненно, широко производимые теперь обследования метрического репертуара по отдельным поэтам многое уточнят в полученной нами картине. Так, уже сейчас ожидаются публикации очень широкие подсчеты К. Д. Вишневого (Пенза) по метрическому репертуару XVIII в. и группы Е. К. Озмителя (Фрунзе) по метрическому репертуару 1950—1960-х гг., уточняющие (но не опровергающие) многие наблюдения, изложенные выше⁶. Проясняемый таким образом метрический фон, на котором происходит развитие отдельных размеров, поможет выявить их традицию и тем самым их семантику.

В заключение сообщим полученные попутно данные по более частному вопросу — об употребительности дактилических окончаний в классических размерах XIX в. В табл. 7 знаменатель каждой дроби показывает общее количество текстов данной группы размеров, а числитель — количество текстов с дактилическими окончаниями.

Из правого суммарного столбца видно, как постепенно шло освоение дактилической рифмы русской поэзией — от совершенной неупотребительности в начале XIX в. к широкой популярности в «некрасовские»

⁶ Ср. К. Д. Вишневский, Введение в стихотворную технику XVIII века, в кн.: «Вопросы стиля и метода в русской и зарубежной литературе», Пенза, 1969, стр. 3—16. Автор обязан глубокой благодарностью К. Д. Вишневскому и Е. К. Озмителю за возможность ознакомиться с их работами до опубликования.

Т а б л и ц а 7

Дактилические окончания

	Ямб.	Хор.	Дак.	Амф.	Ан.	Проч.	Всего	То же, в %
	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	
1810-е:	<u>407</u>	<u>54</u>	<u>4</u>	<u>25</u>	<u>3</u>	<u>22</u>	<u>515</u>	0,2 %
	<u>6</u>	<u>9</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18</u>	
1820-е:	<u>866</u>	<u>132</u>	<u>11</u>	<u>68</u>	<u>18</u>	<u>27</u>	<u>1122</u>	1,6 %
	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>12</u>	
1830-е:	<u>463</u>	<u>189</u>	<u>13</u>	<u>60</u>	<u>20</u>	<u>53</u>	<u>798</u>	1,5 %
	<u>8</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>21</u>	
1840-е:	<u>439</u>	<u>145</u>	<u>30</u>	<u>81</u>	<u>46</u>	<u>41</u>	<u>782</u>	2,7 %
	<u>10</u>	<u>21</u>	<u>8</u>	<u>1</u>	<u>11</u>	<u>1</u>	<u>52</u>	
1850-е:	<u>526</u>	<u>233</u>	<u>52</u>	<u>68</u>	<u>103</u>	<u>35</u>	<u>1017</u>	5,1 %
	<u>5</u>	<u>21</u>	<u>15</u>	<u>2</u>	<u>8</u>	<u>2</u>	<u>53</u>	
1860-е:	<u>322</u>	<u>193</u>	<u>56</u>	<u>60</u>	<u>53</u>	<u>17</u>	<u>701</u>	7,6 %
	<u>2</u>	<u>17</u>	<u>14</u>	<u>0</u>	<u>7</u>	<u>1</u>	<u>41</u>	
1870-е:	<u>195</u>	<u>119</u>	<u>56</u>	<u>42</u>	<u>51</u>	<u>6</u>	<u>469</u>	8,7 %
	<u>5</u>	<u>8</u>	<u>11</u>	<u>1</u>	<u>8</u>	<u>2</u>	<u>35</u>	
1880-е:	<u>316</u>	<u>93</u>	<u>47</u>	<u>50</u>	<u>90</u>	<u>4</u>	<u>600</u>	5,8 %
	<u>2</u>	<u>8</u>	<u>16</u>	<u>4</u>	<u>8</u>	<u>2</u>	<u>40</u>	
1890-е:	<u>304</u>	<u>108</u>	<u>42</u>	<u>45</u>	<u>62</u>	<u>15</u>	<u>576</u>	6,9 %
	<u>43</u>	<u>93</u>	<u>75</u>	<u>9</u>	<u>44</u>	<u>9</u>	<u>273</u>	
Всего	<u>3838</u>	<u>1266</u>	<u>311</u>	<u>499</u>	<u>446</u>	<u>220</u>	<u>6580</u>	
То же, в %	1,1%	7,4%	24,0%	1,8%	9,9%	4,1%		4,15 %

1860—1870-е гг. и затем к некоторому спаду в конце XIX в. Из нижней суммарной строки видно, насколько привилась дактилическая рифма в каждом из 5 силлабо-тонических размеров: более всего в дактиле (где дактилическая рифма плавнее всего связывается с движением стоп), менее всего в ямбе (как самый традиционный из размеров, он упорнее всего сопротивляется новшествам). Если рассмотреть материал подробнее, то окажется, что 57,2% стихотворений с дактилическими окончаниями написаны только пятью размерами: 4-ст. хореем (19%), 4-ст. дактилем (12,1%), 3-ст. ямбом (9,9%), 4—3-ст. дактилем и 3-ст. анапестом (по 8,1%), между тем, в общей совокупности размеров XIX в. эти 5 размеров составляют лишь 19,2%. Причины их «внимания» к дактилической рифме различны: отчасти это естественная ритмическая связь 3-сложного окончания с 3-сложными стопами, отчасти — общие ассоциации с народной метрикой (для 4-ст. хорая), отчасти — использование комического эффекта необычной рифмы в легкой поэзии (3-ст. ямб). Но здесь мы уже переходим к семантической характеристике отдельных размеров, которая при всем своем интересе лежит за рамками темы настоящей статьи.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

А. И. СОЛОГУБ

ФОРМЫ РОДИТЕЛЬНОГО, ДАТЕЛЬНОГО И ПРЕДЛОЖНОГО
ПАДЕЖЕЙ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ЖЕНСКОГО РОДА
ПРОДУКТИВНОГО ТИПА СКЛОНЕНИЯ В РУССКИХ ГОВОРАХ

Изучение истории склонения имен, и в частности, истории продуктивного типа склонения существительных женского рода, имеет важное значение для разработки исторической морфологии каждого отдельно взятого восточнославянского языка. Как можно судить по данным лингвистической географии, это склонение во всей совокупности диалектных форм формировалось, видимо, в пределах каждого из восточнославянских языков уже после того, как закончились процессы взаимодействия типов склонения, отраженные в восточнославянских памятниках письменности.

За последнее время появился целый ряд работ, посвященных исследованию склонения существительных данного типа в отдельных говорах или в отдельных памятниках письменности. Однако после работ С. П. Обнорского широкого привлечения диалектных данных по всей основной территории распространения говоров русского языка при изучении вопросов, связанных с морфологией существительных, не проводилось.

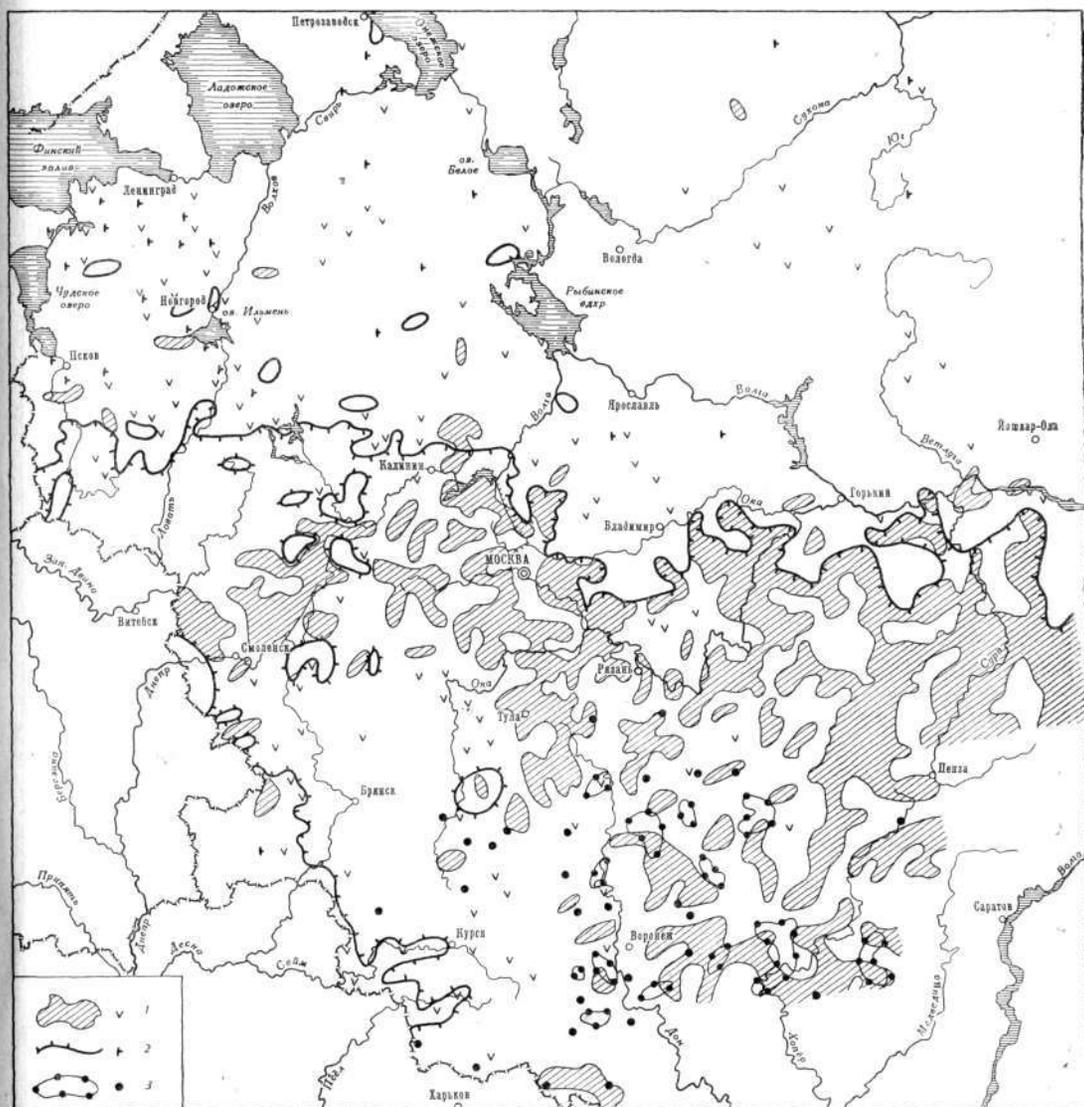
В настоящее время, когда собран обширный материал по говорам русского языка в связи с составлением диалектологических атласов, настал момент для обобщения новых диалектных данных, относящихся к склонению имен существительных. Новые сведения по этому вопросу могут быть полезными также и при разработке курса исторической грамматики русского языка.

Данные лингвистической географии¹ свидетельствуют о том, что по образованию форм род.-дат.-предл. падежей существительных с основой на *-а русские говоры делятся на две резко противопоставленные территории: территория северо-восточной диалектной зоны, с одной стороны, и территория, включающая в себя южное наречие, большую часть средне-русских говоров и северо-западную диалектную зону, с другой.

Территория северо-восточной диалектной зоны характеризуется почти полным отсутствием процессов образования синкретических форм род.-дат.-предл. падежей изучаемых нами существительных (см. карты 1—5). Т. е., иными словами, она характеризуется сохранением исконных форм: род. *женѣ* — дат.-предл. *женѣ*². Известно, что на этой территории и в ряде других случаев сохраняются наиболее древние языковые черты, ср., например, наличие в этих говорах форм инфинитивов с суффиксами *-ти*, *-чи* (*печѣ*, *пектѣ*, *несѣ*, *идѣ* и др.), форм 2-го лица мн. числа с суффиксами *-тѣ*, *-т'ѣ* (*неситѣ* — *несит'ѣ*) и др.

¹ Работа написана на основе материалов атласов русских народных говоров.

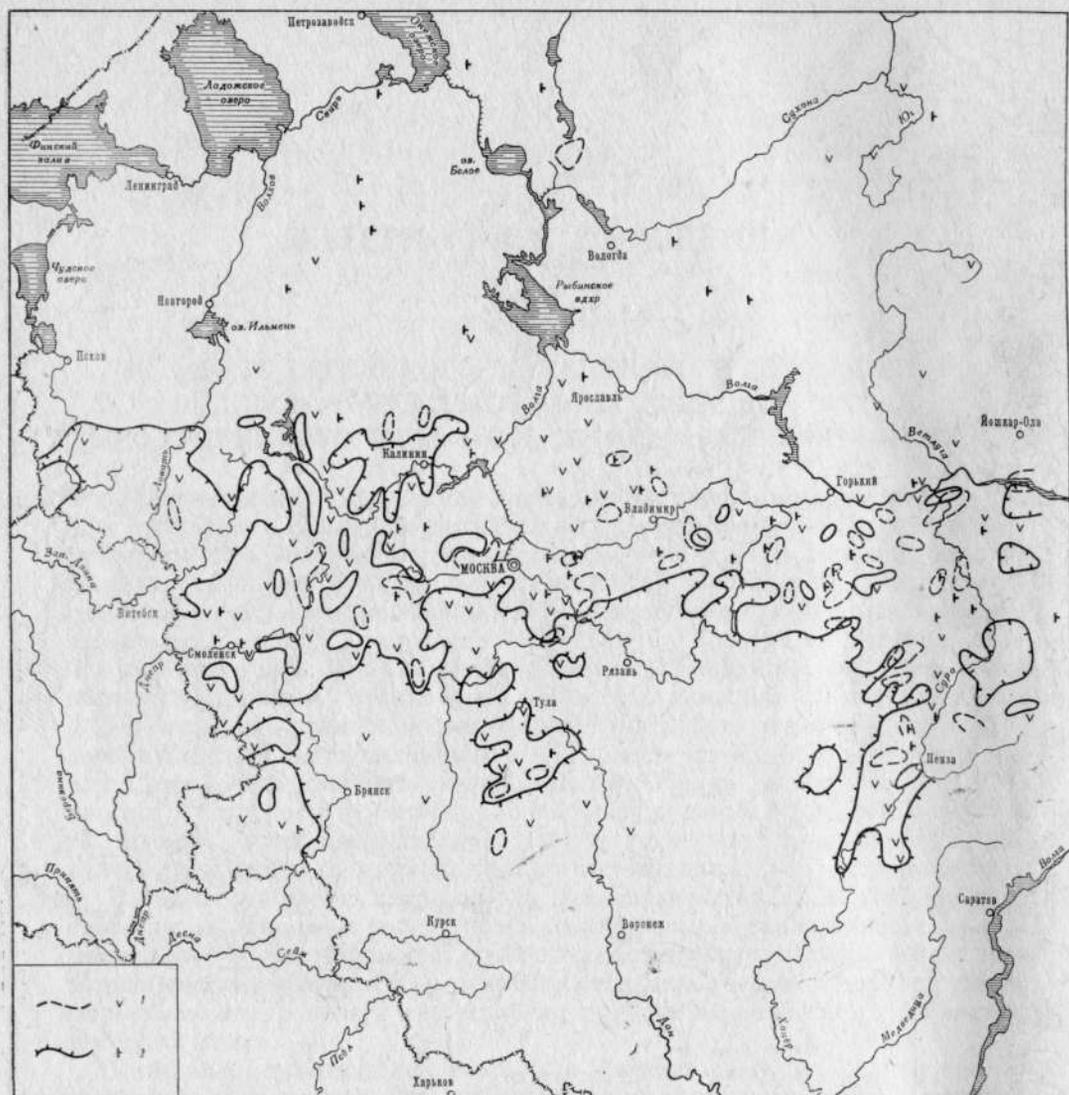
² В пределах этой территории лишь в отдельных говорах и в единичных случаях наблюдается совпадение форм род.-дат.-предл. падежей в форме дат.-предл. падежей: у *женѣ*, к *женѣ*, о *женѣ* (см. карту № 1).



Карта 1. Форма род. падежа с окончанием *-ё* существительных с основой на твердый и мягкий согласный: 1) окончание *-ё* в конструкции существительного с основой на твердый согласный только с предлогом *у*: *у женё* и т. д.; 2) окончание *-ё* у тех же существительных в конструкциях со всеми предлогами, в том числе и с предлогом *у*: *от, без, у ... женё* и т. д.; 3) окончание *-ё* у существительных с основой на мягкий согласный: *у землё* и т. д.

В отличие от этого для территории, объединяющей южное наречие русского языка, часть среднерусских говоров и северо-западную диалектную зону, характерно наличие процессов образования общих форм для род., дат. и предл. падежей изучаемых существительных. При этом она не является в этом отношении однородной.

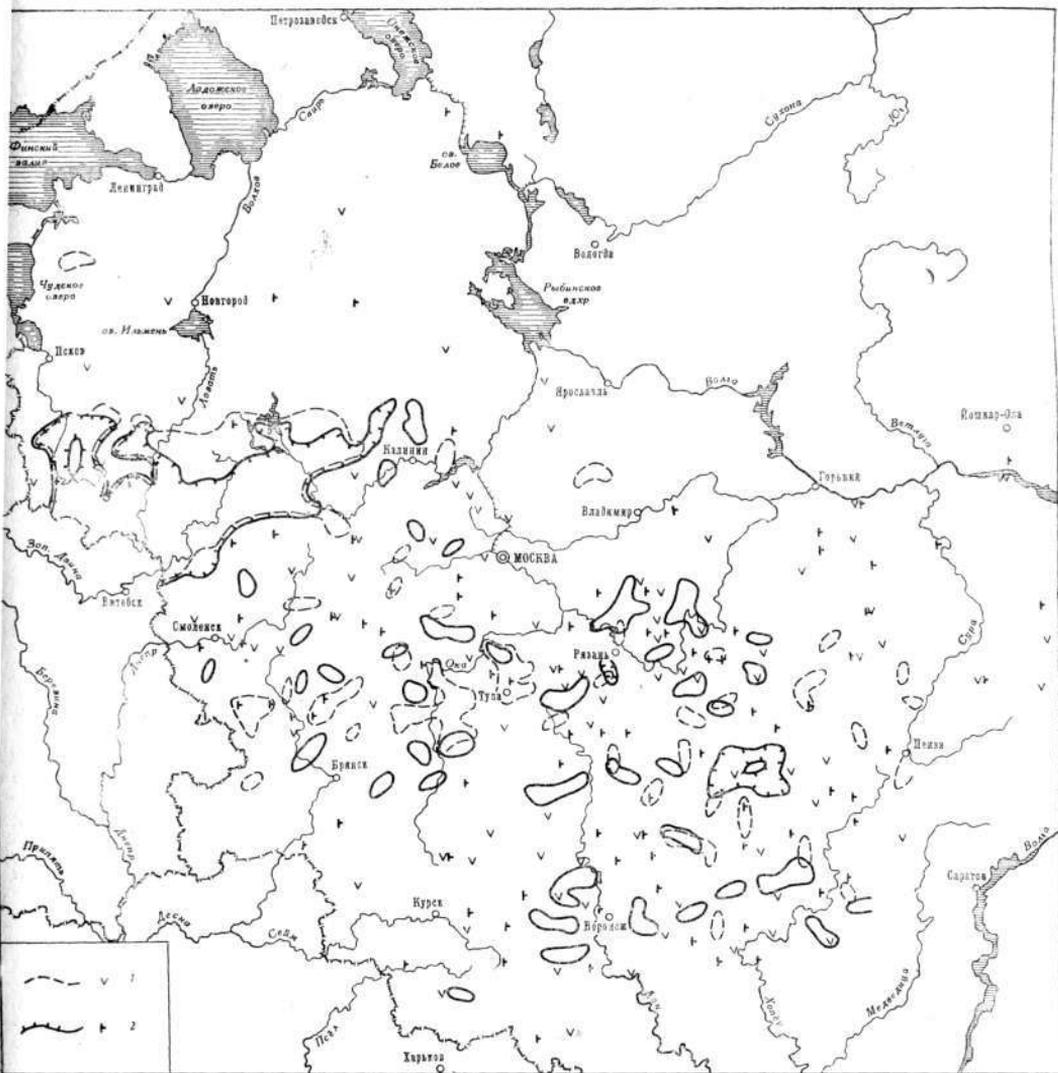
Итак, видим, что в части говоров наблюдается совпадение формы род. падежа с формой дат.-предл. падежей (см. карты 1—3), а в части говоров — совпадение форм дат.-предл. падежей с формой род. падежа



Карта 2. Формы род. падежа с окончанием *-е* существительных с основой на твердый согласный: 1) окончание *-е* в конструкции существительного с предлогом *у*: *у овчине* и т. д.; 2) окончание *-е* в конструкциях со всеми предлогами, в том числе и с предлогом *у*: *от, без, у... овчине* и т. д.

(см. карты 4—5). Изучение материала не дало возможности определить какую-либо лексическую закономерность реализации процесса образования общих форм род.-дат.-предл. падежей, хотя некоторые частные наблюдения могут представлять определенный интерес, в связи с чем весь материал по данному вопросу приводится в настоящей статье.

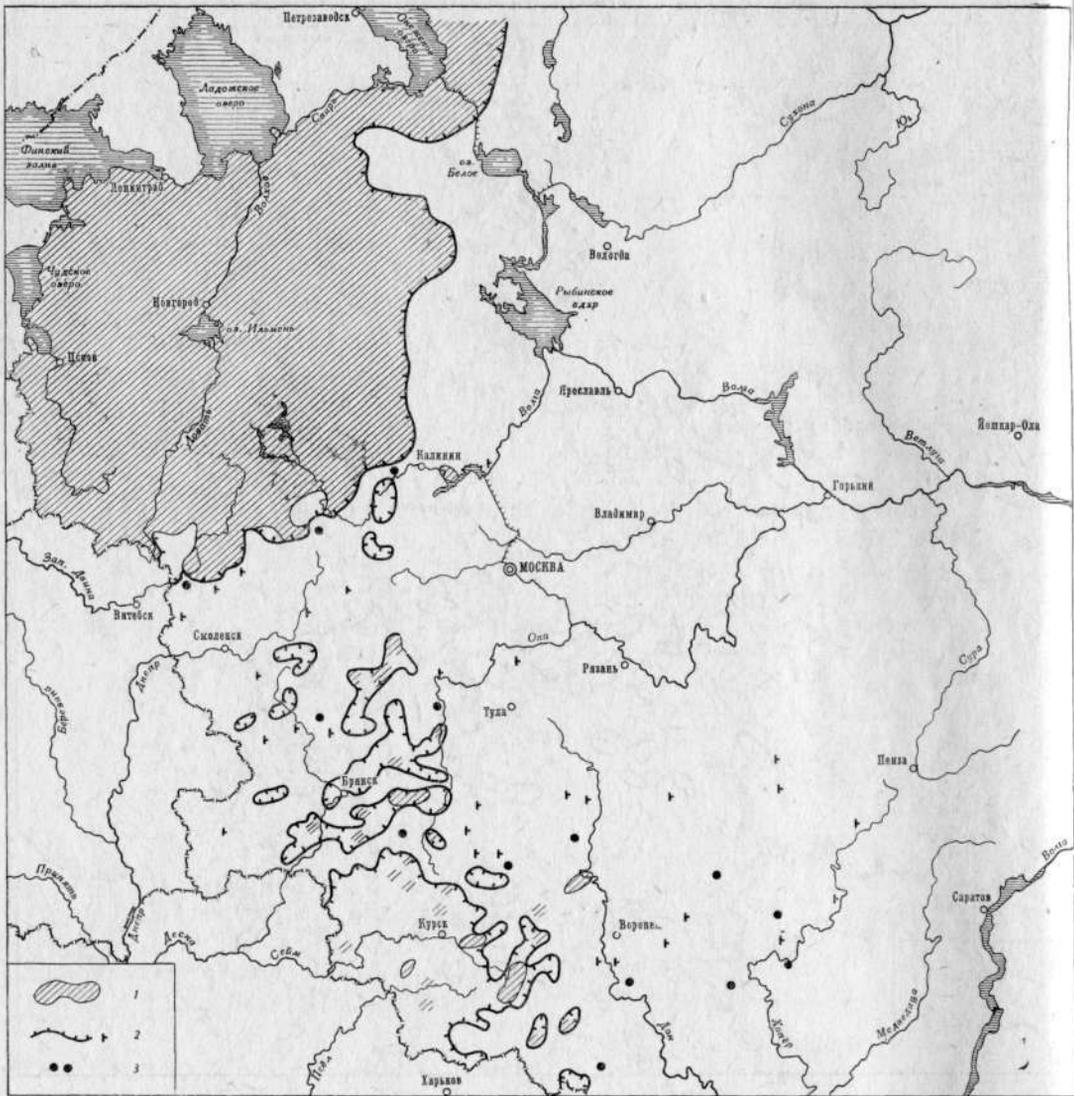
Распространение окончания *-е* в форме род. падежа существительных женского рода с твердой основой при сочетании их с различными предлогами представлено на территории южного наречия русского языка и большей части среднерусских говоров. На северной территории оно известно лишь в рассеянном распространении, при этом сравнительно чаще — в западной половине ее (см. карту 1).



К а р т а 3. Формы род. падежа с окончанием *-ё, -е* существительных с основой на твердый согласный в беспредложных конструкциях: 1) окончание *-ё*: *две сестрё, нет сестрё* и т. д.; 2) окончание *-е*: *нет работё* и т. д.

Территория употребления форм род. падежа на *-ё, -е* в сочетании с разными предлогами³ является достаточно широкой, и это могло бы быть рассмотрено как следствие того, что изоглосса проведена на основе обоб-

³ В сочетании с разными предлогами в материалах представлены следующие формы род. падежа: *сестрё, женё, спохё, трубё, соснё, Москвё, водё, головё, стенё, боронё, кумё, Любазнё, Кузьмё, межё, косё, пчелё, сохё, дугё, рекё, травё, рукё, войнё, тюремё, Деснё, зимё, сторонё, казнё, веснё, волнё, копнё, тайгё, молотыбё, градё, мукё, Костромё, середё, клюквё, красё, бороздё, ногё, косыбё, красотё, горё, гульбё, старинё, чепухё, спинё, избё, доскё, жарё, Карагандё, нуждё, плитё, слободё, козё, росё, золё, Литвё, лозё, полосё, обжё, свекрё, старинё, вдовё, Окё, Двинё, сковородё, совё, Лазё (прозвище), дочкё, пенькё, сиротё, плотё, Цнё, нечистотё, чистотё, ольхё, стрельбё, бузинё, лехё, пазотё, рудё, порё, Угрё, берестё, стопё, тоскё, Плотё (название деревни), пурё, душё, овцё, блохё, лебедё, дежё, малюгё, норё* и др.



Карта 4. Формы дат. и предл. падежей с окончанием *-ы*: 1) окончание *-ы* в формах дат. и предл. падежей: *к женѣ*, *о женѣ* и т. д.; 2) окончание *-ы* в форме дат. падежа: *к женѣ* и т. п.; 3) окончание *-ы* в форме предл. падежа: *о женѣ* и т. п.

щения разрозненных случаев. Но, с другой стороны, совершенно определенным является тот факт, что на большей части территории юго-восточной диалектной зоны, а также в говорах, окружающих Москву и к западу от нее (см. карту 1), представлены случаи употребления данных форм исключительно с предлогом *у*, что и заставляет обратить на этот факт особое внимание ⁴.

⁴ Почти на всей территории распространения форм род. падежа с окончанием *-е* представлены формы существительных *женѣ*, *сестрѣ*, *снохѣ*, в сочетании с предлогом *у* (*у женѣ*, *у сестрѣ*, *у снохѣ*), формы других существительных в сочетании с этим предлогом представлены в материалах сравнительно редко: *у боронѣ*, *у кумѣ*, *у трубѣ*, *у Кузьмѣ*, *у междѣ*, *у косѣ*, *у пчелѣ*, *у стенѣ*, *у сохѣ*, *у дугѣ*, *у рекѣ*, *у водѣ*, *у соснѣ*. и *горѣ*

Употребление окончания *-е* в форме род. падежа существительных женского рода на *-а* различно представлено в говорах в зависимости от места ударения в этой форме, а также от того, имеем ли мы дело с предложными или беспредложными конструкциями.

Территория непрерывного распространения форм род. падежа на *-е* существительных женского рода с безударным окончанием значительно уже территории аналогичных форм существительных с ударенным окончанием. Она включает все говоры южного наречия, кроме Западной и Верхне-Днепровской групп, и Восточные среднерусские акающие говоры. Севернее этой границы формы типа *овчине*, *корбве* известны лишь в островном и рассеянном распространении и не выходят в основном за пределы распространения форм типа *женё* (см. карту 2)⁵.

Видимо, важно отметить, что в этом случае мы не наблюдаем особой территории исключительного распространения форм с окончанием *-е* в сочетании с предлогом *у*. Их отмечают лишь в разрозненных населенных пунктах и в основном за границами основных ареалов форм данного типа в сочетании с различными предлогами.

Более редкими являются формы род. падежа с окончанием *-е* в беспредложных конструкциях (*две женё*, *две корбве* и т. п.). При этом формы с ударенным и безударным окончанием имеют примерно одинаковое распространение: наиболее значительный ареал этих форм отмечен между Опочкой, Велижем, Холмом, Осташковым, Торжком и Ржевом (см. карту 3), на остальной территории — преимущественно в пределах южного наречия и среднерусских говоров — они имеют рассеянное распростране-

у избё, у доскё, у копнё, у козё, у ногё, у свекрё, у бедё, у спинё, у старшинё, у вдоеё, у войнё, у ветлё, у Окё, у сковородё, у овцё, у травё, у рукё, у тюрьмё, у лозё, у совё, у росё, у Лахё, у казнё, у дочкё, у пенькё, у сиротё, у рукё, у плотёвё, у Москвё, у головё, у доскё, у мордвё, у лисё, у бузнё, у совё, у зимё, у сторонё, и др.; можно лишь огорчить, что формы *у косё, у дочкё, у сохё* представлены чаще других.

Формы с окончанием *-е* могут выступать по говорам, кроме того, с предлогами *с, от, до, из, для, без, посреди, кругом, вокруг, из-за, вдоль, около, возле, после, кроме, во время, из-под, против*. При этом наиболее часто в сочетании с данными формами представлены предлоги *с, из, от*; сравнительно реже выступают предлоги *до* (чаще всего употребляется форма *до войнё*, остальные формы с этим предлогом немногочисленны: *до веснё, до Москвё, до рекё, до ногё, до сторонё, до женё, до порё, до зимё, до стенё, до рукё* и др.), *без* (*без ногё, без рукё, без сестрё, без дочкё, без сохё, без женё, без рекё* и др.), *для* (*для сохё, для трубё, для женё, и т. д.*), *около—околá* (*около дуё, околá рекё, кълá головё, околá избё, кълá Деснё, кълá Угрё, кълá сестрё, околá стенё, околá соснё, околá травё* и т. д.). Формы в сочетании с предлогами *после* (в основном только форма *после войнё*), *из-за, кругом, вокруг, вдоль, во время, из-под, посреди—посередь—посерёд, возле—зли, против* являются единичными.

⁵ Формы с окончанием *-е* существительных данного типа отмечены в говорах от различных существительных: *рыбе, лоцине, пáре, рабóте, корбве, коммýне, могýле, слýжбе, казáрме, хáте, мáме, пáпе, газéте, Катерýне, невёсте, Шýре, крýсе, шýбе, бáбе, жéнщине, Вёре, скотýне, свёкле, Марýне, кóфте, ракúте, шкóле, машинё, корзýне, солóме, Жýзде, бóсене, ýзбе, капýсте, мóде, холстýне, половýне, Украýне, глýне, пóчте, ворóне, жéнщýбе, контóре, озóте, кукурýзе, рóте, суббóте, простýде, кварти́ре, свáдьбе, кóмнате, охрáне, сукнýне, панёве, солóме, яме, вóлне, жáтве, шáхте, рефóрме, фёрме, брига́де, зарпáте, Тýле, берёзе, закýте, вёре, сметáне, усáдьбе, вóспе, Никóле, лёнде, вáте, плотýне, кýкле, Елизáвете, лáмпе, кобы́ле, мужи́не, крапýве, Арýне, ограда́, каби́не, вёрбе, прирóде, овчýне, поля́не, смéне, середýне, побéде, десяти́не, бáзе, мёре, пáрте, Варшáве, посýде, гра́моте, ли́не, фóрме, погóде, Тýле, Нýне, шкýре, осýне, зворóбе, вершýне, Полта́ве, ворóне, Елéне, Акулýне, Марýне, Лýде, оборóне, крёстне, лучýне, канáве, тóрбе, берёсте, нýве, колóде, бáрищине, лопáте, лесýне, лучýне, Китáйщине, учёбе, доли́не, стéпе, Кашýре, животи́не, пчели́не, мякýне, силе, порóде, бóмбе, пра́де, ряби́не, зворóде, жердýне, трáссе, солдатчине, мóрде, нóрме и др.*

Подобные формы представлены с предлогами *у, с, для, после, из-под, около, от, из, без, до, из-за, мимо, вдоль, возле, посреди, сверху, свех, вне, кроме, насчет*.

Наиболее распространенными являются сочетания данных форм с предлогами *у, из, с, от, без, до*, сравнительно реже они встречаются в сочетании с предлогами *около* и *для*; сочетания этих форм с остальными предлогами являются единичными.



К а р т а 5. Формы дат.-предл. падежей с окончанием -ы: 1) окончание -ы существительных с основой на твердый согласный: *комнаты* и т. д.; 2) окончание -и существительных с основой на мягкий согласный: *на землѣ*, *к землѣ* и т. д.

ние. Необходимо сказать при этом, что почти отсутствуют они в западной половине южного наречия русского языка — в Курско-Орловской группе, в южной части Тульской группы, Верхне-Деснинской группы, в Межзональной группе А южного наречия и в части Елецкой группы⁶ (см. карту 1).

⁶ Наиболее часто встречаются в материалах с ударным -е формы *мужѣ*, *сестрѣ*, *женѣ*, *снохѣ*; кроме того, отмечены также формы *бороздѣ*, *избѣ*, *войнѣ*, *грозѣ*, *трубѣ*, *пчелѣ*, *дочкѣ*, *головѣ*, *копнѣ*, *ногѣ*, *козѣ*, *верстѣ*, *рукѣ*, *зимѣ*, *косѣ*, *сторонѣ*, *старинѣ*, *полкѣ*, *лозѣ*, *стенѣ*, *водѣ*, *толокѣ*, *травѣ*, *Москвѣ*, *крупѣ*, *пенькѣ*, *доскѣ*, *кумѣ*. *полѣ*. *дугѣ*, *струнѣ*, *боронѣ*, *тюрьмѣ*, *рекѣ*, *шпанѣ*, *ольхѣ*, *трухѣ*, *лехѣ* и др.

В пределах юго-восточной диалектной зоны представлены в рассеянном распространении формы род. падежа на -е существительных женского рода с основой на мягкий согласный в сочетании с предлогами: *у, без, из, для семье; у, без роднё; из, без, с, у землё; у свиньё, от вознё.*

Другая территория совпадения форм род.-дат.-предл. падежей существительных женского рода характеризуется образованием форм дат.-предл. падежей по типу форм род. падежа: *к жёнё, о жёнё* и т. п. Это явление имеет два основных ареала: северо-западный и юго-западный. В восточной половине южного наречия эти формы отмечают в единичных случаях и в рассеянном распространении. Совсем не известны данные формы на территории северо-востока. Формы с ударненным и безударным окончанием абсолютно совпадают в своем распространении на северо-западе и сравнительно одинаковую территорию имеют на юго-западе (см. карты 4, 5).

На территории северо-запада данное явление представлено в разнообразной лексике при сочетании ее с различными предлогами ⁷.

На территории юго-западного ареала формы дат.-предл. падежей с окончанием -ы наблюдаются в более ограниченном кругу лексики. В подавляющем количестве случаев эти формы являются формами дат. падежа в сочетании с предлогом *к*, реже — с предлогом *по*; лишь в отдельных случаях выступают подобные формы в беспредложных конструкциях с дат.

Формы с безударным -е в беспредложных конструкциях отмечают у следующих существительных: *корбёе* (почти повсеместно), *рыбёе, сметанё, спёнё* (=спинё), *грамоте, жёнщине, перённе, яме, силе, малине, группе, скотённе, фбрме, шкбле, комнате, порбде, мбде, солбме, свёгле, свадёббе, паре, половничине, забёте, вате, невесте, погбде, лане, лёнте, тобне, службе, льдине, рябине, рассаде, кбфте, озорбде, посуде, охбте, хате, холстённе, машинё, проказе, репе, мере, Марфе, контбре, крысе, ббмбе, колбде, бригаде, бббе, культуре, раббте, кулле, потраве, животённе, маме, Вёре, пане, Лёде, десятённе, Нёре, Шёре, толицёне, капёсте, панёе* и др.

⁷ Почти повсеместно на данной территории представлены формы *войнё, сторонё, водё, головё, избё, сестрё, жёнё, горё, Москвё; в целом ряде говоров отмечены также формы веснё, ковё, стенё, ценё, зимё, жарё, травё, тюрёмё, полосё, плитё; кроме того, это явление представлено также формами норё, бороздё, грядё, канё, старинё, трубё, кумё, странё, ходёбё, винё, метлё, боронё, Шекнё, косё, корё, чистотё, росё, кормё, игрё, бедё, сковородё, стенё, нуждё, межё, норё, Невё, целинё, Мстё, слободё, глухотё, Пашё, пшенё, темнотё, соснё, копнё, Литвё, вдовё, крупё, казнё, лисё, грудё, беднотё, едё, частотё, молотёбё, болотнё, смолё, ездё, золё, косёбё, тверцё* и др.

Более разнообразной лексикой представлены формы с безударным окончанием. Во многих говорах отмечают формы *корбёе, мамы, цёрквё, усадёббе, раббты, половённы, службё, скотённы, берёзё, бббё, бригады, невестё, машинё, бённы, квартирё, шкблы, середённы, контбры, комнаты, погбды; кроме того и в этих говорах наблюдаются также формы: фёрмё, сбды, могылё, Лёмы, жёнщины, силё, жатёе, Ладёе, охбты, нёвы, тённы, берёзённы, сберкассы, обидё, коммённы, пёры, гудё, вёхты, резённы, станённы, рёбённы, палаты, карёты, жёлё, кобылё, бесёды, ямы, пёпы, пружённы, жердённы, рбённы, халупё, осённы, лядённы, вёты, картённы, шубё, пилорамё, мёры, лёвы, йвё, свадёббе, литературё, хатё, подёбды, лопатё, сёры, трибённы, грамотё, природё, кбфты, солбмы, слоббды, згорбды, бсны, кошарё, раны, нёвы, клёнённы, ступё, облаёе, корзённы, причённы, кёрты, дёвы, оградё, пбчты, рёбы, бёзы, бёрышённы, бёрщённы, газётё, алгебрё, зёлё, канёе, глёны, перённы, медицинё, хребтённы, подёбды, пёрты, кабённы, славё, тбрёе, мякённы, рябённы, плотённы, спённы, лёмпы, шлёпы, мбрды, правёе, кабённы, вёры, казармё, капёсты, колоклённы, свёклы, низённы, мбды, субббты, причённы, животённы, Новгорбчённы, Вблогдё, Чёгодё, Самарё, Вёшеры, Рёссы, Украинё, Андомё, Пённы, Никблы, Валентённы, Катерённы, Ульённы, Клёвы, Нённы, Анنى, Марфё* и др.

Формы дат.-предл. падежей с ударненным и безударным окончанием -ы на территории северо-запада представлены преимущественно в сочетании с предлогами *е, к, на, по*; редко подобные формы наблюдаются в сочетании с предлогами *при, об, о*, а также в беспредложных конструкциях с дат. падежом. При этом следует оговорить также, что некоторые существительные представлены преимущественно лишь с одним предлогом, например: *на войнё, по головё, на сторонё, на межё, по ценё.*

падежом⁸. Аналогичные формы предл. падежа являются на данной территории сравнительно редкими.

В пределах территории распространения форм дат.-предл. падежей с окончанием *-ы* наблюдается также употребление форм на *-и* существительных женского рода с основой на мягкий согласный: *к землі* и т. п. (см. карту 5)⁹.

В немногочисленных разрозненных говорах и в единичных случаях отмечают формы род. и дат.-предл. падежей с окончанием *-и*: *к жení, из крупí, после войнí, к сестрí* и под.

Образование новых форм род., дат., предл. падежей изучаемых существительных представляет собой сложный процесс, связанный, по мнению одних ученых, с взаимодействием твердой и мягкой разновидностей склонения¹⁰, по мнению А. И. Соболевского, с взаимодействием самих падежных форм¹¹; некоторые ученые считают, что данное явление было вызвано факторами, существовавшими вне системы склонения этих

⁸ Формы дат. падежа с *-ы* ударенным на этой территории представлены у следующих существительных: *сестры, травы, кумы, козы, молотбы, сироты, волны, жены, межы, конны, старинны, ширины, вдовы, лисы, нужды, войны, бороды, души, косы, жары, весны, величины, воды, беды, спины, горы, стороны, головы, Москвы, десны, стены, канвы, зимы, избы, цены, сосны, камсы*; при этом большая часть из них отмечена лишь в единичном употреблении, только формы *сестры* и *жены* известны многим говорам этой территории.

Формы предл. падежа в сочетании с предлогами *на, при, о, об,* в отмечены у следующих существительных: *на жары, на воды, на канвы, на стороны, при сестры, при молотбы, при жены, об сестры, об жены, о жены, в косы, в избы, в воды, в Москвы, на камсы.*

Формы дат.-предл. падежей с безударным *-ы* на этой территории представлены у следующих существительных: с предлогом *к*: *малыны, коробы, рбы, бабы, старосты, невесты, жёнщины, мамы, конторы, садыбы, хаты, куклы, папирсы, массы, воеводы, паны, рамы, конторы, Акюты, Лизы, Лёны, Зины, Вёры, Ульяны, Алёны, Сергёны, Тамары* и др.; с предлогом *по*: *коробы, хаты, усядьбы, озьты, погды, Татьяны* и др.; с предлогом *на*: *работы, Украины, квартиры, берёзы, окраины, коробы, машины, подёшныны, поляны, почты, рамы, службы, ракиты, десятины*; с предлогом *в*: *ямы, комнаты, хаты, службы, бригады, школы, лошны, Украины, Одессы, Варшавы, немецны, конторы*; с предлогами *при, об*: *при школы, об коробы, об хаты*. В беспредложных конструкциях с дат. падежом отмечают формы *невесты, бабы, бригады, мамы, коробы, тёты, скотинны, службы, Васюты, Нёры, Лёды, Шурь, Вёры, Тамары* и др.

⁹ Подобные формы отмечают у существительных *свинья, земля, семья, родня, заря, квашня, судья, пашня, скамья, ругня* в сочетании с предлогами *по, к, об, в, на, при,* а также в беспредложных конструкциях с дат. падежом: *к семьи, об родни, на землі* и т. д. Наиболее распространены подобные формы от существительных *земля, родня, семья.*

¹⁰ А. А. Шахматов, Исследование о языке новгородских грамот XIII—XIV ст., СПб., 1885, стр. 190—192; Н. Н. Дурново, Очерк истории русского языка, М.—Л., 1924, стр. 280; П. С. Кузнецов, Очерк по исторической морфологии русского языка, М., 1959, стр. 38, 39; Л. И. Молодых, Именное склонение в новгородских грамотах старшей поры, «Уч. зап., [Мордовск. пед. ин-та], Серия «Филол. науки», VI, 1957, стр. 136—152; И. Х. Тот, К истории склонения имен существительных в псковских летописях (на материале Синодального, Строевского и Тихановского списков псковских летописей), «Dissertat Slavic. slavistische Mitteilungen. Материалы и сообщения по славяноведению», III, Szeged, 1965, стр. 7—20, и др.; С. Д. Никифоров, Из наблюдений над именами существительными в памятниках второй половины XVI в., «Уч. зап. [Львовск. гос. ун-та]». Серия «Вопросы славянского языкознания», VII, I, 1948; М. Ф. Пархина, Имена с основой на *-а* в Синодальном списке 1-ой Новгородской летописи, «Вопросы русского языкознания», кн. 2-я, Львов, 1956; А. Л. Мирецкий, К вопросу об истории форм родительного, дательного и местного падежей *singularis* женского склонения в новгородском говоре по материалам новгородских деловых памятников XVI—XVII вв. «Вестник ЛГУ», 14, 3, 1965; А. Н. Добромыслов, К истории форм женского склонения в древнем новгородском говоре, «Вестник МГУ», 4, 1961 и др.

¹¹ А. И. Соболевский, Лекции по истории русского языка, 4-е изд., М., 1907, стр. 202—203.

существительных, т. е. влиянием склонения прилагательных, местоимений, а также влиянием других типов склонения существительных¹².

На основании изучения диалектных данных, а также в связи с показаниями памятников письменности можно думать, что в различные периоды развития языка действовали разные тенденции, в результате которых могли развиваться общие формы род.-дат.-предл. падежей существительных данного типа склонения. Известно, что на раннем этапе развития русского языка широкое распространение имел процесс унификации падежных окончаний твердой и мягкой разновидности склонения основ на -а, который являлся общим для всех восточнославянских языков. В результате этого процесса, как известно, появились формы дат.-предл. падежей мягкой разновидности типа *землѣ* вместо исконных *земли*, возникшие под воздействием форм твердой разновидности типа *женѣ*. Эти формы утвердились и являются принадлежностью современного литературного языка.

С этим процессом было связано, видимо, также образование форм род. падежа типа *женѣ* в древнем новгородском диалекте, наблюдаемые в памятниках письменности с XI—XII вв., которые сохраняются в реликтовом состоянии на территории современного северо-запада и северо-востока (об этом см. ниже). Эти формы (исследователи языка отмечают их до XIV в.) не получили широкого распространения на территории говоров, связанных с новгородским диалектом, видимо, потому, что в самих новгородских говорах уже с конца XIV в. развилась новая тенденция образования общих форм род.-дат.-предл. падежей, устранившая тенденцию, имевшую место раньше. Аналогичные формы, широко представленные на территории современного южного наречия русского языка и части средне-русских говоров, являются, по нашему мнению, более поздними по происхождению и вызваны иными причинами.

В более позднее время все большее значение приобретает другая тенденция — тенденция к унификации падежных форм внутри отдельных типов склонения. Так, в ряде говоров наблюдается совпадение исконных форм дат. *грязи* и предл. *грязи* в форме *грязи*; совпадение форм дат.-твор. падежей мн. числа у существительных и прилагательных и т. д. Подобные факты могут, видимо, дать основу для предположения о том, что в современных говорах процесс взаимодействия форм внутри парадигмы является достаточно актуальным. Особенно показателен в этом отношении процесс взаимодействия форм род.-дат.-предл. падежей существительных на -а. Формы этих трех падежей сходны в том отношении, что они выступают, как правило, при предложном управлении. Формы же вин. и твор. падежей употребляются, в основном, при глагольном управлении. Возможно, что это также послужило причиной взаимодействия форм род.-дат.-предл. падежей, с одной стороны, и форм вин.-твор. падежей, с другой (в результате чего, по-видимому, и появились в говорах формы твор. падежа типа *бабуй*, *палкуй*, *волюй*, образованные, как можно думать, от форм вин. падежа¹³). В связи с этим и открывается возможность развития общих форм род.-дат.-предл. падежей, поскольку они не несут семантической нагрузки; смысловозначительная функция принадлежит в этом случае целиком предлогам.

В пользу предположения о более позднем характере тенденции к унификации падежных форм внутри отдельных типов склонения говорит

¹² А. А. Шахматов, Историческая морфология русского языка, М., 1957, стр. 38, 39; С. П. Обнорский, Именное склонение в современном русском языке, вып. I, Л., 1927, стр. 87—88.

¹³ Иначе см.: Р. И. Аванесов, Очерки русской диалектологии, М., 1947, стр. 115.

география подобных явлений. Они отсутствуют на территории других восточнославянских языков, и, что особенно показательно, — на соседней территории говоров белорусского языка¹⁴.

Процесс образования синкретических форм род.-дат.-предл. падежей, взятый в целом как процесс, основанный на взаимодействии падежных форм внутри парадигмы, мог иметь различный характер на территории их распространения.

На территории северо-запада, в новгородских говорах, исследователи памятников с древнейших времен отмечают наличие формы род. падежа с окончанием *-ѣ*¹⁵, развившийся, видимо, как уже указывалось, под воздействием мягкой разновидности склонения. По их мнению, этот процесс продолжался до XIV в.¹⁶. Затем начинается как бы обратный процесс — образование форм дат.-предл. падежей с окончанием *-ы*. «Начиная с XIV в. образовавшаяся трехпадежная морфема в пределах твердого варианта склонения могла иметь две алломорфы *-ѣ* и *-ы*. Исследование памятников показывает, что процесс сосуществования двух алломорф продолжается и в конце XVI—XVII вв.»¹⁷.

В связи с этим можно высказать предположение о том, что более ранний процесс — образование форм род. падежа с окончанием *-ѣ* (возможно, связанных на том этапе с влиянием мягкого варианта склонения) — мог быть собственно новгородским. Более поздняя по времени тенденция — тенденции совпадения форм род.-дат.-местн. падежей в форме типа *жены*, — могла развиться и сменить более раннюю на территории северо-запада под влиянием говоров юго-запада, в пределах которых, можно думать, и находился первоначальный очаг этого явления. С этим, по-видимому, связано сосуществование двух алломорф *-ѣ* и *-ы* на протяжении XVI—XVII вв., когда старые, собственно новгородские, формы сосуществовали с новыми, идиалектными, пока не победили и не получили господствующее распространение последние. В настоящее время, как уже указывалось, в говорах северо-запада широко представлено совпадение форм род.-дат.-предл. падежей в форме типа *жены*, *земли*. Свидетельством того, что этот процесс является живым в данных говорах, служат факты образования по той же модели форм дат.-предл. падежей существительных, которые являются для этих говоров новыми, заимствованными из литературного языка, ср.: *на фѣрмы*, *по алгебры*, *по медицины*, *на карты*, *на трибуны*, *на пилорамы*, *по литературы*, *в сберкассы*, *в коммюны* и др.

Второй путь обобщения падежных форм изучаемого склонения характерен в общем для более южных территорий, которым свойственно совпадение формы род. падежа с формами дат.-предл. падежей, т. е. употребление формы род. падежа с окончанием *-е*. Можно думать, что в пределах южной территории тенденция к усвоению окончания *-е* в форме род. падежа ед. числа изучаемых существительных первоначально была свойственна говорам юго-востока (т. е. рязанским говорам). С этой территории в более позднее время, вероятнее всего уже на этапе формирования русского языка как национального (поскольку это новообразование отсутствует в говорах белорусского языка), процесс образования формы род. падежа на *-е* распространяется на другие территории южного наречия русского языка. На основании данных современных юго-восточных го-

¹⁴ «Дыялекталагічны атлас беларускай мовы», Мінск, 1963, карты 64, 104, 129; а также «Нарысы па беларускай дыялекталогіі», Мінск, 1964, стр. 161.

¹⁵ М. Ф. П а р а х и н а, указ. соч., стр. 101 и др.; А. Н. Д о б р о м ы с л о в а, указ. соч., стр. 43 и др.; А. И. С о б о л е в с к и й, указ. соч., стр. 202—203.

¹⁶ А. Л. М и р е ц к и й, указ. соч., А. Н. Д о б р о м ы с л о в а, указ. соч.

¹⁷ А. Л. М и р е ц к и й, указ. соч., стр. 141.

воров можно предположить также, что форма с окончанием *-е* выступала в этих говорах, по-видимому, только в конструкции с предлогом *у*: *у женé*, *у снолé* и т. п., так как именно в этих конструкциях формы на *-е* наиболее интенсивно представлены в настоящее время на территории этих говоров. Лишь позже в некоторых говорах этой территории окончание *-е* развивается в сочетаниях существительного с другими предлогами, а также в беспредложных конструкциях.

При распространении в западном направлении окончание *-е* получает более расширенную сферу употребления: в говорах юго-запада оно представлено в конструкциях существительного со всеми соответствующими предлогами: *из золé*, *до зимé*, *от горé*, *до свáдьбе*, *для солбми* и др., что само по себе может говорить о более позднем характере распространения данного явления, так как, как показывает исследование диалектных данных, расширение явления служит характерной чертой процесса его более позднего распространения в инодиалектной среде¹⁸.

Возможно, косвенным доказательством того, что первоначально формы род. падежа на *-е* в пределах южной территории развились на юго-востоке, является также наличие в ряде современных юго-восточных говоров форм род. падежа с окончанием *-е* у существительных женского рода с основой на мягкий согласный: *у землé*, *для семьé* и т. п. (см. карту 1).

Еще позже, видимо, процесс распространения форм на *-е* охватывает и беспредложные конструкции, в которых окончание *-е* имеет сравнительно менее последовательный характер распространения (см. карту 3), а на юго-западе почти отсутствует. Последнее может быть также свидетельством того, что данное явление имело распространение в направлении с востока на запад в пределах южного наречия русского языка.

Рассеянное распространение форм род. падежа с окончанием *-е* на территории северо-востока, может быть, говорит о том, что новгородцы в процессе колонизации принесли на эту территорию тенденцию к совпадению форм род.-дат.-предл. падежей в форме типа *женé*, которая, однако, в местных условиях не получила широкого развития, возможно, под воздействием ростово-суздальских говоров.

Некоторые ученые возникновение форм род. падежа с окончанием *-е* связывают с фонетическими факторами. Е. Ф. Будде объяснял наличие этих форм «вторичным процессом аналогии», происшедшим на почве аканья¹⁹. М. Ф. Моисеенко считает различным происхождение подобных форм на севере и на юге. В говорах северного наречия эти формы, по ее мнению, восходят к исконным формам род. падежа ед. числа существительных мягкой разновидности склонения (поскольку этим говорам не свойственно смешение предлогов *в* и *у* на основе произношения *ш*). В южновеликорусских говорах, где широко представлены *ш* и *у*, имеет место смешение предлогов *в* и *у*. В связи с этим формы на *-е* в этих говорах могли возникнуть на почве сближения род. и предл. падежей при совпадении предлогов *в* и *у*²⁰. По мнению В. А. Богородицкого, формы типа *у жене* появились в связи с образованием в языке «особого падежа — притяжа-

¹⁸ См.: «Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров», М., 1970, стр. 61, 161, 182, 188, 247 и др.

¹⁹ Е. Ф. Будде, К диалектологии великорусских наречий (исследование в области рязанского говора), Варшава, 1892, стр. 108. В этой же работе несколько позже он объясняет эти формы иначе.

²⁰ М. Ф. Моисеенко, Об одной особенности склонения имен существительных в русских говорах Казанского Поволжья, «Уч. зап. [Казанского гос. ун-та]», 119, 5, 1959, стр. 242—243.

тельного или обладательного (*casus possessivus*)²¹, выражаемого сочетанием существительного с предлогом *у*.

Наиболее правомерной представляется точка зрения В. А. Богородицкого, связывающего решение вопроса о первоначальном образовании форм на *-е* с синтаксическим планом. Выше уже говорилось о том, что почвой для общего процесса объединения форм род.-дат.-предл. падежей данного типа склонения могло явиться преобладающее употребление форм этих трех падежей в предложных конструкциях. На этой основе процесс образования общих форм род.-дат.-предл. падежей первоначально мог протекать лишь при определенных, ограниченных условиях его реализации. В дальнейшем, как и показывают говоры русского языка, сфера реализации этого процесса могла расширяться.

Мнение М. Ф. Моисеенко о развитии форм род.-дат.-предл. падежей типа *женé* на основе совпадения предлогов *в* и *у* данными лингвистической географии не подтверждается. Как мы уже видели, формы типа *женé* в исключительном сочетании с предлогом *у* наиболее последовательно представлены на территории юго-востока, для подавляющего большинства говоров которой совпадение предлогов *в* и *у* не характерно. С другой стороны, говорам юго-запада, где процесс совпадения предлогов *в* и *у* представлен наиболее интенсивно, известна та разновидность данного явления, которая является более поздней по характеру ее образования. И, наконец, формы типа *женé* отсутствуют на большей части говоров белорусского языка²², которым широко свойственно произношение *ш* и совпадение предлогов *в* и *у*, в связи с чем мы можем также сделать заключение, что формы типа *женé* являются сравнительно поздними по происхождению и не могут быть связаны с явлением совпадения предлогов *в* и *у*.

Явление совпадения предлогов *в* и *у*, видимо, могло играть существенную роль лишь при усвоении форм на *-е* на территории юго-запада, для которой собственно местным является процесс употребления форм род.-дат.-предл. падежей с окончанием *-ы*. Возможно, этим объясняется более интенсивное усвоение форм на *-е* в род. и предл. падежах и сравнительно менее интенсивное — в дат. падеже (ср. ареал форм дат. падежа с окончанием *-ы* на данной территории на карте № 4). Говоры юго-запада в отношении образования изучаемых форм пережили, видимо, сложную эволюцию. Первоначально, можно думать, этим говорам была свойственна тенденция образования форм дат.-предл. падежей по типу форм род. падежа (*к жены́, о жены́* и т. п.). Об этом свидетельствует наличие подобных форм в целом ряде современных говоров юго-запада. Кроме того, в пользу подобного предположения говорит распространение в этих говорах форм типа *на земл́, к семей* и под.²³, а также наличие процесса совпадения форм дат.-предл. падежей существительных женского рода с нулевой флексией в форме типа *грязй* вместо форм, различающихся по ударению; этот процесс мог развиваться при поддержке форм типа *земл́, жены́*.

География явления совпадения форм род.-дат.-предл. падежей в форме типа *жены́* дает возможность отнести его к числу явлений, представляющих собой поздние инновации говоров русского языка, возникавших уже на этапе существования отдельных восточнославянских языков, т. е.

²¹ В. А. Богородицкий, Исследование говора д. Белой, Казань, 1900.

²² «Нарысы па беларускай дыялекталогіі», стр. 161.

²³ Исследователи памятников, относящихся к территории юго-запада, отмечают сохранение окончания *-и* в формах дат.-предл. падежей для мягкого варианта еще в XVII в. (см.: Г. А. Хабургаев, Формы склонения имен существительных в курских памятниках деловой письменности первой половины XVII в. Автореф. канд. диссерт., М., 1965; Н. С. Савченко, Из морфологии калужских говоров XVII в., «Уч. зап. МОПИ», Серия «Русский язык», 148, 10, 1964, и др.).

в XVI—XVII вв.²⁴ Подобные явления образуют определенный комплекс, характеризующийся тем, что все черты, в него входящие, имеют распространение в пределах Западной диалектной зоны. При этом наиболее интенсивно они представлены на территории современного северо-запада, где ранние инновации общезападного характера обычно отсутствуют в связи с тем, что на этой территории они подвергались нивелировке в период усиления московского влияния (ср., например, распространение таких черт, как образование форм указательного местоимения от основы с *ʃ* — *тáя*, *тбе*, *т́бе*, формы *йон*, словоформ *мáтка*, *д́бчка*, *свекр́ова* и др.). Очагом образования синкретической формы род.-дат.-предл. падежей типа *женѣ* были, видимо, говоры юго-запада, где в период их образования они имели более последовательный характер распространения²⁵. Как и другие явления подобного рода, формы род.-дат.-предл. падежей типа *женѣ* в дальнейшем получают широкое распространение в северном направлении.

Процесс образования формы род. падежа по типу форм дат.-предл. падежей (*у женѣ*, *от женѣ* и под.) в говорах юго-запада мог распространяться лишь начиная с XVII в.²⁶ Это новое явление в одних говорах этой территории целиком вытеснило старое, в других выступает до сих пор в сосуществовании с ним, различаясь в ряде случаев по функции (см. карты 1 и 4).

²⁴ См.: «Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров», стр. 200—242.

²⁵ См. в связи с этим, например: С. П. Обнорский, указ. соч., стр. 90—93; Д. К. Зеленин, Великорусские говоры с неорганическим и непереходным смягчением заднебных согласных, ИОРЯС, 1913, стр. 187 и др.; Ф. Солодовников, О старооскольском народном говоре, «Филологич. зап.», II, 1867, Воронеж, стр. 70, 71, 130, 132 и др.; Н. Ф. Савченко, указ. соч.

²⁶ В XVII в. формы род. падежа типа *женѣ* на территории курских, орловских, елецких говоров являются еще немногочисленными. См.: С. И. Котков, Южно-великорусское наречие в XVII столетии, М., 1963; Г. А. Хабургаев, указ. соч.

А. И. ДУБИНСКИЙ

ЗАМЕТКИ О ЯЗЫКЕ ЛИТОВСКИХ ТАТАР

Внимание научной общественности в России к литовским татарам и их языку впервые привлек профессор Петербургского университета А. О. Мухлинский. Его перу принадлежат две работы по этим вопросам¹, одна из которых — перевод записки под заглавием «Рисале-и татар-и лех», написанной в 1558 г. литовским татаринном о жизни его соплеменников в Литве и предназначенной, по словам автора, для турецких вельмож, в частности для визиря Рустем-паши, который и передал ее султану Сулейману Великолепному². Перевод «Рисале» А. Мухлинский снабдил своими комментариями и выдержками из юридических актов, связанных с литовскими татарами; оригинальный турецкий текст «Рисале» помещен как приложение к отдельному журнальному оттиску, который является сегодня библиографической редкостью и был нам, к сожалению, недоступен (поскольку авторитетность А. Мухлинского хорошо известна среди тюркологов, надежность его перевода не должна вызывать сомнений).

При освещении вопросов, связанных с языком литовских татар, необходимо сказать несколько слов об истории татарского населения в Литве. Первые сведения о поселении татар в Литве относятся к периоду правления одного из основателей литовского государства, вел. кн. Гедимина. Об этом анналист францисканского ордена в 1324 г. писал следующее: «Наши братья, отправленные для обращения литовских земель в христианскую веру, нашли весь народ погруженным в язычество, поклоняющимся огню, а между ними — скифов, пришельцев из владений некоего хана, которые в своих молитвах употребляют азиатский язык». Под упомянутыми здесь «скифами», несомненно, имеются в виду татары, так как известно, что татарские отряды в 1319 г. принимали участие на стороне князя Гедимина в его сражениях с орденом крестоносцев. Видимо, часть этих воинов и осела в Литве. Позже литовские князья неоднократно прибегали к помощи татарского войска.

Политические связи Великого княжества Литовского с Золотой Ордой, а позже с крымскими ханами достаточно хорошо известны. Самые оживленные сношения Литвы с Золотой Ордой и Крымом установились в период правления вел. кн. Витовта (по-литовски Витаутас). В конце XIX в. Витовт в результате военных действий против Золотой Орды поселил в своих владениях в Литве многочисленных пленников, приведенных им с собой³. Имеются данные и о том, что татары оседали на территории Великого княжества Литовского также добровольно. Время правления Витовта принято считать самым бурным периодом поселения татар в Литве⁴. Первые из-

¹ А. Мухлинский, Исследование о происхождении и состоянии литовских татар, СПб., 1857.

² A. Muchliński, Zdanie sprawy o Tatarach litewskich, «TeKa wileńska», 4—6, Wilno, 1858.

³ Об этом см.: «J. Długossii... Historiae Polonicae», cura et impensis A. Przewdzicki, III, libri IX—X, Cracoviae, 1876, стр. 523.

⁴ См.: S. K r u c z y Ń s k i, Tatarzy litewscy (Próba monografii historyczno-etnograficznej), Warszawa, 1938, стр. 5.

вестия о поселении татар в тогдашней столице Литвы, городе Тракай и его окрестностях принадлежат послу английского короля, фламандцу Жильберу де Лянуа, содержание которого представляет особую ценность еще и потому, что в нем содержится замечание о языке. Проезжая в январе 1414 г. через Тракай, Лянуа записал: «Также проживают в упомянутом городе Тракай [в подлиннике он назван *Trausquenne*. — А. Д.] и окружающих нескольких деревнях многочисленные татары, которые живут семьями... и у которых есть свой особый язык, называемый татарским»⁵ (разрядка наша. — А. Д.)

При Витовте установились тесные связи не только с Золотой Ордой, но и с ханами Крыма из династии Гиреев⁶. Из дальнейшей истории известно о сношениях Литвы, а позднее, после Люблинской унии 1569 г., — Польско-Литовского государства с Крымским ханством. Сношения эти способствовали поддержанию связей поселившихся в Литве татар с Крымом.

Исторические данные свидетельствуют о том, что язык литовских татар, в основной своей массе — пришельцев из Золотой Орды, принадлежал к кыпчакской группе тюркских языков; это подтверждается и языковыми материалами (подробнее об этом см. ниже), но из-за скудости языковых фактов — только частично. Дело в том, что разговорный тюркский язык у литовских татар стал очень скоро забываться и выходить из обычного употребления. Анонимный автор упомянутого «Рисале» уже в 1558 г. указывал на то, что некоторая часть его соплеменников «покинула свой родной язык и употребляет польский»⁷. О быстрой утрате родного языка у литовских татар говорят и другие источники XVI в. Определить точную дату полного завершения этого процесса не представляется возможным; тем не менее, основываясь на различных имеющихся сведениях, можно считать, что основная масса литовских татар уже в конце XVI в. не говорила на родном тюркском языке.

Причину столь быстрого языкового регресса обычно усматривают прежде всего, в смешанных браках, а также в воинской службе, немало способствовавшей ассимиляции литовских татар⁸. Немаловажную роль, как нам кажется, сыграл также социальный фактор. Татарское население, которое не вело здесь замкнутого образа жизни в своей среде, стремилось подражать соответствующим социальным сословиям местного общества; это выразилось преимущественно в стремлении более знатных и влиятельных татарских родов уравниваться в правах с польской шляхтой. В совокупности все эти факторы обусловили ускоренные темпы при процессе замены родного тюркского языка местными славянскими языками окружающего населения.

Славянские языки, в окружении которых жили литовские татары, были не только введены ими в обыденную разговорную речь, но впоследствии использовались также в письменном обиходе. Самые ранние из известных нам рукописей относятся к XVII в. До нас дошли, главным образом, тексты религиозного содержания (так называемые китабы, хамаилы, далавары и отрывки переводов Корана) — ввиду того, что литовские татары ис-

⁵ См.: «Voyages et ambassades de messire Guillebert de Lannoy», Mons, 1840.

⁶ По некоторым сведениям, основатель этой династии, Хаджи Гирей родился в Литве, вблизи города Тракай (*M. Lietuvis, Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius, Vilnius, 1966*, стр. 25; см. также: Н. Ортекин, *Kırım hanlarının şeceresi, İstanbul, 1938*, стр. 5).

⁷ А. Muchliński, указ. соч., «TeKa wileńska», 4, стр. 251—252.

⁸ См.: S. Szapsza I, *O zatraceniu jezika ojczystego przez Tatarów w Polsce, «Rocznik Tatarski», 1, Wilno, 1932*, стр. 34—48; см. также: Дж. Александрович-Насыфи, *Литовские татары. Краткий историко-этнографический очерк, «Изв. Об-ва обследования и изучения Азербайджана», 2, Баку, 1926*, стр. 90.

поведуют ислам, все эти тексты, независимо от их языка, написаны на арабском алфавите. В молитвенниках преобладают тексты на арабском языке. Однако уже Мухлинский в своем «Исследовании» привел отрывки религиозного содержания, написанные арабским алфавитом на белорусском и польском языках⁹. Нередки также смешанные белорусско-польские текстовые фрагменты. И тем не менее, можно сказать, что в памятниках религиозного содержания, которых сохранилось больше всего, белорусский и польский языки используются, главным образом, в целях перевода. Полностью на белорусском и польском языках составлены преимущественно светские тексты, среди которых известное место занимают фольклорные и этнографические произведения. (Часть текстов написана также на тюркском языке.) Хотя литовские татары в обиходном общении, а частично и в сохранившихся зачатках литературной практики почти полностью перешли на окружающие их говоры белорусского и польского языков, все же можно получить общее представление об утраченном ими родном языке.

В настоящее время составить такое представление о тюркском языке литовских татар позволяет совокупность лингвистических факторов — сохранившаяся ономастика, весьма ограниченное количество бытовых терминов (из разговорной речи), а также языковой материал рукописных памятников. Проблематика, связанная с тюркским языком литовских татар, пожалуй, самая сложная. В литературе чаще всего затрагивались отдельные ее стороны лишь попутно¹⁰. Около 400 «восточных» слов, имен и фамилий содержит список, приложенный к труду по литовско-татарской геральдике; однако приведенные там пояснения¹¹ во многих случаях (в особенности — тюркские) требуют внимательного научного контроля. Специальных работ о тюркском языке литовских татар совсем немного. Самый большой из печатных трудов по лексикографии языка литовских татар принадлежит А. Вороновичу, который занимался собиранием слов и изречений арабско-персидско-тюркского происхождения, почерпнутых из различных источников — из разговорного языка литовских татар и из письменных памятников¹². На основании отдельных письменных памятников тюркские языковые фрагменты изучались С. Шахно, Вл. Зайончковским и А. Зайончковским¹³.

⁹ После Мухлинского рукописными книгами литовских татар занимались и другие исследователи, предпочитательное внимание оказывая белорусско-польской части рукописей: И. Ю. Крачковский, Рукопись Корана в Пскове, ДАН, Серия В, 1924, октябрь-декабрь; А. Н. Самойлович, Литовские татары и арабский алфавит, «Изв. Об-ва обследования и изучения Азербайджана», 3, Баку, 1926. См. также: М. Копораски, Piśmiennictwo Tatarów polsko-litewskich w nauce polskiej i obcej, «Przegląd orientalistyczny», 3 (59), 1966; А. К. Антонович, Белорусские тексты, писанные арабским письмом, и их графико-орфографическая система, Вильнюс, 1968 (к книге приложена обширная библиография); см. рецензии на эту книгу: «Przegląd orientalistyczny», 4 (76), 1970, стр. 344—352; «Народы Азии и Африки», 1971, 4, стр. 185—189.

¹⁰ См. например: Дж. Александрович-Насыфи, Литовские татары как часть тюркского Востока, «Изв. Об-ва обследования и изучения Азербайджана», 4, Баку, 1927, стр. 150—151, где сделана попытка объяснить (с привлечением лексического материала других тюркских языков) отдельные литовско-татарские слова, топонимы, антропонимы.

¹¹ J. Szynkiewicz, Tłumaczenia słów i nazw orientalistycznych. Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, opracował St. Dziadulewicz, Wilno, 1929, стр. 457—473.

¹² А. Угопович, Język muślimów polskich, «Życie Tatarskie», 11, Wilno, 1934; е го же, Szczęśliki językowe Tatarów litewskich, «Rocznik Tatarski», II, Zamość, 1935.

¹³ См.: S. Szachno, Kitab tatarski Assanowicza z r. 1891, «Collectanea Orientalia», 13, 1938, стр. 6; Wl. Zajączkowski, Resztki językowe Tatarów litewskich, «Sprawozdania z czynności i posiedzeń PAU», XLIX, 8, Kraków, 1948; А. Зajączkowski, Tzw. chamałi tatarski ze zbioru rękopisów w Warszawie, там же, LII, 4, 1951.

Тюркский язык, который татары принесли с собой в Литву, принадлежал к кыпчакской группе. Об этом могут свидетельствовать древние названия родовых подразделений и сохранившиеся остатки титулатуры. Так, например, известный по старым источникам княжеский титул литовских татар *улан* — это кыпчакская форма огузского *оглан*. Некоторое сходство с номенклатурой родовых подразделений у древних кыпчаков можно усматривать в названиях литовско-татарских родов, таких, как *джалаир* (встречается и форма *ялаир*), *конград*, *барин*. Кроме того, вплоть до XVII в. у литовских татар по традиции продолжали употребляться кыпчакские имена, известные еще в Золотой Орде и Крымском ханстве, — это имена, в состав которых входят компоненты *б'ерд'и* и *к'ел'ды*; они чаще всего встречались здесь в форме *Танры-б'ерд'ей*, *Кудай-б'ерд'ей*, *Аш-б'ерд'ей*, *К'ел'ды-яр*, *К'ел'ды-довлец'* и проч.¹⁴

Дополнительные доказательства могут быть почерпнуты при анализе фонетики и лексического состава языка литовских татар. В области фонетики необходимо указать на чередование звуков *дж* ~ *й* в начале слова, например: *джалаир* ~ *ялаир*, *джайма* ~ *ййма* «лепешка», *джолуи* ~ *йолуи* «состязание». Явление это хорошо известно в кыпчакском языковом ареале¹⁵. Другим фонетическим показателем может быть выпадение начального звонкого *х* в некоторых заимствованиях; в качестве примера можно привести известные литовско-татарские фамилии *Асанчук* и *Ассанович*, (< арабск. *Хасан*); аналогичное явление наблюдается в кыпчакском языке караймов, например: *аджы* (< араб. *хаджы*), *афта* (< перс. *хафта*) и др. Кыпчакской чертой является диссимилиация согласных *лл* > **л* > > нл: *монла* < *молла*, *мулла* «священник»; такого рода диссимилиация хорошо известна в разговорной речи тракайского диалекта караимского языка (*уңлу* < *уллу*, *куңлук* < *куллук* и др.)¹⁶.

Переходя к характеристике лексического состава, прежде всего, остановимся на словах, свойственных, главным образом, языкам кыпчакской группы (некоторые из приведенных ниже слов известны и другим тюркским языкам, но в иной фонетической форме). Сюда относятся такие слова, как *улан*, *джайма* и *бел'уш* «ватрушка с мясом» (ср. в казанско-татарском *белиш* от глагола *беле-* «пеленать, завертывать в пеленки», известного в казахском и караимском языках)¹⁷; *зирец'* «кладбище» (ср. в караимском *зерять*); *азча* «монета» (в караимском в такой же фонетической форме, в значении «деньги, монета»).

Изучение лексики письменных памятников свидетельствует о том, что на язык литовских татар оказывали влияние также другие группы тюркских языков. По мнению А. А. Зайончковского, в более древнее время это было древнеуйгурское влияние, а позднее (с XVI—XVII вв.) — османско-турецкое¹⁸. Говоря о возможности влияния древнеуйгурского языка, необходимо иметь в виду то обстоятельство, что, как известно, вся переписка в канцелярии ханов Золотой Орды велась посредством древне-

¹⁴ Подробнее об этом см.: A. Z a j a c z k o w s k i, Elementy tureckie na ziemach polskich, «Rocznik Tatarski», II, стр. 212—213. См. также: Б. Д. Греков, А. Ю. Якубовский, Золотая Орда и ее падение. М.—Л., 1950, стр. 393, 403.

¹⁵ См.: М. Р я с я н е н, Материалы по исторической фонетике тюркских языков, М., 1955, стр. 161; Н. А. Б а с к а к о в, Введение в изучение тюркских языков, М., 1969, стр. 271.

¹⁶ См.: Т. К o w a l s k i, Karaimische Texte im Dialekt von Troki, Kraków, 1929, стр. XXXII; К. М. М у с а е в, Грамматика караимского языка, М., 1964, стр. 73.

¹⁷ См.: В. В. Р а д л о в, Опыт словаря тюркских наречий, IV, СПб., 1911, стлб. 1612, 1609.

¹⁸ A. Z a j a c z k o w s k i, Tzw. chamaił tatarski..., стр. 311.

уйгурского алфавита, что, естественно, привносило отпечаток элементов восточнотуркестанской группы тюркских языков¹⁹.

К сказанному необходимо добавить, что судя по историческим данным, на литовских татар и на их язык не могли не влиять также Крым и Поволжье и соответственно — крымско-татарский и казанско-татарский языки. Во всяком случае, хорошо известно посредничество литовских татар в сношениях Литовско-Польского государства с Крымом; а в более позднее время (с XVIII—XIX вв.), кроме того, отмечаются оживленные связи с Крымом, особенно в области духовной культуры. Влияние казанско-татарского языка не могло не сказываться уже потому, что переписчики рукописных книг литовских татар часто оказывались уроженцами татарских районов Поволжья — в большинстве случаев они исполняли одновременно должности духовных лиц и занимались составлением молитвенников.

Значительная часть лексического материала языка литовских татар (в особенности термины, почерпнутые через разговорный язык) указывает на сильное влияние османско-турецкого языка. Это влияние заметно, прежде всего, в фонетическом облике арабских слов: многие религиозные термины арабского происхождения передаются в произношении, близком к османско-турецкому. Например: *рес'ул'* (< араб. *расул'*) «посланник; пророк», *с'ел'ам* (< араб. *салām*) «мир»; *ум'мет* (< араб. *уммат*) «народ; сбор; приход»; *реджеб* (< араб. *раджаб*) название месяца и др. В османско-турецком эти слова имеют сходную фонетическую форму; здесь сказывается фонетическое правило перехода кратких гласных заднего ряда в разряд передних гласных. Влияние османско-турецкого языка подтверждается неоспоримыми историческими фактами. Как явствует из многих документов, литовские татары неоднократно использовались как переводчики в составе различных посольств, направляемых польскими королями в Турцию, участвовали в деловых сношениях с Османской империей; с XIX в. связи литовских татар с Турцией стали еще более усиливаться. Османско-турецкие элементы проникали в язык литовских татар и укреплялись там также, по всей вероятности, благодаря посредничеству крымско-татарского языка, который подвергался сильной османизации (в особенности — диалекты южной полосы Крымского полуострова).

Анализ лексики языка литовских татар показывает, как окружающие их славянские языки, в особенности белорусский и польский, подчиняли своему воздействию даже и немногие оставшиеся тюркские элементы в речи литовских татар. Точно провести границу между сферами воздействия этих двух языков очень затруднительно, а порой и вовсе невозможно. Воздействие славянских языков проявилось как в области фонетики, так и в морфологии. Попытаемся проанализировать проявления славянского воздействия в этих двух областях.

Более всего обращает внимание в фонетическом оформлении тюркско-арабско-персидских слов их смягченное произношение. Наблюдается палатализация некоторых согласных (в этом можно видеть влияние, в частности, белорусского языка), и, судя по дошедшему до нас языковому материалу, это, прежде всего, относится к согласным *с*, *м* и к некоторым другим; с большой долей вероятности можно также предполагать, что палатализация должна была охватывать все согласные или же значитель-

¹⁹ Некоторые сведения о письменности Золотой Орды см. в трудах: Б. Д. Г р е к о в, А. Ю. Я к у б о в с к и й, указ. соч., стр. 175—176; С. Е. М а л о в, Изучение ярыков и восточных грамот, сб. «Академику В. А. Гордлевскому к его семидесятилетия-тилетию», М., 1953; А. N. К у г а т, Topkapı Sarayı müzesi Arşivindeki Altın Ordu Kırım ve Turkistan hanlarına ait yarlık ve bitikler, İstanbul, 1940; Т. Н а л а с и К у н, Monuments de la langue tatare de Kazan, «Annalecta Orientalia memoriae A. Csoma de Kőrös dicata» («Bibliotheca Orientalis Hungarica», V), Budapest, 1942, стр. 143—145.

ную их часть. В большинстве случаев палатализация согласных происходит в окружении гласных переднего ряда и является, по-видимому, результатом их воздействия. Например: *ис'л'ам* «ислам», *с'ел'ам* «мир», *мус'ул'манин* «мусульманин», *рес'ул'* «пророк», *с'урей* «сура Корана», *гус'ел'* «ритуальное омовение», *м'ечец'* «мечеть», *м'езим* «муэдзин», *джуб'е* «одеяние лица духовного сана», *хутб'е* «хутба, проповедь», *фирд'еус* «рай» и др. Весьма близкое к этому фонетическое явление наблюдается в тракайском диалекте караимского языка, который находится в идентичных условиях славянского окружения.

В разговорной белорусско-польской речи литовских татар тюркско-арабско-персидские слова могут принимать окончание славянских падежей. В винительном и родительном падежах у слов с гласной в ауслауте появляется вставочный *й*, например: *хутб'е* — вин. пад. *хутб'е-й-у* (*sluchał chutbieju* «слушал проповедь»); *авле* — род. пад. *авле-й-у* (*išć do awleju* «направиться на полуденную молитву») (< турецк. *öğle* «полдень»); *с'еджд'е* — род. пад. *с'еджд'е-й-у* (*zblizył się do siedźdeju* «приблизился к молитвенному коврику») и т. п.

Слова, оканчивающиеся на *-и*, *-джи*, в именительном падеже получают окончание *-ей*; примеры: *кад'ей* «кади»; *муфт'ей* «муфти»; *Алей* имя собств. «Али»; *хаджей* «хаджи»; *азанджей* «азанджи; поющий азаи»; *курунджей* «знаток Корана»; *фалджей* «гадатель» и др. Здесь имеет место аналогия с восточнославянскими словами типа *ворожей* и с окончаниями прилагательных. Ср. в караимском: *заклентый* < польск. *zaklęty* «заколдованный».

Несомненным влиянием славянских языков можно объяснить форму широко известного среди литовских татар слова *далавары* «узкий и длинный свиток бумаги с молитвами»; слово это происходит от араб. *ду'а* «молитва» и содержит в себе две формы мн. числа: тюркск. *-лар* и славянск. *-ы* — *дуа* + *лар* + *ы*; вследствие метатезы и фонетических модификаций из *дуалары* образовалась форма *далавары*. Славянское мн. число легко обнаруживается в таких словах, как *хуруфы* «буквы» (здесь тоже двойное мн. число, арабское и славянское: *хуруф* + *ы*); *ансары* «помощники, сподвижники» (араб. мн. число *ансар* + *ы*). Довольно любопытное явление представлено в белорусско-тюркском изречении *буайды пець* — от первых слов *бу айда* «в этом месяце» получилось общее название религиозных гимнов *буайда*, которое приобрело затем славянскую форму мн. числа *буайды*. Из числа славянских словообразовательных морфем отметим окончания *-ын*, *-ин*, *-чик*, обозначающие принадлежность к какой-либо группе людей, например: *к'афирын* (< турецк. *kâfir* «неверующий»); *джахилин* (< араб. *джахил*) «невежда»; *арабин* «араб»; *алейчик* «шиит» и проч. Окончание польского имени прилагательного *-ны*, *-нэ* замечено в словах: *харамны* (< араб. *харām*) «запрещенный»; *харамнэ* мн. число «запрещенные».

Ласкательная форма имен образуется присоединением аффикса *-ка*, например: *дуайка* «молитвочка» (в ласкательном значении). Аффикс *-ка* является иногда показателем женского рода: например, женский род от слова *ахрец'* «сопутствующий на том свете» имеет форму *ахрец'ка*. Используются и другие аффиксы женского рода (славянского происхождения) — *-ина*, *-иня*, примеры: *моллина* «жена муллы»; *ходжин'а* «жена ходжи, учителя».

От некоторых арабских именных форм литовские татары создали при помощи славянских формантов глаголы. Пример — глагол *харамич'* (польск. *charamić*) (< араб. *харām* «запрещенный, запретный»). Ср. также глагол *захаремич'* (польск. *zacharamić*), в начале которого выступает префикс *за-*; этим глаголом обозначается один из свадебных обрядов, в соответствии с которым невесту принимают в среду женщин. Глагольная префиксация подобного рода характерна для славянских языков, а также

для языков, подвергавшихся славянскому влиянию; здесь вполне очевидна аналогия с караимским языком, где префиксы эти употребляются довольно широко в разговорной речи ²⁰.

Итак, хотя полную характеристику языка литовских татар почти невозможно составить из-за скудости языкового материала, тем не менее, вполне очевидно, что это был один из тюркских языков кыпчакской группы, подвергавшийся влиянию некоторых других тюркских, а также славянских языков и к настоящему времени почти полностью вытесненный славянскими языками окружающего местного населения. Количество зафиксированных лексических единиц этого языка не превышает 1000 слов и изречений. Но даже и употребляемые в разговорном языке еще 30—40 лет тому назад отдельные слова сегодня уже полностью забыты. В этом нам довелось убедиться лично во время пребывания с группой студентов Института востоковедения Варшавского университета летом 1967 г. в татарских поселениях в северо-восточных областях Польши ²¹. Представляется, однако, что проведение систематических и разносторонних исследований может еще в настоящее время помочь обнаружить и записать разного рода языковые данные — это относится, прежде всего, к разговорному языку; однако и рукописные источники пока еще достаточно не изучены. Укажем, к примеру, на мало исследованное своеобразное произношение арабских слов; не получили достаточного освещения также некоторые другие данные по языку (например, языковая характеристика родовых личных имен, подробное исследование тюркских элементов в рукописных татарских источниках), по фольклору и этнографии литовских татар.

Поэтому остается только присоединиться к голосу предыдущих исследователей о необходимости комплексной, совместной деятельности представителей разных научных дисциплин, в первую очередь востоковедов и славистов. Только таким образом можно будет собрать все, что еще уцелело, и только в этих условиях различные проблемы, касающиеся литовских татар и их языка, получат подлинно научное освещение.

²⁰ Более подробно об этом см.: A. D u b i ŋ s k i, Über die slawischen Einflüsse in der karaimischen Sprache, «Studia Slavica», XV, Budapest, 1969.

²¹ См. отчет об этой поездке: A. D u b i ŋ s k i, Z pobytu u Tatarów na Podlasiu, «Przegląd orientalistyczny», 1 (65), Warszawa, 1968, стр. 69—73.

Г. ДЁРФЕР

О СОСТОЯНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАЛАДЖСКОЙ
ГРУППЫ ЯЗЫКОВ

Среди тюркских языковых групп халаджский представляет собой ту которая была открыта и исследована позднее других. Правда, В. Минорский произвел описание языка халаджей уже в 1906 г. и вновь в 1917 г., однако он опубликовал свои материалы только лишь в 1940 г.¹ Он называл халаджский «диалектом, который бросается в глаза своими необычными чертами» («by its unusual features»), и был таким образом далек от мысли (и это понятно, поскольку он был иранистом), что халаджский — это более, нежели один только диалект.

В 1939 г. иранский ученый (иранист по специальности) проф. М. Муғаддам обследовал местные иранские диалекты на территории близ селения Ашти́ян (Āštiyān). Одновременно он описал также местный азербайджанский, равно как и халаджский из деревни Тальх-аб (Talḥ-āb). Результаты обследования были опубликованы в виде книги, которая вышла в свет в 1941 г. и в которой известное внимание уделено халаджскому². М. Муғаддам в свою очередь отметил сильное расхождение между местным азербайджанским и халаджским и тем не менее не сделал из этого никаких дальнейших выводов.

В 1968 г., основываясь на материалах М. Муғаддама, я показал, что халаджский представляет собой не один лишь тюркский диалект или даже язык, но составляет особую языковую группу³ — седьмую по счету при шести общеизвестных. Общая классификация тюркских языков, таким образом, предстает в следующем виде: 1) чувашская, или булгарская, языковая группа, 2) югозападнотюркская, или огузская, 3) северозападнотюркская, или кыпчакская, 4) юговосточнотюркская, или уйгурская, 5) северовосточнотюркская, или южносибирская, 6) якутская, 7) халаджская.

Тогда, правда, мне еще было неясно, насколько архаичен халаджский, — прежде всего, потому, что записи М. Муғаддама были фонетически неточными (например, не обозначались количественные характеристики гласных).

Во всяком случае стало ясно, что халаджский необходимо изучать на месте. В марте — апреле 1968 г. была организована экспедиция, в которой, к сожалению, мне не пришлось принять участия. Мною было дано задание трем студентам (В. Хеше, Г. Шейнгардт, С. Тезджан) установить приблизительные границы и общие очертания халаджской языковой области.

¹ V. M i n o r s k y, The Turkish dialect of the Khalaj, «Bull. of the Society of Oriental and African studies», 10, 1940, стр. 417—437.

² См.: М. М у ğ а д д а м, Gūyīshā-yi Vafs va Āštiyān va Tafraš, «Īrān-Kūda», 11, Teheran, 1318 h. š., стр. 22, 26—92, 152—159.

³ См.: G. D o e r f e r, Das Chaladsch — eine archaische Türksprache in Zentralpersien, ZDMG, 118, 1, 1968.

Руководствуясь небольшим списком специально подобранных слов (л. 1), они произвели языковое описание и записали к тому же несколько текстов⁴.

Обработка магнитофонных записей экспедиции 1968 г. позволила мне точнее исследовать халаджский также в фонетическом плане⁵. Кроме того, мною был опубликован небольшой текст (стихотворение) на халаджском в статье, посвященной тюркским языкам в Иране; в этой статье вместо четырех известных доньше тюркских языков в Иране говорится об одиннадцати тюркских языках; существование семи из них установлено мною частью несомненно, а частью — с долей вероятности⁶. Краткие сведения о халаджском содержатся также в моей статье по ирано-алтаике («Тюркские и монгольские языки Персии и Афганистана»)⁷.

Существенные фонетические данные исследованы мною с точки зрения синхронической и диахронической в книге «Халаджские материалы»; книга содержит также снимки, карты, отчет о поездке к халаджам, построена она на некоторых материалах экспедиции 1968 г.⁸

Таковы публикации в области халаджского. Несколько слов о других исследованиях в этой области. Как сообщил Л. Лигети в личном письме от 22 I 1969 г., он касался вопроса об *h*- в халаджском в небольшой заметке «в одном из юбилейных сборников, изданном в Париже», и, кроме того, «в недавней статье... в „Acta Orient. Hung.“». В письме от 7 V 1970 г. Л. Базен сообщил мне, что в конце сентября 1970 г. он производил языковые записи в Тайека́не (Tāyeqān = Dāgān, Dāgūn) близ Кума (Qum). Его словарные материалы подтверждают мои собственные выводы (например, противопоставление по долготе: *var*- «идти, ходить» с кратким *a*; *bāš* «голова» с полудолгим *a*; *vār* «имеется» с долгим *a*).

В марте 1969 г. состоялась вторая экспедиция в Халаджистан, в которой я принял участие. На этот раз в языковом отношении была обследована примерно половина халаджских деревень. В результате мы располагаем обширными словарными записями — наш список содержит около 800 слов (л. 3); впервые тщательно обследована морфология; кроме того, производилась дальнейшая запись текстов.

С марта по июль 1970 г. в Гёттингене с нами работал в качестве информанта Мосайеб Арабголь (исполнявший в свое время обязанности заместителя окружного начальника в Дастгирде; в настоящее время переведен в Аштийан). С. Тезджан вместе с ним, прежде всего, выверил наиболее трудные места в ранее записанных текстах, произвел новые текстовые записи и составил словарь диалекта дер. Харраб.

Вместе с д-ром С. Тезджаном мы подготавливаем ряд томов следующего содержания. Том «Халаджские тексты» составляет примерно 100 печатных страниц текста, снабжен переводом, а кроме того — систематизированным перечнем употребляющихся в текстах слов; вкратце здесь также представлены — в хронологической последовательности и с переводом — материалы магнитофонной записи, за исключением тех текстов, которые

⁴ Г. Шейнгардт рассказал об этой экспедиции в статье: «Halacistan'a bir araştırma gezisi» («Сағги», 1 eylül, 1968, № 128).

⁵ О результатах этого исследования см.: G. Doerfer, Das Chaladsch, eine neuentdeckte archaische Türksprache, ZDMG, Supplementa I, 1969, стр. 719—725.

⁶ G. Doerfer, Iran'daki türk dilleri, «Türk dili araştırmaları yılığı. Belleten», 1969, стр. 4—8, 16—20.

⁷ G. Doerfer, Turkish and Mongolian languages of Persia and Afghanistan, «Current trends in linguistics», VI, The Hague, 1971.

⁸ G. Doerfer, W. Heschke, H. Scheinhardt, S. Tezcan, Khalaj materials, Bloomington, 1971 («Indiana university publications. Uralic and Altaic series», 115).

записаны с целью прояснить грамматические вопросы. Отдельный том, содержащий алфавитный словарь, включает в себя около 3 тыс. слов тюркского происхождения с текстовыми примерами и примерно 7 тыс. слов иранского происхождения. В томе, посвященном грамматике, собраны все тексты, записанные в грамматических целях. На основании их и фольклорных текстов составлена полная грамматика халаджского. Том «Диалектный атлас» содержит около 800 карт, с помощью которых устанавливаются в их пространственном распределении важнейшие изоглоссы халаджских диалектов. Дело в том, что каждая халаджская деревня имеет свой собственный диалект, и различия между такими диалектами могут быть довольно значительными, не меньше, чем, например, между языками турецким и азербайджанским или казанско-татарским и башкирским. Особенно это касается западных диалектов, например, диалектов селений Тальх-аб и Хальт-абād (Halt-ābād): некоторые халаджи не считают даже эти диалекты за халаджские. Хотя в данном случае это утверждение представляется мне преувеличенным, тем не менее нельзя не признать все же сильную разобщенность весьма характерной чертой халаджских диалектов (или языков?).

М. Арабголь, который был специально обучен нами в Гёттингене, продолжает вести дальнейшие языковые записи в Халаджистане. В результате нами получена от него среди прочего материала предварительная запись из деревни Шāна (Sāna) — самой южной из халаджских деревень, которая до сего времени не была охвачена предшествующими экспедициями.

Д-ра Э. Нейбауера я просил произвести языковые записи у живущих среди кашкайцев (Qaşqā'i) близ Шираза халаджей, о которых он мне любезно сообщил.

Следующая экспедиция запланирована на 1972 г.; ее целью будет исследовать, помимо всего прочего, мелкие языковые халаджские островки в Азербайджане и Курдистане.

Такое состояние изучения халаджского в настоящее время. Теперь перейдем к краткому обзору собранного до сих пор материала; для того чтобы составить впечатление об объеме и характере этого материала, приведем перечень содержания магнитофонных записей. При этом л. 1 будет обозначать краткий список специально отобранных слов (111 слов); л. 2 — пространственный список, содержащий все халаджские слова, записанные М. Муғаддомом, с некоторыми добавлениями, например, числительных (всего 319 слов); л. 3 — полный перечень слов, собранных М. Муғаддомом, с некоторыми добавлениями (свыше 800 слов).

Первая экспедиция (1968)⁹

I А—В. Языковые записи из дер. Мансūr-абād (Manšūr-ābād): запись беседы, рассказа о жизни одного из обитателей деревни, отдельные слова, несколько предложений; спряжение. Словарный перечень л. 1.

II А. Запись беседы, отобранные предложения. Записи из дер. Мауджāн (Maūǰān): л. 1, беседа, сказка, рассказ об одном происшествии в деревне; спряжение, местоимение.

II В. л. 2; несколько предложений; спряжение. Записи из дер. Сурхада (Surhāda): л. 1; короткий рассказ; жалоба на бедность в деревне. Записи из дер. Харрāб (Harrāb): л. 1.

III А л. 1 (заключение), несколько слов, два рассказа о приключениях, две истории о Шахе Аббасе (Šāh 'Abbās), чей-то рассказ о том, что он будет делать вечером; несколько предложений; спряжение.

⁹ Ниже мы не останавливаемся на сведениях об информантах, степени трудности текстов и т. д.

III В. Записи из дер. Мазра'а-йи нау (Mazra'a-yi nau): л. 1; порядковые числительные, спряжение; несколько предложений, пословицы, рассказ.

IV А — В. Музыкальные записи, несколько предложений. Записи из дер. Кардийан (Kardiyān): л. 1, несколько слов, несколько предложений; перечисление деревень, в которых живут халаджи; спряжение. Записи из дер. Хурāk-ābād (Ḥurāk-ābād): л. 1, порядковые числительные. Записи из дер. Хизār-ābād (Ḥizār-ābād): л. 1, несколько предложений, рассказ об одном случае; спряжение, порядковые числительные.

V А — В. Запись беседы. Записи из дер. Харрāб: рассуждение о халаджском языке, рассказы о новогоднем празднестве и играх, которыми оно сопровождается, о том, как справляются у халаджей свадьбы, обряд обрезания. Короткое стихотворение, несколько предложений, перечень халаджских деревень. Записи их Файз-ābāда (Faiz-ābād): л. 1 (только начало), перечисление халаджских деревень. Записи из дер. Наудих (Naudih): л. 1; приглашение участвовать в новогоднем празднестве. Записи из дер. Янгїджа (Yangīga): л. 1, несколько слов, короткий рассказ, беседа.

VI А — В. Запись из дер. Хальт-ābād: л. 1, спряжение. Запись из дер. Тальх-āб: л. 2, несколько слов, порядковые числительные, спряжение; рассказ о Шахе Аббасе. Записи из дер. Вашкāн (Vašqān): л. 1, рассказ.

VII А. Окончание предыдущего — рассказ о новогоднем празднестве, история, отдельные предложения. Запись из дер. Сафїд-āб (Safid-āb): л. 1.

VII В. Несколько слов; жалоба на тяжелые условия жизни. Запись из дер. Бун-чинār (Bun-činār): л. 1, несколько слов. Записи из дер. Зарнūша: л. 1, отдельные слова, спряжение; рассказы о том, как у халаджей справляются свадьбы, новогодние торжества.

VIII А. Жалоба на нехватку воды. Запись из дер. Дāристāн (Dāristān): л. 1, беседа. Записи из дер. Винārч (Vinārč): л. 1, несколько слов и предложений. Запись из дер. Харрāб: стихотворение, музыкальные записи.

VIII В. Текст обращения к населению по поводу новогодних торжеств. Запись из дер. Саляфчигāн (Salafčigān): л. 1. Запись из дер. Кара-сū (Qara-sū); рассказ об одном приключении, сказка. Запись из дер. Бāг-и як (Bāg-i yak): л. 1, стихотворение, рассказ «Нāдир шāх и халаджи». Запись из дер. Сифт (Sift): л. 1, отдельные слова, рассказ о жизни в деревне. Запись из дер. Испит (İspit): отдельные слова.

XI А — В¹⁰. Записи из дер. Чāхак (Čahak): л. 2 — отдельные слова, порядковые числительные, местоимения. Запись из дер. Михр-и Замїн (Mihr-i Zamīn): л. 1 — отдельные слова.

Вторая экспедиция (1969)

XI А — В. Запись из дер. Харрāб: л. 3, грамматические вопросы. Запись из дер. Зїзгāн (Zizgān): л. 3, сказка, грамматические вопросы. Запись из дер. Саляфчигāн: л. 3.

XII А — В. Заключение предыдущего, грамматические вопросы. Запись из дер. Дāгāн (Dāgān): л. 3, грамматические вопросы, стихотворение (на азери). Запись из дер. Винārч: л. 3, грамматические [вопросы]. Запись из дер. Кара-сū: л. 3, грамматические вопросы.

¹⁰ Частично IX В содержит материалы по кашкайскому, а X А — В, как и XX А, по языку хурасāни (Ḥurasāni), XX А — В — по местному азери.

XIII А — В. Заключение предыдущего. Записи из дер. Бāг-и як: л. 3, грамматические вопросы; сказочный рассказ, стихотворение. Запись из дер. Мазра'а-ий нау: л. 3, грамматические вопросы. Запись из дер. Наудих: л. 3 — грамматические вопросы. Запись из дер. Надир-āбād: л. 3.

XIV А. Заключение предыдущего, грамматические вопросы, четыре анекдота о мулле Наср ад-дīне, рассказ о Хазрат-и Ибрāхīме (Hażrat-i Ibrāhīm), религиозные рассказы. Запись из дер. Бун-чинār: л. 3.

XIV В. Народная песня (на азери), грамматические вопросы. Запись из дер. Мўси-āбād (Mūsi-ābād): л. 3, грамматические вопросы. Запись из дер. Сақарджўк (Saqağūq): народная песня, л. 3.

XV А. Заключение предыдущего, народная песня, рассказ; грамматические вопросы; интересные порядковые числительные (*ākkindisi*, *ūčindisi* и т. п.). Запись из дер. Сифт (Sift): л. 3, грамматические вопросы; из дер. Исприт: л. 3.

XV В. Заключение предыдущего, грамматические вопросы. Записи из дер. Хизārāбād: л. 3, два рассказа, грамматическая часть.

XVI А. Заключение предыдущего. Запись из дер. Файз-āбād: л. 3, грамматическая часть; из дер. Кардийāн: л. 3.

XVI В. Заключение предыдущего, грамматические вопросы. Записи из дер. Хурāк-āбād: л. 3, грамматические вопросы; из дер. Мансўр-āбād: грамматические вопросы.

XVII А. Заключение предыдущего, л. 3. Запись из дер. Мауджāн: грамматические вопросы, словарный перечень л. 3.

XVII В. Заключение предыдущего. Запись из дер. Тальх-āб: л. 3, грамматические вопросы, беседа, рассказ; из Хальт-āбāда: грамматические вопросы, л. 3.

XVIII А. Заключение предыдущего.

XIX А — В. Запись из дер. Бун-чинār: рассказы.

Записи, произведенные в Гёттингене (М. Арабголь, 1970 г.).¹

XXI — XXX. Халаджский словарь (диалекты дер. Харрāб). К нему приложены также специализованные перечни слов (например, названия растений).

XXXI. Халаджская грамматика.

XXXII. Перевод различных сказок из собрания азербайджанских сказок на халаджский.

XXXIII. Заключение предыдущего. Стихотворения М. Арабголя. Сообщение о населении и обычаях Халаджистана. Две сказки, два анекдота.

XXXIV. Сказка с последующим за нею стихотворением, рассказ о Шахе Аббасе, анекдот.

XXXV. Рассказ. Пространное повествование об играх у халаджей.

XXXVI. Анекдот, рассказ о животных, собрание халаджских пословиц.

Записи, сделанные М. Арабголем в Халаджистане в 1970—1971 гг.

XXXVII А. Запись из дер. Сар-и рўд (Sar-i rūd): рассказ, кроме того, словарный материал, детские слова. Запись из дер. Дāристāн (Dāristān): рассказ об одном приключении и о событиях в деревне; шутки насчет

халаджей. Запись из дер. Вирсāн (Virṣān): рассказ о Шахе Аббасе, описания одного приключения, свадьбы; отдельные слова.

XXXVII В. Запись из дер. Шākālū (Šāqālū): рассказ о животных, «роковая» история, песня, три рассказа, загадка, сказка.

XXXVIII А. Запись из дер. Шāна (Šāna): л. 3.

XXXVIII В. Заключение предыдущего. Семь рассказов о приключениях, рассказ о Шахе Аббасе.

*

Остановимся теперь на некоторых общих замечаниях о релевантности халаджского.

Халаджский является в высшей степени архаическим тюркским языком. Об этом свидетельствует следующее.

1. Халаджский представляется приемником языка аргу. Это единственный из тюркских языков, в котором, например, «не» звучит как *da'ū* (соответственно: *da'ūl*), ср. у Махмуда Кāшгарī *dāy*, *dāyol*.

2. В качестве представителя языка аргу халаджский сохранил др.-тюрк. *ñ* в виде *n* (этот звук не перешел здесь в *y*, как в большинстве тюркских языков), например: *qo'n* «овца», *kō'n* «гореть».

3. Халаджский в точности сохранил серединный *-d-* (в других языках он по большей части перешел в *-y-*, и только тувинский далеко на востоке опять имеет *-d-*); например: *hadāq* «нога», *bu'd* «рост, стан», *būdūk* «большой» (ср. турецк. *ayak*, *boy*, *büyük*).

4. Халаджский, единственный из всех современных тюркских языков, до настоящего времени точно сохранил пратюркские долготы. Халаджский вокализм обнаруживает три количественных ступени: 1) краткие гласные (например, *hat* «лошадь», *var* «ходить»), 2) долгие гласные (однако без движения тона, прежде всего, в изолированном, медленном произношении), которые могут произноситься так же, как полудолгие гласные (прежде всего, в беглом, аллегривом произношении, например: *bāš* ~ *baš* «голова», *qōn* ~ *qo'n* «овца»), 3) долгие гласные с движением тона, «дифтонгические долгие» (приблизительно как в туркменском, например: халадж. *ā^at* «имя», *vā^ar* «имеется», *bī^eš* «пять», *hū^ot* «огонь», в аллегривом произношении также *āt* или *a^at*; схожая картина наблюдается при гласных элементах одинакового качества, между тем как гласный элемент различного качества, например *bī^eš*, *hū^ot*, в таком произношении несколько укорачивается: *bī^eš*, *hu^ot*). Спорный вопрос о долготе в тюркских языках может быть разрешен единственно при учете данных халаджской группы языков (ср. у Махмуда Кāшгарī *āt* «имя» и туркм. *āt*, но у Махмуда Кāшгарī *bāš* «голова», а в туркменском *baš*; наличие в халаджском долгот в словах *ā^at*, *bāš* позволяет думать, что в первом случае налицо пратюрк. **ā^at*, [во втором — **bāš*; в туркменском сохраняются только дифтонгические долгие, долгие же гласные одинакового качества превращаются в краткие).

5. Помимо этого, в халаджском повсюду сохраняется *h*, который в конечном итоге, как это показывают примеры из других алтайских языков, восходит к пратюрк. **p-* (тюрк. *uruq* «аркан; шест с петлей для ловли лошадей» от *ur-*, хорезмско-тюрк. *hur-* «бить» = монг. *huraqa* = нанайск. *roiika* и т. д.). В других тюркских языках (прежде всего — в азербайджанском, узбекском, новоуйгурском) *h-* встречается только изолированно в единичных словах, например: *höl* (азерб., новоуйг.) — *hol* (узб.) «мокрый, влажный» (= халадж. *hōl*, *hīl*); только халаджский сохраняет повсюду *h-* — можно привести сотни примеров, тогда как в других тюркских языках таких примеров насчитывается не больше дюжины. То, что *h-* в халаджском является архаическим, подтверждается следующими фактами:

а) Там, где монгольский имеет *h-*, в халаджском также всегда выступает *h-*. Это явление, однако, не имеет обратной силы: часто там, где халаджский имеет *h-*, в монгольском представлен гласный в начале слова (например, халадж. *här* «мужчина» = монг. *ere*) — этот факт, однако, может быть легко объяснен тем, что в монгольском налицо различные пласты тюркских заимствований¹¹. Точнее: в монгольском продолжает сосуществовать раннетюркский пласт с еще сохранившимся **p-* и последующий пласт (вероятно, несколько более поздний, но тоже еще предшествующий древнетюркскому), в котором уже произошел переход **p* > **f* > *h* > 0. Несомненно то, что соотношение халаджский: монгольский, таким образом, не является взаимно однозначным; однозначно только правило: «где в монгольском *h-*, там в халаджском *h-*». Ср., например: монг. *hürgü* «пугать» = халадж. *hirk-* (азерб. *hürk-*, новобуйг. *hürkü* ~ *ürki-*, узб. *hurk-*), монг. *hargal* «экскремент» = халадж. *harq*, монг. *hütügün* «Cunnus» = халадж. *hüt* «отверстие, дыра».

б) По диалектам *h-* мог бы быть произносимым еще в древнетюркском; он появляется в тибетских записях¹². Ср. названия племен: *Ha-la-yun-log* = у Махмуда Кāшгарй: *ala yunluγ* = диалектн. др.-тюрк. *hala* (не *ala!*) *yuntlōγ* «имеющие пестрых коней; с пестрыми конями» (ср. халадж. *hala bula* «пестрый»), *Hidog Kas* «святое племя» (др.-тюрк. *hidoq* = халадж. *hidig*), *Ub-ha-dag-leg* «с ногами крупного рогатого скота» = диалектн. др.-тюрк. *ud-hadāqlēγ*, халадж. *hada'q* «нога».

Не думаю, что халадж. *h-* можно объяснить иначе, чем из древнейшего (диалектного древнетюркского или предшествующего ему состояния) *h* < пратюрк. **p-*. Распределение *h*: 0 позиционно независимо, напротив, дистрибуция отчетливо показывает, что мы имеем дело с различными фонемами (хотя минимальные пары вряд ли могут быть приведены):

а) Распределение этих фонем не зависит от количества слогов и от ударения: *hām* «Cunnus»: *āt* «мясо», *hottuz* «тридцать»: *alta* «шесть» и т. д.

б) Оно не зависит от количественной характеристики последующих гласных: *hat* «лошадь»: *āt* «мясо», *hūt* «огонь»: *ūn* «десять», *hīl* «мокрый, влажный»: *īm* «штаны».

в) Оно не зависит также от природы ауслатных согласных: *hat* «лошадь»: *hūt* «огонь», *āt* «мясо»: *it* «делать».

д) Оно не связано также с чуваш. *y-* (< пратюрк. **i-*): нуль звука в начале слова может иметь место и в чувашском, и в халаджском — чуваш. *an-* «спускаться» = халадж. *in-*; чувашскому нулю звука в халаджском соответствует *h-* < пратюрк. **p-* — чуваш. *är* «мужчина» = халадж. *här*; чувашскому *y-* в халаджском может соответствовать нуль звука (пратюрк. **i-*) — чуваш. *yēm* «штаны» = халадж. *īm* (точно так же чуваш. *yux* «течь» = халадж. *aq-* и т. д.); чувашский *y-* может корреспондировать с халаджским *h-* (пратюрк. **pī-*) — чуваш. *yūšē* «горький» = халадж. *hāšix* и т. п.

Морфология халаджского также сохранила целый ряд примечательных черт. Так, аблатив в большинстве диалектов имеет показатель *-da*, как в древнетюркском. Напротив, для локатива используется показатель *-ča*, который соответствует, таким образом, древнетюркскому Prosektiv-

¹¹ Гипотеза о прародстве алтайских языков в настоящее время пересматривается, см., например: G. D o e r f e r, Zur Verwandtschaft der altaischen Sprachen, IF, 71, Hf. 1—2, 1966.

¹² См.: J. В а с о t, Reconnaissance en Haute Asie septentrionale par cinq envoyés ouïgours au VIII^e siècle, JA, 244, fasc. 2, 1956. Толкования Дж. Клоусона (см.: G. C l a u s o n, A propos du manuscrit Pelliot tibétain 1283, JA, 245, fasc. 1, 1957) представляются отчасти неубедительными.

Terminalis'у (обычно этот падеж обозначается как «экатив», ср., однако, др.-тюрк. *bel-čä boγuz-ča suwda yorip* «войдя в воду до пояса и по шейку»¹³; лишь из этого конкретного значения могло развиваться абстрактное экативное; в турецком языке еще продолжает существовать это первоначальное локативное значение, прежде всего, при пассиве: *buraca bilinmeyor* «он здесь не известен», вместо которого возможно также *burada*). Генитив в халаджском, как и в древнетюркском, употребляется редко.

Халаджский — единственный из современных тюркских языков, где продолжает существовать древнетюркское причастие на *-igli* (здесь в результате метатезы имеем *-gili*: *Käč-gili yil* «прошлый год»). Также сохранился древнетюркский аорист на *-yur* (после гласных): *bäšla-yur* «он начинает» (в других современных тюркских языках соответствующая форма, напротив, восходит к средневековотюркскому *bäšla-r*).

Таким образом, хотя халаджский составляет наиболее мелкую по численности его носителей тюркскую языковую группу (около 50 деревень с населением примерно 20 тыс. чел.), тем не менее эта группа, наряду с древнетюркским и чувашской группой, является, без сомнения, одной из важнейших в плане реконструкции истории тюркских языков и их древнейшего состояния.

Перевела с немецкого Г. Ф. Блазова

¹³ См.: A. v. G a b a i n, *Allttürkische Grammatik*, 2. verbesserte Aufl., Leipzig, 1950, стр. 285.

Е. И ЦАРЕНКО

О ЛАРИНГАЛИЗАЦИИ В ЯЗЫКЕ КЕЧУА

Многочисленные диалекты языка кечуа обычно объединяют в три диалектные группы¹: 1) северная группа — диалекты Эквадора²; 2) центральная группа — диалекты северного и центрального Перу (бывшая область Чинчайсуу)³; 3) южная группа — диалекты юга Перу, Боливии и северо-запада Аргентины.

Наибольший интерес представляют диалекты южной группы, которые лучше всего сохранили древнюю структуру языка кечуа. Как известно, область первоначального обитания народа кечуа находится в долине Куско (юго-восточное Перу), и именно отсюда язык кечуа за сравнительно короткое время распространился по всей обширной территории государства инков. При значительной близости грамматического строя южных диалектов есть одна черта, которая отличает периферийные диалекты Аякучо (Перу)⁴ и Сантьяго-дель-Эстеро (Аргентина)⁵ от диалектов района Куско — Пуно и Боливии: это наличие в фонологических системах последних ларингализованных (аспирированных и глоттализированных) смычных согласных. Вопрос об исконности ларингализации смычных неясен; некоторые авторы считают, что исходное состояние фонологической системы кечуа сохранилось в диалекте Аякучо, в диалекте же Куско аспирированные и глоттализированные согласные появились в результате воздействия субстрата аймара⁶. Но мнение об исконности фонологической системы Куско является преобладающим.

В дальнейшем под языком кечуа мы будем понимать именно «ларингализованные» южные диалекты, и в первую очередь «имперский» диалект г. Куско, наиболее полно изученный и считающийся образцовым⁷. Для

¹ См.: В. Ferrario, *La dialettologia ed i problemi interni della Runa-simi (vulgo Quechua)*, «Orbis», V, 1, 1956; J. H. Rowe, *Sound patterns in three Inca dialects*, IJAL, XVI, 3, 1950.

² См.: W. D. Reuburn, *Quechua I: phonemics*, IJAL, XX, 3, 1954; G. Orr, *Ecuador Quichua phonology*, сб. «Studies in Ecuadorian Indian languages», Norman, 1962; е е же, *Ecuador Quichua clause structure*, там же.

³ См.: E. J. Garro, *Kechuan dialect of Callejón de Huaylas*, IJAL, X, 4, 1944; G. L. Traeger, *Analysis of a Kechuan text*, IJAL, XI, 2, 1945; D. F. Solá, *Gramática del quechua de Huánuco*, Lima, 1967.

⁴ См.: G. J. Parker, *Ayacucho Quechua grammar and dictionary*, The Hague — Paris, 1969.

⁵ См.: D. A. Bravo, *El quichua santiagueño*, Tucumán, 1956; C. H. Valmorí, *El quichua santiagueño*, сб. «Actas del XXXIII congreso internacional de americanistas...», II, San José, 1959.

⁶ См.: C. Orr, R. E. Longacre, *Proto-Quechumaran*, «Language», XLIV, 3, 1968, стр. 528—530; В. Ferrario, *Указ. соч.*, стр. 463—464.

⁷ См.: J. J. von Tschudi, *Organismus der Ketsua-Sprache*, Leipzig, 1884; E. W. Middendorf, *Das Runa-simi oder die Ketsua-Sprache, wie sie gegenwärtig in der Provinz von Cusco gesprochen wird*, «Die einheimischen Sprachen Perus», 1, Leipzig, 1890; M. Yokoyma, *Outline of Kechua structure I. Morphology*, «Language», XXVII, 1—2, 1951; J. H. Rowe, *указ. соч.*, стр. 139—142; G. Dumézil, *Structure du Quechua (dialecte cuzquénien)*, «Travaux de l'Institut de linguistique», I, Paris, 1956.

сравнения будет привлекаться также материал боливийских диалектов⁸, весьма близких по грамматическому и звуковому строю к диалекту Куско.

Система фонем языка кечуа (без учета освоенных и неосвоенных заимствований из испанского языка) обычно представляется следующим образом (символами в скобках обозначены фонемы, окончательно еще не включенные в систему):

Согласные					Гласные	
<i>p</i>	<i>t</i>	<i>ɕ</i>	<i>k</i>	<i>q</i>	<i>i</i>	<i>u</i>
<i>ph</i>	<i>th</i>	<i>ɕh</i>	<i>kh</i>	<i>qh</i>	<i>a</i>	
<i>pʔ</i>	<i>tʔ</i>	<i>ɕʔ</i>	<i>kʔ</i>	<i>qʔ</i>		
<i>m</i>	<i>n</i>	<i>ɲ</i>				
	<i>l</i>	<i>ɭ</i>				
	<i>ɾ</i>					
	<i>s</i>	<i>(š)</i>	<i>(x)</i>	<i>h</i>		
<i>w</i>	<i>y</i>					

Как видно из таблицы, фонологическая система кечуа характеризуется весьма простым вокализмом и довольно богатым консонантизмом, с преобладанием оральных согласных и наличием в составе смычных аспирированного и глоттализованного коррелятивных серий. В типологической классификации фонологических систем языков Америки, предложенной Г. Милевским⁹, язык кечуа занимает место среди языков тихоокеанского типа, которые распространены на тихоокеанском побережье Северной Америки и частично в Центральной Америке. Из языков Старого Света в этом отношении с ним сходны языки Кавказа, например грузинский¹⁰.

Характер распределения звуков в речевой цепи вытекает из агглютинативной природы языка кечуа. Агглютинативным языкам вообще свойственна тенденция к равномерному распределению как согласных, так и гласных звуков в слове и в звуковой цепи. При анализе текстов на языке кечуа нетрудно установить, что в нем не допускается стечение более чем двух согласных. Что касается гласных, то в «неприкрытом» виде они встречаются только в начале слова, внутри же слова каждый слог обязательно начинается с согласного. Только в начале слова встречается и придыхание *h*.

Следует отметить, что основные дистрибуционные правила для языка кечуа в таком виде не вполне последовательны. В самом деле, в то время как закон распределения согласных охватывает всю звуковую цепь, закон распределения гласных действует лишь в пределах слова, так как на стыке слов стечение гласных оказывается возможным, например: *ɕʔuwa uɲi* «чистая вода», *phiña alqi* «злая собака», *anča alin* «очень хороший». Отсутствия стечения гласных в речевом потоке можно было бы ожидать и по общетипологическим соображениям: языки, в которых невозможно стечение гласных внутри слова, а следовательно, невозможны неприкрытые гласные внутри слова, склонны не допускать гласного начала слога в любой позиции, в том числе и в начале слова. Такой закон действует, например, в некоторых семито-хамитских языках и во многих языках Северной и Центральной Америки. Но, разумеется, эта закономерность не является

⁸ См.: A. S. Klassen et al., Quechua, сб. «Gramáticas estructurales de lenguas bolivianas», 1, Riberalta, 1965; Y. Lastra, Cochabamba Quechua syntax, The Hague — Paris, 1968; е е же, Fonemas segmentales del quechua de Cochabamba, «Thesaurus», XX, 1, Bogotá, 1965; J. Urioste, J. Herrero, Gramática de la lengua quechua, La Paz — Cochabamba, 1965.

⁹ T. Milewski, Phonological typology of American Indian languages, в кн.: «Études typologiques sur les langues indigènes de l'Amérique», Kraków, 1967.

¹⁰ См.: T. Milewski, Similarities between the Asiatic and American Indian languages, IJAL, XXVI, 4, 1960, стр. 268.

всеобщей, и поэтому проблемой начала слова в языке кечуа следует заняться более подробно.

Из общей фонетики известно, что когда начало гласного звука не прикрыто каким-либо согласным сегментом, фонация гласного может начинаться различными способами, которые называются приступами (*Einsatz, attaque, on-glide*). В зависимости от степени синхронности между движениями, вызывающими воздушную струю из гортани, и движениями, приводящими в колебание голосовые связки, обычно выделяют следующие типы приступов¹¹: 1) мягкий приступ (*leiser, Einsatz, attaque douce, soft glide*) — воздушная струя и колебания голосовых связок начинаются одновременно; 2) твердый приступ (*fester Einsatz, attaque dure, rough glide*) — глоттальная смычка опережает начало воздушного потока. При этом начало фонации сопровождается гортанным взрывом; 3) придыхательный приступ (*gehauchter Einsatz, attaque aspirée, breathed glide*) — воздушная струя опережает начало колебаний голосовых связок. В этом случае началу фонации гласного предшествует придыхание.

С чисто физиологической точки зрения эти способы начала гласных звуков совершенно равноправны. На фонетическом уровне они выделяются в особую группу фонетических средств и рассматриваются отдельно от обычных звуков речи. В то же время твердый и придыхательный приступы нередко причисляют к обычным согласным сегментам, а мягкий приступ считают нулем звука.

Сложнее обстоит дело с установлением фонемной принадлежности приступов. В различных языках сходные фонетические средства могут выполнять совершенно различную фонологическую функцию. Так, во французском языке к числу согласных фонем относят так называемое «*h* придыхательное» (*h aspiré*), которому на фонетическом уровне соответствует нуль звука (мягкий приступ)¹². С другой стороны, до сих пор окончательно не решен вопрос о фонологическом статусе твердого приступа в немецком языке¹³. Трудности, связанные с фонологическим анализом приступов, возможно, объясняются тем, что, с одной стороны, не учитывается специфика фонетической природы приступов, а с другой стороны, не уделяется должного внимания особенностям их распределения и поведения в речевом потоке.

Рассмотрим положение с приступами в языке кечуа. Если придыхательный приступ единодушно признается обычной согласной фонемой, то относительно других видов приступов нет какого-либо определенного мнения. В большинстве работ вообще ничего не говорится о характере непридыхательного гласного начала. Й. Ластра упоминает о факультативной глоттальной смычке перед начальным гласным слова, не признавая за ней фонематического статуса¹⁴. И лишь Дж. Х. Роу констатирует наличие глоттальной смычки в системе фонем кечуа, не приводя, однако,

¹¹ См., например: F. T e s c h m e r, *Phonetik*, Leipzig, 1880, стр. 45—48; H. S w e e t, *Primer of phonetics*, Oxford, 1929, стр. 53—55; R.-M. S. H e f f n e r, *General phonetics*, Madison, 1949, стр. 166—167; E. D i e t h, *Vademekum der Phonetik*, Bern, 1950, стр. 96—124; B. H a l a, M. S o v á k, *Hlas — řeč — sluch*, Praha, 1955, стр. 61—62; W. B e l a r d i, *Elementi di fonetica generale*, Roma, 1964, стр. 27—52; O. v o n E s s e n, *Allgemeine und angewandte Phonetik*, Berlin, 1966, стр. 49—51.

¹² См.: A. M a r t i n e t, *Remarques sur le système phonologique du français*, BSLP, XXXIV, 1933, стр. 201—202; B. M a l m b e r g, *Le système consonantique du français moderne*, Lund — Leipzig, 1943, стр. 40—45; H.-W. K l e i n, *Phonetik und Phonologie des heutigen Französisch*, München, 1963, стр. 27, 121—125; S. A. S c h a n e, *French phonology and morphology*, Cambridge (Mass.), 1968, стр. 7—8.

¹³ См.: W. G. M o u l t o n, *Juncture in modern standard German*, «*Language*», XXIII, 1947.

¹⁴ Y. L a s t r a, *Fonemas segmentales del quechua de Cochabamba*, стр. 52.

подтверждающих эту точку зрения доказательств¹⁵. Создается впечатление, что вопрос о начале слова в языке кечуа почти не привлекал внимания исследователей. Скорее всего, именно из-за своей слабости и неустойчивости твердый приступ не считается фонемой и обычно не обозначается ни в практической орфографии, ни в фонологической и даже в фонетической транскрипции. Вышеприведенных же соображений общетипологического порядка недостаточно, чтобы вынести окончательное решение по данному вопросу.

Поэтому пока мы будем следовать общепринятой точке зрения, согласно которой придыхательному приступу в языке кечуа соответствует ларингальная фрикативная согласная фонема /h/, а непридыхательному приступу — фонематический нуль, которому на фонетическом уровне факультативно может соответствовать как фонетический нуль, так и звуковой сегмент — глоттальная смычка. В первом случае мы будем говорить о придыхательном начале слова, во втором случае — о непридыхательном. Оба эти типа начала слова объединим под условным названием «неконсонантного» начала, в отличие от обычного консонантного.

Заметим далее, что придыхание и глоттальная смычка используются не только в начале слов в роли приступов гласных (звуковых сегментов), но и в качестве дополнительного элемента аспирированных и глоттализированных смычных согласных, которые мы объединили в одну группу — ларингализованных. На фонологическом уровне придыхание и глоттальная смычка в данном случае выступают в роли дифференциальных признаков, несмотря на свою относительную линейность.

Обращает на себя внимание тот факт, что при почти полной идентичности звукового состава слов в различных диалектах кечуа наблюдается известный разноречивый в использовании признаков аспирации и глоттализации. Там, где в одном диалекте в данном слове имеется чистый смычный, в другом диалекте на его месте нередко выступает аспирированный или глоттализированный. Нередко имеет место также замена глоттализации аспирацией и наоборот. Диалектам Боливии свойственна тенденция к более широкому использованию ларингализованных согласных, что объясняется, по-видимому, более интенсивным влиянием языка аймара. Примеры на различные случаи употребления ларингальных признаков:

Куско	Боливия	
<i>maskay, maskhay</i>	<i>maskʔayʃ</i>	«искать»
<i>quča</i>	<i>qhuča</i>	«озеро»
<i>qapariy</i>	<i>qhapariy</i>	«кричать»
<i>yargha</i>	<i>largʔa</i>	«соросительный канал»
<i>qatiy</i>	<i>qhatiy</i>	«следовать»
<i>qʔučiuy</i>	<i>qhučiuy</i>	«веселиться»

Более интересна другая особенность ларингализованных согласных, связанная с их распределением. Она заключается в том, что ларингализованные согласные могут встречаться в слове только один раз, причем ларингализационные признаки закреплены за первой по порядку смычной фонемой в слове¹⁶. Но и неконсонантное начало слога также возможно в слове не более одного раза, и встречается оно также только в начале слова. Отсюда естественно возникает вопрос: не существует ли какой-либо связи между типом неконсонантного начала слова и типом ларингализации смычного?

¹⁵ J. H. Rowe, указ. соч., стр. 139.

¹⁶ См.: C. Orr, R. E. Longacre, указ. соч., стр. 529—530; J. H. Rowe, указ. соч., стр. 139—140.

Прежде всего заметим, что как придыхательное, так и непридыхательное начало слова вполне совместимы с чистыми смычными внутри слова: *hatun* «большой», *aqi* «песок», *haku* «пойдем!», *ari* «господин» и т. п. Этого нельзя сказать о ларингализованных смычных. В дополнение к уже известному закону несовместимости нескольких ларингализованных смычных в пределах слова, устанавливаются следующие закономерности: 1) придыхательное неконсонантное начало слова совместимо с глоттализованными, но несовместимо с аспирированными согласными внутри слова; 2) непридыхательное неконсонантное начало слова совместимо с аспирированными, но несовместимо с глоттализованными смычными внутри слова.

Закономерности станут очевидными, если сравнить некоторые слова с неконсонантным началом в диалектах Куско и Боливии, различающиеся лишь наличием или отсутствием признаков ларингализации у согласных. Примеры на субституцию простого смычного глоттализованным:

Куско	Боливия	
<i>aʎpa, haʎpʔa</i>	<i>haʎpʔa</i>	«земля»
<i>uʎuy</i>	<i>hiʎʔuy</i>	«маленький»
<i>isqun</i>	<i>hiʂqʔun</i>	«девять»
<i>amaʒay</i>	<i>hamaʒʔay</i>	«защищать»
<i>uraykuy</i>	<i>huraykʔuy</i>	«опускать»

В этих случаях появление начального *h* вызвано субституцией простого смычного глоттализованным, поскольку наличие или отсутствие начального придыхания не оказывает влияния на простые смычные в слове.

Примеры на субституцию простого смычного придыхательным:

Куско	Боливия	
<i>huqariy</i>	<i>uqhariy</i>	«поднимать»
<i>hurquy</i>	<i>urqhuy</i>	«вынимать»
<i>hatun</i>	<i>hatun, athun</i>	«большой»

В этих случаях замена простого смычного в слове приводит к исчезновению начального придыхания.

Посмотрим теперь, каким образом язык кечуа усваивает из языка аймара слова, строение которых противоречит рассматриваемым законам несовместимости:

аймара	кечуа (различные диалекты)	
<i>amawtʔa</i>	<i>amawta, hamawtʔa</i>	«мудрец»
<i>hiʒhu</i>	<i>iʒhu, hiʒu</i>	«степная трава, сено»
<i>amanqʔaya</i>	<i>amanqay, hamanqʔay</i>	«растение типа лилии»
<i>irqʔi</i>	<i>irqi, hirqʔi</i>	«ребенок»

Как видно из этих примеров, нарушения законов несовместимости могут устраняться двумя путями: либо исчезает ларингализация согласного, либо добавляется или устраняется (в зависимости от обстоятельств) начальное придыхание.

Наконец, характерно появление начального придыхания в связи с субституцией простого смычного глоттализованным при заимствовании испанского слова *azote* «бич, бичевание»: *azote* → *hasutʔi*. Если обозначить придыхательное начало слова через *h_i*, непридыхательное начало — ϕ_i , аспирированные и глоттализованные согласные — соответственно *Sh* и *Sʔ*, то установленные закономерности можно представить следующим образом:

$$\begin{array}{l} \exists Ch_1 \rightarrow \bar{\exists} Ch_2 \quad \exists Ch \rightarrow \bar{\exists} h_i \\ \exists C_1^? \rightarrow \bar{\exists} C_2^? \quad \exists C^? \rightarrow \bar{\exists} \phi_i \end{array}$$

В этих отношениях обращает на себя внимание следующее.

Во-первых, несомненная связь между законом несовместимости придыхательных смычных и законом несовместимости глоттализированных смычных в пределах одного слова. По-видимому, как придыхание, так и глоттальная смычка, будучи дифференциальными признаками согласных фонем, в данном случае ведут себя одинаково, и эти два закона можно представить как частные случаи одного общего закона: в пределах слова возможно наличие не более одной ларингализованной согласной фонемы.

Во-вторых, аналогичная связь между законом несовместимости нескольких придыхательных смычных в слове и законом несовместимости придыхательного начала слова с придыхательными смычными в слове. Это свидетельствует о том, что придыхание может встречаться в слове не более одного раза, независимо от того, является ли оно сегментной фонемой или же дифференциальным признаком согласной фонемы.

С другой стороны, трудно объяснить, почему непридыхательное (т. е. неприкрытое гласное) начало слова несовместимо с наличием глоттализированных смычных внутри слова. Но если учесть только что приведенные закономерности и аналогии, то сам собой напрашивается вывод, что здесь снова проявляется общая тенденция к несовместимости нескольких однотипных ларингальных артикуляций в слове. «Нетерпимость» глоттализированных согласных к непридыхательному гласному началу слова объясняется тем, что в действительности мы имеем дело не с неприкрытой гласной фонемой, а с гласной фонемой, прикрытой фонематической глоттальной смычкой. Закон несовместимости начальной глоттальной смычки с глоттализированными смычными в слове, с одной стороны, аналогичен закону несовместимости нескольких глоттализированных согласных, а с другой стороны — закону несовместимости начального придыхания с придыхательными согласными. Тогда приведенные выше отношения можно переписать следующим образом:

$$\begin{array}{l} \exists Ch_1 \rightarrow \exists Ch_2 \quad \exists Ch \rightarrow \bar{\exists} h_i^? \\ \exists C_1^? \rightarrow \bar{\exists} C_2^? \quad \bar{\exists} C^? \rightarrow \bar{\exists} i^? \end{array}$$

На примере языка кечуа мы еще раз убеждаемся, насколько важно при идентификации фонем учитывать функциональный аспект. Вспомним еще раз французское «*h aspiré*», которое вообще не имеет материального выражения, но благодаря особенностям своего поведения в речевом потоке и по влиянию, оказываемому на другие фонемы, выделяется в согласную фонему, пусть даже «пустую» или «призрачную». В нашем случае выделения дополнительной согласной фонемы — глоттальной смычки — требует тесная связь между различными типами ларингальных артикуляций в слове и весь характер фонологической системы кечуа. К такому выводу мы неизбежно пришли бы на основании одних лишь законов несовместимости ларингальных артикуляций, даже если бы нам ничего не было известно о физической природе непридыхательного гласного начала слова. И хотя физическая реализация начальной глоттальной смычки факультативна, на фонологическом уровне она всегда присутствует там, где начало слова не прикрыто каким-либо другим согласным сегментом. Неустойчивость же её объясняется тем, что твердый приступ в языке кечуа не противопоставляется мягкому приступу, как это имеет место, например, в полинезийских языках (ср. гавайские ¹⁷ *ao* «дневной свет», *a'o* «учение», *'ao* «от-

¹⁷ М. К. Pukui, S. H. Elbert, Hawaiian-English dictionary, Honolulu, 1957, стр. 24—25.

росток, побег», *ʔaʔo* «вид морской птицы»). Возможно, это связано также с начавшимся процессом деларингализации, который в некоторых диалектах зашел довольно далеко (в диалекте Сантьяго-дель-Эстеро не только исчезла ларингализация согласных, но и исчезло начальное придыхание, а в связи с выпадением некоторых звуков стало возможным стечение гласных в слове: *hatun* «большой» → *atun*, *phaway* «лететь» → *paay*). В настоящее же время на фонематическом уровне в языке кечуа возможно только открытое, согласное начало слога и слова.

Таким образом, в дополнение к ларингальной фрикативной фонеме /h/ в систему фонем языка кечуа вводится еще одна фонема — ларингальная смычная /ʔ/. Эти две фонемы образуют пару и противопоставляются всем остальным согласным фонемам не только по дифференциальным признакам, но и по особенностям своего функционирования и распределения, поскольку их употребление ограничивается позицией начала слова. Теперь основные дистрибуционные законы для языка кечуа обретут законченность и последовательность; они будут выглядеть следующим образом: 1) в звуковой цепи невозможно стечение более чем двух согласных; 2) в звуковой цепи невозможно стечение гласных; 3) в пределах слова невозможно наличие более чем одной однотипной ларингальной или ларингализованной артикуляции.

В связи с установленными выше особенностями ларингализации в языке кечуа возникает целый ряд интересных проблем. Неустойчивость ларингальных артикуляций, их подвижность, а главное — однократное употребление в слове наводят на мысль о том, что ларингализация в данном случае характеризует не только согласные фонемы, но и целые слова. Можно сказать, что в языке кечуа неларингализованные слова противопоставляются ларингализованным, причем в последних ларингализация выполняет кульминативную функцию, в известной степени аналогичную функции фонематического ударения (обычное динамическое ударение в языке кечуа почти всегда приходится на предпоследний слог слова и не является словоразличительным). Очевидна также делимитативная функция ларингализации: сегментные придыхание и глоттальная смычка служат сигналами начала слова, а аспирация и глоттализация согласных являются дополнительным средством разграничения корня и аффиксов, поскольку они возможны только в корнях. В связи с общей неразработанностью проблемы просодических средств эти вопросы требуют более подробного рассмотрения и должны явиться предметом специального исследования.

А. Н. КАЧАЛКИН

ПАМЯТНИКИ МЕСТНОЙ ДЕЛОВОЙ ПИСЬМЕННОСТИ XVII в.
КАК ИСТОЧНИК ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ

1. Приказно-деловой язык XVII в., начала «нового периода русской истории»¹, на который приходится начальный этап формирования языка русской нации, весьма интересен для целей исторической лексикологии. В это время «с расширением круга производств и ремесел, с развитием техники и культуры все расширяются функции деловой речи». «...деловая речь, по крайней мере в известной части своих жанров, уже выступает как один из важных и активных стилей народно-литературного типа языка» — писал В. В. Виноградов². На важную роль приказного языка XVII в. в складывании общелитературной нормы указывал и Б. А. Ларин, одновременно обращая внимание на местные особенности этого языка в деловых бумагах провинциальных канцелярий³. Отраженные в деловых памятниках особенности живых диалектов XVII в. — это богатейший материал для изучения семантической эволюции и географии слов, причем памятники XVII в. тем более ценны, что они сохранились до нас в объеме, превышающем материалы предшествующих столетий вместе взятых. Достоинства этих документов продемонстрированы и доказаны в немногочисленных диссертациях, статьях и в наиболее крупном сочинении в области русской исторической лексикологии этого периода — книге С. И. Коткова⁴.

Часть этого материала опубликована или описана. Документы, связанные происхождением с определенной территорией, публикуются в течение последнего десятилетия в сборниках по лингвистическому источниковедению; там же даются аннотации некоторым фондам центральных и местных учреждений (Н. С. Коткова⁵, Т. С. Оловенникова, З. Д. Попова, В. А. Скогорев и В. И. Собинникова⁶, отдельным типам местных памятников (Г. А. Хабургаев⁷). И все же богатый и разнообразный актовый материал центральных и местных древлехранилищ в своем преобладающем большинстве пока остается не введенным в научный оборот, что не может не сказаться отрицательно на возможностях исторической лексикологии и вообще истории языка при поисках новых решений, формулировании некоторых положений и обобщений.

В данной статье мы стремимся привлечь внимание лингвистов к еще не описанным и не разработанным документам местного происхождения, выявленным нами в процессе работы над фондами центральных архивов, библиотек и музеев. Свою задачу мы видим не в том, чтобы отделить опубли-

¹ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., I, стр. 153.

² В. В. Виноградов, Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка, М., 1958, стр. 95.

³ Б. А. Ларин, Разговорный язык Московской Руси, сб. «Начальный этап формирования русского национального языка», Л., 1963.

⁴ С. И. Котков, Очерки по лексике южновеликорусской письменности XVI—XVIII веков, М., 1970. Там же см. указания на литературу.

⁵ «Источниковедение и история русского языка», М., 1964.

⁶ «Исследования источников по истории русского языка и письменности», М., 1966.

⁷ «Изучение русского языка и источниковедение», М., 1969.

ликованные памятники от неопубликованных (даже предварительное знакомство с фондами позволяет говорить, что большая — примерно 90% — часть документов не опубликована и не описана), а в том, чтобы сообщить о существовании богатых местными материалами фондов, указать на возможности изучения местного варианта приказно-делового языка и через его посредство местного говора определенной территории России XVII в.

Местным документам уцелеть до наших дней было труднее, чем центральным — внимание хранителей обычно привлекали внушительной внешности царские грамоты и указы. В архивах нередко встречаются «местные» фонды, которые почти целиком состоят из приказных документов Москвы, адресованных этому городу, а следов местной писчей работы обнаружить в таких фондах иногда не удастся совсем. Но сожалея об утраченных памятниках, мы тем большее значение придаем сохранившимся, особенно в тех случаях, когда это не разрозненные отрывки, а целые фонды местных учреждений. Они, отражая в своей совокупности те или иные языковые явления, позволяют с большей достоверностью квалифицировать некоторые из них как местные. И хотя до завершения источниковедческой работы в этом направлении еще далеко, все же уже сейчас представляется целесообразным воссоздать общую картину определенных фондов и типов памятников. Демонстрация территориального распространения групп памятников позволит увереннее судить об имеющихся возможностях изучения русского языка, его словарного состава в историко-географическом плане.

Очевидно, что фонды неисследованных рукописей прежде всего необходимо соотнести с материалами наиболее богатого собрания старорусских слов — Картотеки Древнерусского словаря (далее КДРС). Это тем более своевременно, что в последние годы распространилось мнение, согласно которому для успешного ведения исследований в области исторической лексикологии возникает «настоятельная необходимость... пользоваться лексическими богатствами Картотеки Древнерусского словаря с дополнительной выпиской материалов из опубликованных письменных памятников»⁸.

Позволительно будет напомнить, что в 1925 г. ОРЯС поддержало предложение А. И. Соболевского о создании «словаря древнего и старого языка» и с этого момента началась работа по определению круга источников, составлению картотеки и самого словаря. Особенно выросла картотека в 30-е годы, когда работу над древнерусским словарем возглавил Б. А. Ларин. К настоящему времени картотека, пополняющаяся в течение уже почти полувека, насчитывает около полутора миллионов карточек⁹.

Сотрудники картотеки указывают, что «XVII век представляют 495 памятников. Это важнейшие тексты юридического характера, акты, переписные, приходно-расходные и другие книги, статейные списки, письма, повести, жития, летописи. 145 источников XVII века — рукописи, среди них преобладают деловые документы, имеются также повести, жития и другие памятники... По территориальной приуроченности памятники

⁸ Б. Л. Богородский, Русская судоходная терминология в историческом аспекте. Автореф. докт. диссерт., Л., 1964, стр. 12.

⁹ Местные памятники делового языка, опубликованные до революции и до 30-х годов XX в., почти полностью вошли в список источников ДРС. Документы, изданные после 30-х годов, расписаны в картотеке лишь частично. Публикации советского периода и исследования по языку деловых памятников XVII в. отражены в книгах «Славянское языкознание. Библиографический указатель литературы, изданной в СССР», М., 1963, т. I, стр. 75—77; т. II, стр. 78, 101—103 и «Славянское языкознание. Библиографический указатель литературы, изданной в СССР с 1961 по 1965 гг.», М., 1969, стр. 115—116.

XVII века относятся преимущественно к северным и северо-западным территориям, и кроме того, к Москве. Ряд памятников принадлежит территории Сибири. Памятников, приуроченных к южнорусской области, немного. Это в основном издания рязанских и воронежских актов и „Донские дела“¹⁰.

Для наших целей из перечисленных типов памятников особенно интересны документы делового содержания. Местные деловые памятники, входящие в общий список источников картотеки, мы расклассифицировали по жанрам (видам, типам) и отнесли к определенной территории. Подобная же операция была проделана с памятниками, не вошедшими в круг источников ДРС, но известными нам по центральному древлехранилищам страны. В результате этой работы получились карты, прилагаемые к данной статье.

В ходе работы выяснилось, что расписанные в КДРС местные памятники XVII в. весьма неравноценны по объему и содержанию: это может быть и сборник актов, объединяющий до сотни и даже более документов («Переписные книги Ниловой Столбенской пустыни», «Акты Кирило-Белозерского монастыря»), и один листок, уцелевший от большого дела, например «явочная челобитная смольнянина Антона Коротнева». Обнаружилось также, что учесть весь местный материал, вошедший в КДРС, не удастся, поскольку в списке источников словаря не имеют специального наименования те отдельные локальные памятники, которые взяты из сводов документов типа Актов исторических, Дополнений к актам историческим, Актов Археографической экспедиции и им подобных. Однако учесть все местные документы не представляется возможным и по архивам (в библиотеках и музеях, где памятников значительно меньше, этот вопрос решается проще): зачастую интересные документы безусловно местного происхождения заключены в связки центральных бумаг и могут быть обнаружены лишь при тщательном обследовании фондов центральных учреждений, что является самостоятельной и многотрудной задачей. Поэтому на первом этапе поиска местных памятников могла идти речь не об учете каждого отдельного документа, но о выявлении и сопоставлении тематически однородных групп документов, написанных в старорусских учреждениях на разной территории.

Отказавшись от учета каждого документа, мы старались вместе с тем собрать по возможности полные сведения по делопроизводству того или иного местного учреждения. Значительные затруднения при этом вызывает то обстоятельство, что однородные документы хранятся нередко в разных фондах, так сказать, «по традиции» лежат в делах того Приказа, куда они были затребованы еще в XVII в. Таможенные книги — документы, безусловно, местные. Хотя архивисты ЦГАДА и постарались не так давно свести их в общем фонде Таможен (№ 827), получилось, что в этот фонд попали книги преимущественно двух последних десятилетий XVII в. и многие книги XVIII в. Наиболее интересные, ранние Таможенные книги до сих пор рассеяны по разным фондам и встречаются то среди Боярских и городских книг (ф. 137), то в делах Владимирской, Галичской, или Новгородской, или Устюжской четвертей (ф. 215—217, 219). Общие принципы подбора документов для использования их историками (тема документов, их содержание, но не московская или диалектная принадлежность их авторов) также не способствуют легкому выявлению памятников, полезных для лингвистических исследований.

¹⁰ «Картотека древнерусского словаря», в сб. «Лингвистические источники», М., 1967, стр. 107.

После учета местных памятников стало очевидным, что они делятся на две большие группы, первую из которых представляют документы, написанные на местах московскими людьми, по инициативе Центра и для Центра, но по необходимости с привлечением местных людей. Вторую представляют бумаги, составленные местными дьячками, подьячими, грамотными старостами, выборными из местного населения таможенными и кабацкими головами. Лишь последние можно считать местными в собственном смысле слова¹¹.

2. На карту 1 нанесены сведения о памятниках первой группы — писцовых, межевых, дозорных и переписных книгах.

Писцовые книги — это сводные документы хозяйственных описаний, время от времени проводившихся в России¹². Наиболее широкими были описания 1638 и 1684—1685 гг., и за эти годы писцовые книги сохранились почти по всем территориям. Московские писцы, посланные на места, посредством этих книг доставляли правительству сведения о землях и угодьях определенного города или уезда, о жителях города и о лежащих на них повинностях. В писцовых книгах определялись границы городских владений, отдельных лиц и поселений на территории уезда.

В КДРС расписано немало опубликованных писцовых книг — они содержат описание следующих городов (или их уездов): Арзамас, Балахна, Валуйки, Верхотурье, Воронеж, Казань, Кунгур, Нижний Новгород, Рязань, Соль Камская, Тамбов, Углич, Устюг Великий, Хлынов (Вятка), Ярославль. Карта 1 позволяет представить, по каким территориям сохранились рукописи писцовых книг (всего отмечено 119 населенных пунктов). Особенно богато представлены памятниками этого жанра Галич, Кострома, Новгород, Псков, Рязань, Юрьев-Польский и Ярославль.

В период между общими описаниями земель для уточнения границ того или иного уезда, из-за изменения количества населения в нем после войны, а также при описании территории, впервые присоединенной к Русскому государству, составлялись дозорные книги. По существу (в жанровом отношении) это те же писцовые книги; они отличались от них не содержанием, но причиной составления. Особенно много дозорных книг появилось в период после Смутного времени, когда в «дозоре», переписи нуждались разоренные интервенцией не только окраинные, но и многие центральные земли. В дополнение к использованным КДРС дозорным книгам по Воронежу, Твери и Осинскому (возле Перми) уезду, укажем книги еще по 68 пунктам, отметив, что более всего их сохранилось по землям Вологды, Устюга Великого, Рязани, Нижнего Новгорода, Тулы, Каширы и Коломны.

XVII в. оставил немало и межевых книг различных территорий. Если в Москву поступала жалоба о нарушении границ земельных владений, если нужно было разрешить тяжбу между местными помещиками и монастырями, из московского Поместного приказа приезжал дьяк или иной представитель. Материалы разбора дела, подробнейшие описания границ (меж) земельных участков и составляют основное содержание межевых книг. Особенно много этих документов по Мценску, Ряжску, Рязани, Солове; полнее всех других жанров сохранились они по землям Владимира, Венева, Воротынска, Деилова, Ельца, Епифани, Серпухова, Суздаля, Перемышля и др. Всего этот тип книг отмечен для 106 пунктов; в КДРС он представлен Арзамасом, Воронежем, Кунгуром и Ярославлем.

¹¹ Обычно эти две группы в исторических и лингвистических исследованиях рассматриваются недифференцированно. При этом не разграничивается весьма определенная специфика этих документов.

¹² Ср.: И. С. Филиппова, К лингвистическому изучению писцовых книг, сб. «Источниковедение и история русского языка», М., 1964, стр. 173—189.

Нередко бывало, что одни и те же люди одновременно с описанием земель занимались и их межеванием. В таких случаях появлялись книги, называвшиеся «п и с ц о в ы е и м е ж е в ы е»; содержание их аналогично книгам соответствующего типа. В КДРС эти книги не представлены; фонды древлехранилищ указывают их для 42 пунктов.

Основной задачей п е р е п и с н ы х книг был учет жителей определенного населенного пункта или целого уезда. Типичная переписная книга ограничивается лишь переписью посадских, жилецких, служилых людей городов и уездов, ничего не сообщая о постройках и землях. В книге, как правило, указывается место рождения человека («родина отца»), перечисляются сведения о детях, об источниках доходов, о промыслах дворохозяев, о возложенных на них обязанностях или оброке. КДРС включает лексику из переписных книг по Арзамасу, Ладогe, Ростову, Ярославлю, Новгороду и Нижнему Новгороду. Центральные архивы и библиотеки имеют такие книги по 138 пунктам; более всего они сохранились по Арзамасу, Боровску, Брянску, Вологде, Галичу, Казани, Торопцу и Устюгу Великому.

Таковы наиболее распространенные типы книг, составленных московскими писцами с участием местных грамотных людей. По инициативе Москвы создавались также крестоприводные и шертовальные книги. В жанровом отношении они ближе всего к переписным книгам, ибо представляют собой списки русского или иноземного населения, приводимого к присяге новым царям, однако в них не встречаются сведения о промыслах, возможные в переписных книгах. Этих книг сохранилось сравнительно немного, мы оставили их за пределами описания и карты.

3. Что касается памятников собственно местного происхождения, то в XVII в. на отдельных территориях встречается до пятидесяти (по назначению, а иногда и по самоназванию) типов деловых документов, написанных в том или ином провинциальном учреждении. На карте 2 представлены сохранившиеся фонды трех местных учреждений: приказных, земских и губных изб.

Делопроизводство на местах велось в приказных избах, которые назывались в XVII в. еще и воеводскими, съезжими или (изредка) схожими. Мирские, общинные дела вершились в земских избах, судопроизводство — в избах губных. Правда, взаимоотношения между приказными и губными избами в отношении судебных дел не совсем ясны — судить мог и воевода и губной староста. Большинство судебных дел отложилось в делах приказных изб. Назовем и еще одно местное учреждение с обилием письменной работы — таможни.

Приказная изба была центром управления уезда, ее возглавлял воевода — главный администратор уезда¹³. В Избе приобретали юридическую силу сделки между отдельными людьми. В делах приказных изб много разного рода записей, из которых чаще всего встречаются купчие, порядные, подможные, сговорные, сдаточные, меновные. Все эти записи производились в Избе в присутствии свидетелей. В порядных записях фиксировалось обязательство того или иного лица на выполнение мастерового дела или какой-нибудь другой работы. В обязательстве указывалось, кто, к кому, на какой срок и на какую именно подрядился работу. Порядной записи могла сопутствовать еще и подможная. В ней записывались условия о подмоге (помощи). Сговорные записи содержали в себе свадебные обязательства родителей невесты, перечни приданого. В разновидности сговорных записей — рядных — перечислялись обычно и вещи, и земель-

¹³ О местных учреждениях специально см.: «Очерки истории СССР. Период феодализма, XVII век», М., 1955, стр. 384.

ные владения с находящимися в них крепостными. Купчие и меновные записи закрепляли акт продажи или перехода земли из одних рук в другие.

В приказных избах накапливались различные кабальные грамоты: закладные, выкупные, заемные и служилые. В Избе сохранялись и разного рода отписи, которыми назывались в то время расписки в получении денег, хлеба и вообще всякого имущества.

В фондах приказных изб сохранилось по несколько расписных списков, называвшихся иначе городовыми описями или приемными описями города. Вступая в должность, новый воевода принимал у своего предшественника полный перечень городских строений, укреплений, сведения о военных запасах, описания посадских дворов, отчеты о приходе и расходе денежной казны. В конце каждого года воевода составлял сметную книгу — своеобразный отчет о состоянии управляемого им города, например: «Город Переславль-Рязанский острог ставлен и башни рублены в дубовом лесу острог городской крыт был тесом а крышка вся огнила и буркою раскрыло весь без остатку коровати и лесницы ветхи погнили все взайти по ним нельзя...»¹⁴.

В принципе любой документ местного делопроизводства мог быть затребован в Москву. Но были среди них такие, посредством которых воевода постоянно общался с ведавшим им московским приказом. Таковы воеводские отписки, пожалуй, самый распространенный тип сохранившихся деловых документов. В фондах приказных изб встречаются черновики воеводских отписок, а белый экземпляр сохраняется в делах определенного приказа, чаще всего Разрядного. В отписках получали отражение разнообразные стороны местной жизни: в них сообщалось об охране города и уезда, описывались текущие события, чрезвычайные происшествия (внезапные нападения врага, пожары, повальные болезни) и их последствия.

Из приказных изб в Москву посылались также обыскные книги — отчеты по делу, установленному московской сыскальной грамотой, которая обязывала выяснить, можно ли отдать определенную землю в поместье. Обыскные книги содержат точные и подробные сведения о земле, заинтересовавшей Москву.

Составители КДРС называют материалы Астраханской, Белозерской, Дедиловской, Новгородской приказных изб и Черкасского войскового круга. Представляется возможным указать на фонды еще девяноста таких местных учреждений, из которых наиболее богато документированы Владимирская, Арзамасская, Вяземская, Каширская, Угличская, Шацкая и Темниковская приказные избы. Несколько меньше приказных документов сохранилось по Бежецкой, Курмышской, Можайской и Путивльской избам; но эти фонды, как и предыдущие, предоставляют в распоряжение исследователя памятники разнообразных жанров, написанные в разные, в том числе и наиболее ранние годы XVII в.

И в приказных, и в губных избах вершились «судные дела». Такое дело начиналось с явочных или исковых челобитных потерпевших или же по извету правительственных чинов: старост, десятников. В столбце судебного дела — обязательные «приводы», «сыски», «распросные речи», «очные ставки», «наказные памяти» приставам, «доезды» приставов и некоторые другие документы. «Доезды» представляют собой своеобразные отчеты по результатам поездки пристава или просто местного дьячка об обстоятельствах судебного дела: результаты обследования границ между поместьями, проверки доносов, допросов «оговорного человека». Доку-

¹⁴ ЦГАДА, ф. 210, Разр. вяз., ед. хр. 10169, л. 23.

менты губных изб, к сожалению, сохранились (или лишь нам известны) только по Белоозеру, Кашире и Угличу.

Жанры документов других местных учреждений — земских изб — менее разнообразны. На обязанности земских изб лежало управление своим посадом или волостью, сбор налогов; на земских сходах решались разнообразные общинные дела. От делопроизводства этих учреждений сохранились записи выборов посадских людей для исполнения различных мирских дел, приговоры местных жителей «в земской избе на сходе» о разделах земли, сенных покосов, отхожих лугов, досмотры по жалобам посадских людей и крестьян, окладные земские книги с описанием дворов и обозначением платежей. Богато представлены документами земские избы Вязьмы, Дмитрова, Кинешмы, Муром; сохранились отдельные записи и приговоры по городам Большие Соли, Углич, Юрьевец, Ярославль. Материалы губных и земских изб почти не известны в науке, они практически не публиковались; в КДРС отражения не получили.

В любое из названных местных учреждений могли быть поданы челобитные — прошения на имя царя или местных властей. Челобитные подавались по самым разнообразным поводам: в связи с убийствами, грабежами, поджогами, незаконным захватом земли; в челобитных содержались жалобы на неплательщиков долга, просьбы о наделении поместьями, денежным жалованием, о сыске беглых крестьян и т. п. Именно в челобитных (и еще отписках воевод) получала наиболее яркое отражение повседневная жизнь провинциальных городов.

В приказных, земских избах и в монастырях велись приходно-расходные книги. В них есть сведения о крестьянских промыслах, о расчетах с наемными мастеровыми людьми, о покупке продуктов и товаров у местного населения на ярмарках и в Москве. Приходная часть книг тематически менее интересна: в ней перечисляются принятые суммы оброчных денег с пашен, лугов и различных угодий, таможенных пошлин, «банных денег». Не слишком богата в этом плане та расходная часть, где говорится о так называемых «окладных расходах» на денежное жалование служилым людям, оброчникам и т. п. Наиболее содержательна в тематическом отношении часть, называющая «неокладные расходы»: на постройку судов, на обстановку съезжей избы, на различные поделки для города. Гораздо однообразнее тематически другие приходо-расходные книги, часто встречающиеся в местных фондах — хлебные и соляные.

Отразить на карте все жанровое многообразие местных памятников сейчас не представляется возможным. Сама жанровая классификация — вопрос очень сложный. Во всяком случае документов разных типов много, а кроме того, мы еще не достаточно подробно знаем фонд каждого местного учреждения. Проба, однако, все же была сделана: на карте 2 мы указали на сохранившиеся по разным территориям документы двух типов — таможенные и отказные книги.

Таможенные книги состоят из перечней разнообразных товаров, привозимых на местные ярмарки, «явок» местных и приезжих людей. Иногда от книг сохранились лишь копии выписей, данных иногородним купцам по предъявлении товаров на таможне. Таможенные книги велись выборным из местных посадских людей — таможенным головой или его помощником — целовальником.

Отказные книги — акты на владение землей. Ими удостоверялось право того или иного лица на владение земельным угодьем, поэтому при отказе необходимо было точно указать и описать границы данного угодья, сообщить его природные и искусственные межевые приметы¹⁵.

¹⁵ Подробнее о документах этого жанра см.: С. И. Котков, Отказные книги, ВЯ, 1969, 1, стр. 131.

Отмеченные на картах фонды различны по объему и в определенной мере разнородны: содержат разнотипные документы. Конечно, это обстоятельство досадное, ибо оно не позволяет до конца последовательно провести сопоставление документов, но разнородность материала — вообще известное препятствие на путях исторических исследований.

4. Лексическая информативность перечисленных памятников неодинакова.

Среди деловых документов, составленных на периферии московскими людьми с участием местных жителей, лексически наиболее информативны писцовые книги. Внешне однообразные перечни предметов и списки людей на самом деле предоставляют исследователю богатый лексический материал. В связи с описанием городов в писцовых книгах получали широкое отражение названия частей города, городских укреплений и построек, видов вооружения, административных учреждений, торговых мест, пригородных владений. Списки людей сопровождаются указанием на род их занятий, а это влечет отражение ремесленной терминологии: названий профессий, ремесленных заведений, инструментов и орудий производства, изделий, предметов торговли. Описание земельных владений дает богатую географическую номенклатуру, названия естественных и искусственных примет для обозначения границ огородов, пожен, сенокосов и др.

Поскольку описание новых земель и исправление старых писцовых книг осуществлялось под руководством московских людей (окольничих, стольников или дворян), в документах такого жанра нельзя ожидать сколько-либо значительного отражения местной терминологии. Обратим, однако, внимание на следующее обстоятельство: по ряду территорий сохранились черновые («черные») писцовые книги, составлявшиеся на местах, и «белые», подававшиеся непосредственно в московские приказы, ведавшие территориями, на которой проводилось описание. Сопоставление двух вариантов позволяет убедиться, что в терминологических названиях пахотных земель, сенокосных угодий, лесных участков есть некоторые различия, обусловленные, по-видимому, тем, что непосредственно в уезде в составлении писцовой книги принимали участие местные люди (дьячки, подьячие, грамотные старосты и др.). Заметим все же, что число таких различий невелико.

Основное достоинство писцовых книг в отношении местного материала — сообщение ими богатейших сведений по топонимике и ономастике: разнообразнейших названий деревень, сел и селец, слобод, острогов, починков, урочищ, пожен, различных имен и фамилий, любопытных прозвищ. Интересно, что в ряде писцовых книг встречается два названия населенных пунктов: церковное и местное. Дозорные книги по лексическому содержанию аналогичны писцовым. В межевых книгах несколько подробнее, чем в писцовых, представлены названия особенностей ландшафта, земельных угодий и предметов, служивших указателями границ земель разных владельцев. Переписные книги дают, подобно писцовым, интересные сведения о промыслах (*мыльной, чарочной*) и источниках дохода переписных людей (*прасолит рыбою, кормитца торжишком, шьет портное*), но в целом лексика в них представлена беднее, чем в писцовых, и лингвиста здесь привлекает в первую очередь богатейший ономастический материал. Прозвищные наименования лиц, возникавшие в живой народной речи, могут послужить хорошим дополнительным источником для исторической лексикологии.

Что касается памятников собственно местного происхождения, то не приходится возлагать большие надежды на любой из них. Из-под пера местного писца появлялось немало документов чисто канцелярского свойства: книги записей челобитных, вершеных и невершеных дел; росписи судных и на-

местных дел при воеводах и т. п. С другой стороны, можно заметить, что к XVII в. уже сложились определенные типы местного делопроизводства как по форме, так и по содержанию. Таковы расписки, жилые, кормежные, меновные, наемные памяти. В плане диалектной лексики они наименее информативны, тем более что смысловое задание этих документов не предполагает обширного перечня реалий. Такими перечнями очень богаты приходо-расходные и сметные книги, расписные списки городов, росписи и описи дворов и имущества.

В приходно-расходных книгах широко представлена разнообразная хозяйственная лексика: названия продуктов питания, разного назначения посуды и утвари, одежды, обуви, тканей и материалов, мелких предметов домашнего обихода, названия людей по профессии и т. п. Бытовая лексика. Так, например, в рязанских расходных книгах встречаем слова: *бадян, бакан, балатон, бегауль, бобровник, бродник, бредник, бураец, бурачок, варега, варница, вертловый, возжа, возенка, волок, воровина, вопище, вошва, гвоздарь, голица, голочичник, головица, двакольный, десть, драница, дрань, епанча, ендова, житник, зажилое, закрепа, запон, зернятный, извара, кадь, кумганец, корец, комяга, камка, курпай, лагун, лапотница, ловчанин, ложкомой, лоскота, луданый, медведна, мень, мучня* и др.

Названия людей по профессиям и отчасти бытовую лексику можно встретить и в расписных списках городов, но в них будут особенно заметны слои военной терминологии, лексики строительства, «городового дела». Ср. наиболее часто встречающиеся слова в расписном списке Кострома: *беглый, корчемник, волконейка, затинный, започный, зелье, камень, копейщик, коробь, кремль, кровля, кружало, мост, мыльник, недоросль, перекрутка, пицаль, пленник, плотник, подрядчик, посад, пристав, пушечный, припас, приказная изба, разборщик, рейтар, ров, сборщик, свинец, станок, строенье, татиный, ядро* и др.

Если приходно-расходные, таможенные, описные книги, расписные списки лишь упоминают, называют слово, дают его в перечне других, то в челобитных, и особенно в расспросных речах, такое слово выступает обычно в широком контексте. Приведем здесь в качестве примера употребление слова *повалуша* в документе Каширской приказной избы. Роспись имущества: «Хором моих горница с комнатою на жилых подклетах сени да *повалуша* цена *ѳ* рублей *ѳ* алтын *Д* деньги»¹⁶. Явочная челобитная: «Как де она Марфа приехала к себе в дом и пошла в *повалушу* смотреть писем... и та де ево великого государя грамота и вышеписанная запись и людские крепости из ларца покрадены»¹⁷. Расспросные речи: «Тот де кофта не мой и у меня де тово кофтана в *поволуши* при сторонних людех коширские пушкарки не вынесли а то де поличное на человека моево пушкарки навезали на дворе»¹⁸.

Сравнительно с другими типами документов в челобитных и расспросных речах зафиксировано особенно много слов, утраченных к настоящему времени или экзотичных для современного языка; некоторые из них могут показаться загадочными. Каширские челобитные: *оболок, осек, осил, отвершек, павороз, половень, потопка, присада, приполянка, провар, рефет, тесла, тафтуй, трепел, топтун*. Расспросные речи в Каширской приказной избе: *переденка, перейма, поножи, свертень, талас*. Рязанские челобитные: *извят, налога*. Рязанские расспросные речи: *бадичок, вервь, ества*. Костромские челобитные: *ирха, куштыш, поводилицыж, приселок, топок*. Костромские расспросные речи: *стригач, стрясавица, плакун, черлень*,

¹⁶ ЦГАДА, фонд Каширской приказной избы, опись 2, ед. хр. 396, л. 2.

¹⁷ Там же, опись 3, ед. хр. 1в, л. 17.

¹⁸ Там же, опись 4, ед. хр. 372, л. 31.

читуша. Тульские челобитные: *курта, настрафиль, ольшан, ольстра, тидрушка*.

Только в челобитных и расспросных речах встречаем яркую эмоционально-оценочную лексику, например: «И он де Потапка за то его Савку учел бить и лаять как де ты страдник такое слово молил»¹⁹. «Приезжал он Ларин в домишко мое в полуноч невѣдомо по какому умыслу и меня холопа твоего бранил матерны называл вором стравником бездушником»²⁰.

Совсем иного плана лексика в отказных книгах: здесь преобладают названия рельефа местности, возвышенностей, впадин, массивов растущих деревьев и кустов, полян и других особенных «приметных» участков местности. Приведем несколько терминов из тульских и рязанских отказных книг. Тула: *всполье, кустарь, локтевина, полугорье, присада, прогарь, усад*. Рязань: *волховый, глушица, калище, костял, кулига, надолба*.

Другие типы местных памятников менее информативны в лексическом отношении, хотя отдельные диалектные слова и встречаются в сговорных, рядных, купчих записях, а из порядных и подможных записей можно почерпнуть местные производственные и строительные термины.

Исследование разных жанров деловых документов (и в первую очередь воеводских отписок в Москву) представляет интерес в плане изучения взаимодействия центробежных и центростремительных тенденций в приказно-деловом языке, выяснения эволюции местной разновидности приказного языка. Соотнося памятники местного происхождения с документами московского приказного делопроизводства по тем же уездам, можно установить набор одних и тех же понятий, выражаемых разными лексическими средствами. В тех случаях, когда в языке московского подьячего или дьяка не находилось эквивалента местному слову, он давал его перевод, если, конечно, вообще правильно понимал локализм.

Понятно, что таких лексических расхождений было не особенно много, но они были, и памятники изучаемого периода свидетельствуют, что в XVII в. административно-приказный язык находился еще в стадии становления. Тем интереснее оказывается вскрыть местные варианты эволюции письменного делового языка. Даже самый беглый просмотр документов разных территорий позволяет заметить, что в зависимости от географического положения уезда, от его связи с Москвой эволюция эта происходила различно. В каширских памятниках диалектных слов гораздо больше, чем в тульских, а в отдельно взятых верхотурьинских или великоустюжских документах локализмов во много раз больше, чем в Туле и Кашире вместе взятых.

Мы говорили здесь в основном о лексике диалектной и терминологической. Но лексиколога интересуют не только специфические диалектные слова, а и общий словарный фонд делового языка XVII в. Местная деловая письменность и здесь дает богатые сведения. В учете и привлечении материалов, хранящихся на местах, в дальнейшей разработке фондов центральных древлехранилищ можно видеть одну из ближайших задач историков русского языка.

¹⁹ ЦГАДА, ф. 210, Белгородский стол, ед. хр. 190, л. 133.

²⁰ ЦГАДА, ф. 1179, оп. I, 14.

Р. С. МАНУЧАРЯН

ВОПРОСЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ИЗМЕРЕНИЯ
ГЛУБИНЫ СЛОВА

Понятие глубины слова¹ тесно связано с рядом лингвистических и психолингвистических проблем. Хотя самый термин «глубина слова» аналогичен хорошо известному термину «глубина предложения», связанному с гипотезой В. Ингве, по содержанию понятие глубины слова не вполне изоморфно понятию глубины предложения. Глубина слова определяется как количество морфем в слове безотносительно к их расположению, глубина же предложения определяется количеством узлов подчинения в регрессивной последовательности слов. Тем не менее, выдвигание двух относительно параллельных понятий подводит к постановке более общего вопроса о глубине речевых единиц.

Представляется естественным, что понятие глубины и ее возможного предела, базирующееся на современном представлении об ограниченной емкости оперативной памяти человека, было вначале обосновано применительно к уровню предложения; последнее вообще считается такой единицей, которая производится в речи из единиц другого уровня — слов. Что касается восприятия речи, то хотя для слушающего оптимальным было бы принятие решений по максимально крупным «отрезкам информации» — предложениям или синтагмам², некоторые теоретические соображения и экспериментальные исследования позволяют предполагать, что единицы восприятия (единицы решения) являются более мелкими и обычно соответствуют словам³.

В ином положении находится слово. Воспроизводимость слова как «готовой единицы» давно уже признана многими исследователями одним из специфических признаков, отличающих его от свободных сочетаний слов и предложений. Имплицитно и эксплицитно исходят часто также из того, что слово воспринимается как одна цельная наименьшая значащая единица, хотя для лингвиста такой единицей является морфема⁴. Между тем, понятие глубины слова по сути дела основано на предположении, что перекодировка морфем в слова осуществляется в оперативной памяти в момент произнесения сообщения. Если исходить из представления о взаимосвязанности процессов кодирования и декодирования, необходимо, таким образом, принять следующие допущения: говорящий составляет слова из морфем в момент произнесения сообщения; слушающий воспринимает слова поморфемно. Подобные допущения в общем ставятся под сомнение, но, вместе с тем, указывается, что «в настоящее время не существует сколь-

¹ См.: В. А. Москович, Глубина и длина слов в естественных языках, ВЯ, 1967, 6.

² См. об этом: G. A. Miller, Decision units in the perception of speech, «IRE trans. on information theory», 8, 1962.

³ См. сб. «Речь. Артикуляция и восприятие», М.—Л., 1965; ср.: Дж. Фланеган, Анализ, синтез и восприятие речи, М., 1968.

⁴ См., например: Л. Блумфилд, Язык, М., 1968; Е. С. Кубрякова, Об основных единицах лингвистического анализа и предмете морфологии, сб. «Морфологическая структура слова в языках различных типов», М.—Л., 1963.

ко-нибудь определенной теории восприятия речи»⁵. У В. А. Москвичи глубина слова рассматривается параллельно с длиной его, выраженной в количестве слогов, причем устанавливается коррелированность этих двух величин, близкая к функциональной зависимости. Поскольку психолингвистическая значимость длины слова подтверждается экспериментальными данными, изучение распределения слов по глубине при таком подходе сохраняет определенный смысл при любом решении вопроса о реальности поморфемного речевого производства. Тем не менее, вопрос о самостоятельном психолингвистическом статусе глубины слова, рассматриваемый в связи с некоторыми смежными проблемами, заслуживает особого внимания.

Рассмотрение глубины слова в плане общего вопроса о глубине речевых единиц подсказывается уже тем соображением, что установление непроницаемых границ между единицами смежных уровней противоречило бы самой природе речевой деятельности. Разграничение имеет место между единицами, производимыми в речи, и единицами воспроизводимыми, а такое деление лишь частично соответствует тому, что мы так или иначе считаем «предложением» (или «сочетанием слов»), с одной стороны, и «словом», с другой, ибо различного рода дифференциальные признаки этих единиц нередко пересекаются с признаком производимости — воспроизводимости. Известно, что существуют отрезки предложений и целые предложения, которые в силу ряда факторов, в том числе вследствие высокой частоты употребления, воспроизводятся и воспринимаются как нечто цельное. В то же время целый ряд слов и форм слов не воспроизводится по памяти, а, подобно свободным синтаксическим соединениям, производится по известным образцам в процессе речи. Теоретически значимость этого факта нередко недооценивается или связывается преимущественно со словотворчеством писателей, а также детей как явлением особого порядка, но лексикографическая практика, ближе стоящая к конкретности речи, отнюдь не считает подобные «потенциальные» слова и формы исключением. Составители толковых словарей русского языка, например, перечисляют обширные структурные разряды слов, которые в основном не включаются в словарь, так как «они принадлежат к числу легко образзуемых в речи производных слов, но в то же время не имеют устойчивого широкого распространения в языке»⁶. В ряде же языков, в частности в армянском, удельный вес таких словесных речевых единиц еще больше. Но каково бы ни было количественное соотношение процессов производства и воспроизводства, принципиально важен тот факт, что ситуативно обусловленное производство слов служит базой воспроизводимого фонда словаря.

В связи с производимостью «речевых» слов встает вопрос о морфеме как психолингвистической единице. Оперирование морфемой представляет собой явление разнородное и не всегда поддающееся отчетливому осознанию и наблюдению, но реально и перманентно существующее⁷. Потенциальная функциональная отдельность морфем разных типов неодинакова, как различна и степень выделяемости морфем одного типа. Наиболее явно выражена относительная (в сравнении со словом) функциональная отдельность морфем словоизменения, так как они участвуют в конструировании типично речевых единиц — словосочетаний и предло-

⁵ «Речь. Артикуляция и восприятие», стр. 184. См. также: А. А. Леонтьев, Слово в речевой деятельности, М., 1965.

⁶ С. И. Ожегов, Словарь русского языка, М., 1960, стр. 5.

⁷ Ср. различение «морфем информанта» и «морфем исследователя»: R. S. Meulestein, Informant morphemes versus analyst morphemes, «Proceedings of the IX International congress of linguists, Cambridge (Mass.), August 27—31, 1962», The Hague, 1964.

жений. Мысль о производимости большинства словоформ в речи, высказывавшаяся еще Г. Паулем, находит косвенное подтверждение в современных экспериментальных исследованиях по восприятию речи⁸. В качестве оперативных единиц могут выступать также формообразующие аффиксы, поскольку часть таких стандартных образований, как, например, формы оценки, причастия, деепричастия, наречия, беспрепятственно производится в процессе общения по мере надобности. Наконец, оперативными единицами потенциально являются некоторые словообразующие морфемы, формирующие словесные единства по наиболее регулярным образцам. Потенциальность признается характерной особенностью соответствующих образований. Таковы, например, продуктивные словообразовательные типы имен действия в армянском, русском, английском и других языках.

При изучении глубины слова существенно обратить внимание на следующее обстоятельство. При живом словопроизводстве говорящие обычно оперируют, по-видимому, двумя значимыми отрезками — непосредственно составляющими, или, в известном смысле, двумя «морфемами», независимо от возможности дальнейшего их членения в ходе лингвистического анализа⁹. Однако известны и такие образования, которые не сводятся к двум готовым, известным (по крайней мере, для данного круга говорящих) значимым отрезкам, хотя и соответствуют существующим продуктивным моделям сочетаний морфем¹⁰. Надо полагать, что в таких случаях говорящий оперирует не двумя, а несколькими продуктивными морфемами одновременно, на уровне индивидуальной речи выступающими, таким образом, как непосредственно составляющие.

Обсуждение глубины слова с точки зрения восприятия речи связывается с рядом иных вопросов и прежде всего с характером восприятия отдельных отрезков речи. Взаимообусловленность контекстов слова и предложения, избыточность некоторых отрезков речевой цепи, в том числе и отдельных морфем, предопределяют то, что для узнавания и понимания слова во многих случаях достаточно восприятия его по общему «контур»¹¹. Однако понимание незнакомых единиц или их сочетаний требует сознательного сосредоточения внимания на тех или иных отрезках фразы и слова. Стремление осмыслить незнакомое слово через значения его составных частей является, как известно, постоянно действующей тенденцией и проявляется не только в актуализации реально существующих морфем, но и в выделении морфем мнимых (ср. факты «народной этимологии»). Семантизация слова осуществляется говорящими во многих случаях через его «морфологизацию».

Морфемное строение слова несет несколько функций, попеременно актуализирующихся в разных условиях речевой деятельности. В мотивированности образуемого производного проявляются семантическая и классифицирующая функции его структуры: понимание нового слова опирается на значение производящего (мотивирующего), вместе с тем структурные элементы выступают как классификаторы, включающие данное слово в определенные ассоциативные ряды. Однако на основе употребления слова формируется его целостное значение, и морфемная структура

⁸ См.: Д. М. Лисенко, Принципы выделения и морфологического анализа слова при восприятии устной речи. Автореф. канд. диссерт., Л., 1967.

⁹ Ср. определение морфемы, не включающее признак минимальности, что допускает отнесение к ней и любой основы: В. А. Богородицкий, Очерки по языковедению и русскому языку, Л., 1939, стр. 146—147.

¹⁰ См. об этом, например: А. Н. Гвоздев, Современный русский литературный язык, ч. I, М., 1958, стр. 124—126.

¹¹ См. об этом, например: Г. Пауль, Принципы истории языка, М., 1960, стр. 70; Р. Г. Пиотровский, Информационные измерения языка, Л., 1968.

усвоенного производного служит уже не конститутивным элементом значения, а средством идентификации, опознания слова в потоке речи. Одни и те же морфемы в разных комбинациях в составе словесных единств находятся в постоянном обращении то в идентифицирующей функции, то в семантизирующей.

Степень значимости и выделяемости морфем в речи зависит, помимо усвоенности слова, от целого ряда факторов и условий, которые здесь могут быть упомянуты лишь частично. Так, замечено, что при прочих равных условиях в фузионных языках наиболее отчетливо значение последнего суффикса и первого префикса слова, выделяемость приставок высока у русского глагола, а выделяемость суффиксов — у существительного. Выделение и осознание морфем может обуславливаться аффективностью речи, ситуацией, контекстом. Возражая А. Норейну, утверждавшему, что при понимании и употреблении слова не думают или не хотят думать о значении его составных частей, В. В. Виноградов замечал: «В высказывании *надо было приоткрыть сундук, а не открывать его совсем* приставка *при-* очень заметно выступает как значимая единица речи»¹².

Особое значение для психолингвистического статуса морфемы имеет тип языка. Хотя морфемы являются лишь компонентом такой функционально свободной единицы, как слово (особо стоит вопрос о морфемах в составе инкорпоративного комплекса), в языках агглютинативных они, несомненно, обладают большей самостоятельностью и свободой, чем в фузионных, что объясняется стандартностью их значения и фонемного состава, «отдельностью подачи элементов информации в составе словоформы»¹³ и другими известными качествами. Отсюда характерное для агглютинативных языков преобладание системы над нормой, легкость и беспрепятственность конструирования слов в речи, предполагающая более или менее последовательное поморфемное восприятие.

Итак, многообразные условия функционирования естественных языков делают аналитическое восприятие слова в принципе неизбежным. Поэтому нельзя согласиться с утверждением Блумфилда о том, что носители языка «не производят морфологического анализа»¹⁴. Блумфилд ссылается на то, что говорящий обычно не в состоянии охарактеризовать структуру слов. Однако практическое умение производить анализ слова само по себе еще не есть теоретическое знание. Вопрос заключается лишь в том, насколько полно и как часто производится подобный анализ носителями языков различного строя в различных условиях речевой деятельности. Различия в восприятии речи, обусловленные особенностями морфологических структур слова, насколько нам известно, почти не изучались, хотя можно ожидать, что они до определенной степени касаются соотношения пословного и поморфемного восприятия¹⁵. А. А. Леонтьев подчеркивает, что пословное восприятие характерно для автоматизированного протекания речевого процесса, но, пожалуй, напрасно называет «нормальными» только те условия коммуникации, при которых «мы не фиксируем свое внимание на отдельных элементах слова, но воспринимаем его динамический рисунок как целое»¹⁶. Ведь метаязыковые ситуации, в которых слово становится объектом анализа, отнюдь не аномальны, с ними сталкивается каждый носитель языка, — хотя бы уже потому, что новое использование

¹² В. В. Виноградов, Русский язык, М.—Л., 1947, стр. 9.

¹³ А. А. Реформатский, Агглютинация и фузия как две тенденции грамматического строения слова, сб. «Морфологическая типология и проблема классификации языков», М.—Л., 1965, стр. 84.

¹⁴ Л. Блумфилд, указ. соч., стр. 224, а также стр. 223.

¹⁵ Отдельные замечания см.: Э. Сепир, Язык, М.—Л., 1934, стр. 103—105.

¹⁶ А. А. Леонтьев, О специфике слова, сб. «Морфологическая структура слова...», стр. 135.

средств морфемного уровня, всякий раз требующее внимания, заложено в самой природе функционирования языка как творческого процесса.

Таким образом, существование определенного предела глубины слова в естественных языках не есть только следствие ограничений в длине слова, коррелированной с глубиной, а связано также с тем, что данный языковой параметр обладает потенциальной психолингвистической значимостью, причем последовательно поморфемное восприятие и производство слова в речи представляют своего рода предельный случай.

Глубина слова может рассматриваться в психолингвистическом и структурно-типологическом аспектах; при этом значимость одних и тех же факторов окажется, по-видимому, различной. В типологическом аспекте на первый план выдвигается определение не предела глубины слова (хотя и эта характеристика как одна из возможных языковых универсалий представляет интерес), а средней глубины, характеризующей отдельные языки и группы языков. Предложенный Гринбергом «индекс синтеза»¹⁷, измеряющий по существу среднюю глубину слова, терминологически отражает иную, типологическую направленность изучения данной величины. Измерение и сравнение глубины слова предполагает определение принципов выделения единиц, подлежащих подсчету, — слов и морфем, что отчасти и было сделано Гринбергом. Но интерес представляет и другая сторона проблемы: учет каких именно сегментов текста на уровнях слова и морфемы может оказаться несущественным или существенным в упомянутых двух аспектах рассмотрения глубины слова? Следовало бы также выяснить, в каких случаях различный подход к сегментации способен существенно повлиять на средние показатели по отдельным языкам. Эти вопросы рассмотрим с учетом материала обследованных нами русских и армянских текстов.

Вопрос об определении границ слова. Применение разных критериев приводит к выделению в качестве «слов» не всегда совпадающих отрезков речи. Примечательно, что степень вызываемого этим расхождения в языках различного строя, по-видимому, неодинакова. Обычно, когда речь идет о слове как определенном комплексе морфем, имеют в виду единицу, характеризующуюся, помимо прочего, цельнооформленностью и называемую морфологическим, морфемным или же формально-грамматическим словом. Правда, практически границы понимаемого таким образом слова в большинстве случаев достаточно отчетливы, а случаи неясные как будто могут считаться недостаточно многочисленными, чтобы существенно влиять на суммарные данные сравнимых языков. Однако при анализе приходится иметь дело и с такими промежуточными элементами, которые, будучи немногочисленными в словаре, обладают высокой частотностью в тексте. Так, служебные слова нередко определяются как «подвижные морфемы» или «слова-морфемы», но в работах, связанных с количественным анализом текста, обычно исходят из более распространенной точки зрения, согласно которой служебное слово есть все же «слово». Гринберг, в частности, определенно говорит об этом, из этой же точки зрения исходит, по-видимому, В. А. Москович, поскольку он не делает никаких оговорок. Конечно, количественные данные, полученные разными исследователями, сопоставимы только при одинаковом определении статуса подобных высокочастотных элементов. Но в психолингвистическом аспекте есть основания считать, что оперирование служебными словами в речи стоит в том же ряду, что и оперирование морфемами¹⁸.

¹⁷ Д. Ж. Гринберг, Количественный подход к морфологической типологии языков, сб. «Новое в лингвистике», 3, М., 1964.

¹⁸ См., например: А. А. Лео́нтьев, Слово в речевой деятельности, стр. 212.

Вопрос о морфемной сегментации слова. Принципы морфемного анализа, сформулированные Гринбергом и дополненные им же применительно к случаям единичных (уникальных) морфем, разделяются многими исследователями. Надо думать, однако, что и неучет единичных морфем, ввиду их явно невысокой частотности, не приведет к существенному изменению количественных оценок. Гораздо более важное значение имеет решение вопроса о нулевых морфемах, так как в агглютинативных языках, в частности армянском, они отнюдь не единичны. Относительно целесообразности и принципов выделения нулевых морфем в языках различных типов высказывались самые разнообразные точки зрения¹⁹. Сделанное В. А. Московичем допущение, что количество морфем в словах не превышает количества слогов, предполагает, очевидно, неучет нулевых морфем. Гринберг, данные которого привлекаются В. А. Московичем, хотя и остаётся на отдельном случае возможного выделения нулевых морфем, но ограничивается английским материалом. Между тем, проблема выделения нулевых морфем встает во весь рост только с учетом конкретного материала агглютинативных языков. Отметим здесь только, что если в структурно-типологическом плане можно признать плодотворным описание языков, использующее понятие нулевой морфемы, то в плане психолингвистическом выделение и приравнивание нулевых морфем к материально выраженным было бы необоснованным. С позиции исследователя Вандриес, например, мог утверждать: «В языке нулевая морфема ничем не отличается от других морфем»; в известном смысле справедливо даже такое его парадоксальное утверждение: «Когда говорят по-французски *Pierre frappe Paul* „Петр бьет Павла“, единственная морфема, выраженная фонетически, — это нулевая морфема»²⁰. Но для участника речи существует лишь наличный материальный состав нулевых (отрицательных) форм, противопоставленных формам положительным. Кстати, распространение нулевых форм в парадигмах новых индоевропейских языков может быть интерпретировано как раз в связи с действием в естественном языке принципа оптимального кодирования, проявляющегося, в частности, в существовании определенных пределов длины и глубины слова.

Особо стоит вопрос о вычлениении связочных элементов структуры слова — интерфиксов. Отнесение их к морфемам, основанное на широком понимании «значения» морфемы, имеет давнюю традицию, в некоторых же работах последнего времени они или квалифицируются как «пустые морфы» (Ч. Хоккет), или вовсе исключаются из числа морфем²¹. Удельный вес и качественное своеобразие подобных частей слова могут оказаться небезразличными для типологической характеристики языка, но в психолингвистическом аспекте их функция связывается с фонемным уровнем: будучи лишенными собственного значения, они удлиняют слово, но не «углубляют» его.

С учетом вышеизложенных соображений и исходя из того, что распределение слов по глубине еще не подвергалось систематическому изучению, нами была предпринята статистическая обработка русских текстов общим объемом в 10 тысяч словоформ (100 выборок) и их армянских переводов. Были исследованы тексты художественной прозы (авторская речь, 5000 словоформ) и математической литературы (5000 словоформ)²². С учетом

¹⁹ См., в частности: сб. «Морфологическая структура слова...», стр. 19, 47, 211, 221, 224, 270 и др.; G. F. Meier, *Das Zero-Problem in der Linguistik*, Berlin, 1961.

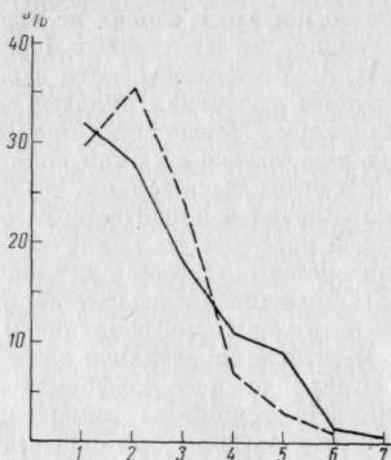
²⁰ Ж. Вандриес, *Язык*, М., 1937, стр. 81, 82.

²¹ См., например: «Основы построения описательной грамматики современного русского литературного языка», М., 1966, стр. 54.

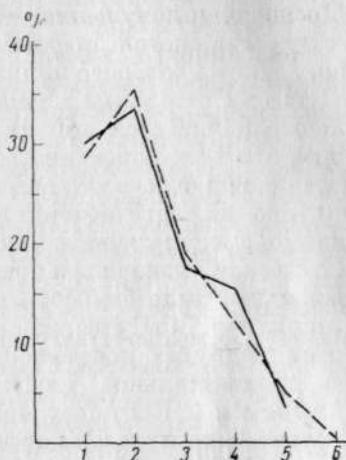
²² Источники выборок: рассказы И. Бабея, С. Антонова, «Первые радости» К. Федина, «Дни и ночи» К. Симонова; «Курс высшей математики» В. И. Смирнова.

существующих различий в сегментации измерение глубины слова в художественных текстах производилось в нескольких вариантах. В первом варианте мы руководствовались следующими исходными положениями: служебные слова включаются в общее число отдельных слов (словоформ); интерфиксы включаются в число морфем; учитываются только материально выраженные морфемы.

Характер распределения слов по глубине в художественных текстах двух языков (см. рис. 1) сходен и обнаруживает единую тенденцию: с увеличением глубины слов частота их снижается. Исключение составляют двухморфемные армянские слова, встречающиеся с максимальной частотой. Еще единообразнее картина распределения слов в математических



Р и с. 1. Распределение слов по количеству морфем в русском художественном тексте и армянском (— русский, — — — армянский)



Р и с. 2. Распределение слов по количеству морфем в русском математическом тексте и армянском (— русский, — — — армянский)

текстах русского и армянского языков, где измерение глубины производилось на основе тех же исходных положений (см. рис. 2). Стабильный максимум двухморфемных армянских слов объясняется такими особенностями данного языка, как наличие постпозитивных членных элементов (определенного артикля и членов местоименного характера), входящих в состав слова и переводящих, следовательно, многие одноморфемные именные словоформы в двухморфемные, а также высокочастотного вспомогательного глагола, который, спрягаясь, сам во многих формах двухморфем.

Заметим, что сопоставление распределения слов по глубине между текстами двух различных стилей данных языков приводит к неодинаковым заключениям. Средняя глубина слова в русских математических текстах уступает этой же величине в художественных текстах и составляет 2,29 морфем на слово против 2,41. В армянских же математических текстах индекс глубины слова равен 2,32 и превышает данный показатель в художественных текстах, равный 2,22. Судя по этим данным, говорить о большей употребительности «глубоких» слов в такой разновидности научной прозы, как математические тексты русского языка, — в отличие от соответствующих армянских — нельзя (для суждения о недостаточности объема выборки существует тот факт, что начиная со второй тысячи словоформ колебания средних были весьма незначительными; правда, остается открытым вопрос о степени однородности математических текстов и соответственно — репрезентативности выборок). Иной характер носит распре-

деление слов по количеству морфем (и слогов) в русском техническом тексте²³. По-видимому, характеристика стиля научной прозы в рассматриваемом аспекте (как, впрочем, и в других) должна быть дифференцированной. К тому же квантитативные особенности стилистических или жанровых разновидностей в разных языках могут проявляться неодинаково отчетливо.

Обратимся к сопоставлению данных двух языков, извлеченных из текстов одних и тех же стилей (см. табл. 1). Прежде всего можно сделать выводы, относящиеся к обоим языкам. Максимум глубины в обследованных текстах лежит в интервале от 5 до 7 морфем, причем максимально глубокие слова имеют очень низкую употребляемость; подавляющее большин-

Таблица 1

Сопоставление данных русского и армянского языков, извлеченных из текстов одних и тех же стилей

	Художественный текст		Математический текст	
	русский	армянский	русский	армянский
Средняя глубина слова	2,41	2,22	2,29	2,32
Максимальная глубина слова	7	6	5	6
Частота слов максим. глубины	0,005	0,010	0,035	0,005
Доля слов с глубиной от 1 до 4 морфем	0,90	0,96	0,96	0,94
Доля неизменяемых слов	0,36	0,51	0,30	0,50
Доля нулевых форм	0,16	0,35	0,07	0,39
Доля служебных слов	0,24	0,23	0,25	0,22

ство словоформ имеет глубину от 1 до 4 морфем. Эти выводы хорошо согласуются с представлением о наиболее благоприятных для порождения и восприятия речи условиях, которое обосновывается В. А. Московичем. Вместе с тем, сравнение показателей данных языков позволяет конкретизировать вопрос о связи глубины слов с такой типологической характеристикой, как «техника» соединения морфем. В принципе агглютинация, как указывает В. А. Москович, действительно способствует увеличению глубины и длины слов. Однако, как видно из табл. 1, и средняя, и максимальная глубина армянского слова в художественных текстах уступают соответствующим показателям фузионного русского, а в математических текстах лишь незначительно превосходят их. Поскольку средняя глубина слова, по сути дела, есть одна из мер синтетичности, и соответственно, аналитичности языка, сравнительно невысокие показатели агглютинативного армянского языка могут быть интерпретированы как результат «взаимодействия» агглютинации с аналитизмом. Действительно, характерное для агглютинативных языков линейное соположение нескольких формообразующих аффиксов статистически в определенной мере уравновешивается высоким удельным весом таких форм в армянском языке, как прилагательные, причастия, местоимения и числительные, которые в своих наиболее обычных синтаксических функциях неизменяемы, т. е. вовсе не имеют аффиксов словоизменения. В ограничении глубины слова с явлениями аналитизма смыкается использование нулевых форм, которое, как

²³ В. А. Москович, указ. соч., стр. 20.

видно из табл. 1, также намного превышает употребительность соответствующих форм в русском тексте²⁴. Что касается служебных слов, то небольшое различие в их удельном весе (и притом даже с перевесом русского индекса) объясняется тем, что при высокой частоте армянских аналитических глагольных форм в текстах наблюдается более редкое, сравнительно с русским, употребление приименных служебных слов — предлогов и послелогов.

На материале тех же текстов глубина слова измерялась нами еще в четырех других вариантах (см. табл. 2), что позволяет выяснить, как

Таблица 2

Сопоставление средней и максимальной глубины слова в русском и армянском текстах (художественная проза) при нескольких измерениях

	\bar{M}_1	$\bar{M}_2: M + \Pi$	$\bar{M}_3: M + M_0$	$\bar{M}_4: M + \Pi + M_0$	$\bar{M}_5: \text{СФ} - \text{СФ сл}$	M_1^{\max}	M_2^{\max}	M_3^{\max}	M_4^{\max}	M_5^{\max}
Русский	2,34	2,41	2,50	2,57	3,07	6	7	7	8	6
Армянский	2,09	2,22	2,59	2,72	2,71	5	6	6	7	8
М (Р) — М (А)	0,25	0,19	-0,09	-0,15	0,36	1	1	1	1	-2

влияют различные подходы к сегментации текста на уровне слов и уровне морфем на интересующие нас численные характеристики. В табл. 2 символы \bar{M}_1 , \bar{M}_2 , \bar{M}_3 , \bar{M}_4 , \bar{M}_5 обозначают соответственно среднее число морфем в слове при учете: только материально выраженных морфем; материально выраженных морфем и интерфиксов ($m + \pi$); материально выраженных и нулевых морфем ($m + m_0$)²⁵; материально выраженных морфем, интерфиксов и нулевых морфем ($m + \pi + m_0$); материально выраженных морфем, считая и служебные слова, исключаемые в этом случае из общего числа словоформ (СФ — СФ сл); M_1^{\max} , M_2^{\max} и т. д. — максимальное число морфем в слове, соответствующее \bar{M} с тем же номером; М (Р) — М (А) — разность численных характеристик русского и армянского слов.

Как видно, различие в подходе к выделению «слова» и «морфемы» может оказывать существенное влияние на представление о соотношении средней глубины слов разных языков. Если, например, включение в подсчеты интерфиксов лишь уменьшает перевес индекса средней глубины русского слова, то учет нулевых морфем уже приводит к преобладанию соответствующего показателя армянского слова, трактовка же служебных слов как морфем (сопровождающаяся их исключением из общего числа словоформ) вновь приводит к перевесу индекса русского слова. Величина и направление подобных изменений зависят и от объективных факторов — типологических особенностей языков, привлеченных к сравнению. В рассматриваемом случае относительное уменьшение разности численных ха-

²⁴ Нулевыми в армянском тексте считались такие формы, которые характеризуются значимым отсутствием хотя бы одной из нескольких сопологаемых формообразующих морфем.

²⁵ При выделении нулевых морфем мы руководствовались признаком грамматичности (обязательности) выражаемого значения для данного языка. Ср.: И. А. М е л ь ч у к, О некоторых типах языковых значений, в кн.: «О точных методах исследования языка», М., 1961.

рактистик между словами двух языков, обусловленное учетом интерфиксов, отражает тот факт, что в армянском языке использование связочных элементов в слове более регулярно и часто; в частности, соединительные гласные на границе между корнями и аффиксами почти столь же обычны, как между основами в сложном слове. Что касается нулевых морфем, то их большой удельный вес вообще характерен для агглютинативных языков. В пределах, например, наиболее распространенной формообразовательной модели армянских существительных в номинативной форме можно выделить три нулевые морфемы²⁶.

Соотношение максимальной глубины слов русского и армянского языков изменяется только при включении служебных слов в число морфем (см. табл. 2). Общий же вывод здесь состоит в том, что и при разных измерениях глубина слова в текстах обоих языков не превышает величину в 7 ± 2 морфем, связанную с объемом оперативной памяти. Правда, нельзя не заметить, что максимальная глубина слова, не будучи величиной, получаемой путем усреднения, в принципе подвержена большим колебаниям, зависящим от отбираемых текстов, нежели средняя глубина, и говорить вообще о «разрешаемой» языком того или иного строя максимальной глубине слова можно было бы точнее на основании обследования общих и отраслевых словарей с последующим развертыванием словарных форм до максимальной глубины возможных производных словоформ. В этом случае имело бы смысл установление соотношения между пропорцией максимально «глубоких» слов в словаре и тексте и затем сравнение этого соотношения как особого индекса «реализации глубины» в разных языках и стилях.

В данной статье сделана попытка установить и кратко рассмотреть основной круг вопросов, связанных с интерпретацией и измерением глубины слова, и с учетом обследованного материала ориентировочно выяснить возможное влияние объективных и субъективных факторов на представление об этом важном языковом параметре. Изучение многообразного материала языков различного строя, особенно живой речи, позволит уточнить и углубить понимание соотношения и взаимодействия лексемного и морфемного уровней в процессе функционирования языка.

²⁶ См.: Г. Б. Дж а у к я н, Система склонения современного армянского языка, Ереван, 1967, стр. 30 (на арм. яз.).

А. Е. КИБРИК

О ФОРМАЛЬНОМ ВЫДЕЛЕНИИ СОГЛАСОВАТЕЛЬНЫХ
КЛАССОВ В АРЧИНСКОМ ЯЗЫКЕ

0. При обсуждении проблемы выделения именных классов в кавказских языках основное внимание обычно уделялось семантической интерпретации именных классов. В настоящей работе делается попытка формального обоснования выделения именных классов в арчинском языке, исходя из анализа диагностических контекстов, реализующих определенные согласовательные модели имени¹. Арчинский язык относится к дагестанской группе кавказских языков, на нем говорят жители аула Арчи (около 1000 человек), расположенного в Чародинском районе Дагестанской АССР. В работе используется транскрипция, разработанная совместно с С. В. Кодзасовым².

1. Рассмотрим следующие примеры:

- | | | |
|-----|--|---|
| (1) | <i>ulu dija (boʃor) hibaṭu w-i</i>
<i>d-olo ʒoṇol (buwa) hibaṭu-r d-i</i>
<i>b-olo noʃ (dogi) hibaṭu-b b-i</i>

<i>olo biʃ (motol) hibaṭu-t i</i> | «наш отец (мужчина) хороший»
«наша женщина (мать) хорошая»
«наша лошадь (осел) хорошая (-ий)»
«наш теленок (козленок) хороший» |
| (2) | <i>w-ez dija (boʃor) kxʻanʃi w-i</i>
<i>d-ez ʒoṇol (buwa) kxʻanʃi d-i</i>
<i>b-ez noʃ (dogi) kxʻanʃi b-i</i>
<i>ez biʃ (motol) kxʻanʃi i</i> | «я отца (мужчину) люблю»
«я женщину (мать) люблю»
«я лошадь (осла) люблю»
«я теленка (козленка) люблю» |
| (3) | <i>qχ_wʻeʻ-w-u dija (boʃor) qχ_waʻ</i>
<i>qχ_wʻeʻ-r-u ʒoṇol (buwa) d-aʻ-qχaʻ</i>
<i>qχ_wʻeʻ-b-u noʃ (dogi) b-aʻ-qχaʻ</i>
<i>qχ_wʻeʻ-tʻ-u biʃ (motol) qχ_waʻ</i> | «два отца (мужчины) пришли»
«две женщины (матери) пришли»
«две (а) лошади (осла) пришли»
«два теленка (козленка) пришли» |

Сравнив эти фразы, можно сделать следующие выводы: арчинские слова, соответствующие русским «наш», «хороший», «я», «два», «пришли», а также глагольная связка «быть» (*i*), имеют различный состав морф в зависимости от того, какие слова подставляются в контексты (1) — (3), а именно, слова, соответствующие русским «наш», «я», «пришли», «быть», в контекстах со словами *ʒoṇol*, *buwa* всегда имеют префиксальную морфу

¹ Использовалась методика, предложенная в кн.: А. А. З а л и з н я к, Русское именное словоизменение, М., 1967, стр. 36 и сл.

² См.: А. Е. К и б р и к, С. В. К о д з а с о в, Принципы фонетической транскрипции и транскрипционная система для кавказских языков, ВЯ, 1970, 6. В основе настоящей нотации лежит МФА, причем аффрикаты обозначаются диграфами (*ts*, *tʃ*, *qχ*, *kx* и др.), и используются нетрадиционные диакритики для фарингализации (*qχʻ* — фарингализованная увулярная глухая аффриката, *aʻ* — фарингализованный *a* и т. д.) и латерализации (*ʒ* — латерализованный глухой задний фриктивный, *kxʻ* — латерализованная абруптивная задняя аффриката и т. д.).

d -(d -olo, d -ez, d -a'- $q\chi a'$, d -i), в контекстах со словами no' , $dogi$ — префиксальную морфу b -(b -olo, b -ez, b -a'- $q\chi a'$, b -i), со словами bi' , $motol$ — нулевую префиксальную форму (\emptyset -olo, \emptyset -ez, \emptyset - $q\chi a'$, \emptyset -i), а со словами $dija$, $bo\}or$ — префиксальную морфу w -(w -ez, w -i), лабиализованную начальную согласную основы ($q\chi_{w'} a'$) или основу с переходом $o > u$ ($ulu < *w$ -olo- w). Слова, соответствующие русским «хороший», «два», в контекстах с теми же словами имеют соответственно суффиксальную морфу $-r$ ($hiba\bar{t}u$ - r , $q\chi_{w'} e'$ - r - u), $-b$ ($hiba\bar{t}u$ - b , $q\chi_{w'} e'$ - b - u), $-t$ или $-t'$ ($hiba\bar{t}u$ - t , $q\chi_{w'} e'$ - t' - u) и $-w$ ($q\chi_{w'} e'$ - w - u , $hiba\bar{t}u < *hiba\bar{t}u$ - w).

Иными словами, во всех трех типовых контекстах слова каждой из указанных четырех групп ведут себя одинаково и требуют одних и тех же морфологических показателей (согласователей) в контексте. Не приводя длинных перечней, укажем, что слова типа $bo\}or$, $\bar{x}o\bar{n}ol$, $dogi$ и $motol$ являются представителями больших групп слов, ведущих себя точно так же в контекстах (1) — (3).

В зависимости от вида согласователей (которые могут быть как префиксальными — приведены перед косой чертой, так и суффиксальными — после косой черты) можно выделить следующие четыре согласовательных класса (для простоты изложения опускаем случаи с инфиксальными показателями, не дающими нового разбиения на классы):

Таблица 1

Номер класса	Представитель класса	Согласователь
I	$bo\}or$	«мужчина»
II	$\bar{x}o\bar{n}ol$	«женщина»
III	$dogi$	«осел»
IV	$motol$	«козленок»
		w/w
		d/r
		b/b
		\emptyset/tVt'

2. Посмотрим, каких согласователей требуют эти же слова во мн. числе (как видно из (3), в сочетании «числительное + существительное» оба слова стоят в ед. числе):

- (4) b -olo $\bar{k}rele$ $hiba\bar{t}$ - ib b -i «наши мужчины хорошие»
 b -olo $\bar{x}om$ $hiba\bar{t}$ - ib b -i «наши женщины хорошие»
 olo $dogi$ - $\bar{t}u$ $hiba\bar{t}$ - ib i «наши ослы хорошие»
 olo $motol$ - um $hiba\bar{t}$ - ib i «наши козлята хорошие»
- (5) b -ez $\bar{k}rele$ $\bar{k}r'$ - $an\}i$ b -i «я мужчин люблю»
 b -ez $\bar{x}om$ $\bar{k}r'$ - $an\}i$ b -i «я женщин люблю»
 ez $dogi$ - $\bar{t}u$ $\bar{k}r'$ - $an\}i$ i «я ослов люблю»
 ez $motol$ - um $\bar{k}r'$ - $an\}i$ i «я козлят люблю»

Оставляя в стороне различия в образовании мн. числа существительных, отметим, во-первых, что слова $bo\}or$ и $\bar{x}o\bar{n}ol$ во мн. числе требуют префиксального согласователя b -, а слова $dogi$ и $motol$ имеют нулевой согласователь, и во-вторых, что в словах с суффиксальными согласователями происходит согласование по числу: $hiba\bar{t}ub$ VS $hiba\bar{t}$ - ib (будем обозначать этот согласователь как PL)³, что, однако, не приводит к появлению новых согласовательных классов (см. табл. 2).

³ В принципе возможно выделение в морфеме $-ib$ согласователя $-b$, но это никак не влияет на результат разбиения имен на классы.

Таблица 2

Номер класса	Представитель класса	Согласователи		
		ед. ч.	мн. ч.	
I	<i>boʃor</i>	«мужчина»	<i>w/w</i>	<i>b/PL</i>
II	<i>ʔoʃol</i>	«женщина»	<i>d/r</i>	<i>b/PL</i>
III	<i>dogi</i>	«осел»	<i>b/b</i>	<i>ø/PL</i>
IV	<i>motol</i>	«козленок»	<i>ø/tVt'</i>	<i>ø/PL</i>

На этом обычно выделение согласовательных классов заканчивается⁴. Однако в рамках данной классификации не удается описать правила согласования для некоторых типов слов.

3. Поставим в диагностические контексты (1) — (3) слово *lo* «дитя, ребенок»:

- (6) *olo lo hibaʔu-t i* «наш ребенок хороший»
ez lo kr'anʃi i «я ребенка люблю»
qʁw'e'-t'-u lo qʁa' «два ребенка пришли»
- (7) *b-olo lo-bur hibaʔ-ib b-i* «наши дети хорошие»
b-ez lo-bur kr'anʃi b-i «я детей люблю»

В ед. числе слово *lo* имеет согласователи IV класса (*ø/tVt'*), во мн. — согласователи I и II классов (*b/PL*), т. е. оно не укладывается ни в один из найденных ранее согласовательных классов, что вынуждает выделить его в отдельный V согласовательный класс, если руководствоваться чисто формальными соображениями (см. табл. 3). Попутно следует отметить, что слово *lo*^I «ребенок» имеет омонимы: *lo*^{II} «мальчик», входящее в I согласовательный класс, и *lo*^{III} «девочка», входящее во II согласовательный класс).

Такое же согласование, как у *lo*^I, имеют слова *adam*, *ijsan* «человек», *kwi*^ʃ*aw* «кто-то», а также все обозначения людей, которые могут относиться как к мужчине, так и к женщине: например: *ts'ohor* «вор», *tʃ'ok'o* «болтун», *misgin* «бедняга», *abdal* «глупец», *jitim* «сирота», *raqit* «нищий» и т. д. Эти слова, как и *lo*, имеют по три омонима, например: *misgin qʁa'* «бедняга (т. е. мужчина или женщина) пришел», *misgin qʁw'a'* «бедняга (т. е. мужчина) пришел», *misgin da'qʁa'* «бедняга (т. е. женщина) пришла».

Таким образом, с точки зрения семантической к V классу относятся слова, означающие людей, пол которых несуществен или неизвестен.

4. В аналогичный «аномальный» класс можно выделить слово *ʁalqʁ'* «народ», которое имеет в ед. числе согласование по III классу, во мн. числе (основы ед. и мн. числа у этого слова совпадают) — согласование по I—II классам:

- (8) *b-olo ʁalqʁ' hibaʔu-b b-i* «наш народ хороший»
b-olo ʁalqʁ' hibaʔ-ib b-i «наши народы хорошие»
iʃik qʁw'e'-b-u ʁalqʁ' bi «здесь два народа есть»
b-ez b-olo ʁalqʁ' kr'anʃi b-i «я наш(и) народ(ы) люблю»

К этому же классу относится слово *zamat* «население, народ». Других слов, имеющих такую же согласовательную модель, обнаружить не удалось.

⁴ См.: К. Ш. Микайлов, Арчинский язык, Махачкала, 1967, стр. 39—40, 96—98; С. М. Хайдаков, Арчинский язык, «Языки народов СССР», IV, М., 1967, стр. 610—611.

Выделенные шесть согласовательных классов представлены в табл. 3.

Таблица 3

Номер класса	Представитель класса	Согласователи		
		ед. ч.	мн. ч.	
I	<i>boʒor</i>	«мужчина»	<i>w/w</i>	<i>b/PL</i>
II	<i>ʒoʔol</i>	«женщина»	<i>d/r</i>	<i>b/PL</i>
III	<i>dogi</i>	«осел»	<i>b/b</i>	<i>o/PL</i>
IV	<i>motol</i>	«козленок»	<i>o/iVt'</i>	<i>e/PL</i>
V	<i>lo</i>	«ребенок»	<i>o/iVt'</i>	<i>b/PL</i>
VI	<i>χalqχ'</i>	«народ»	<i>b/b</i>	<i>b/PL</i>

Эти шесть классов охватывают, по-видимому, все согласовательные модели имен, имеющих формы ед. и мн. числа.

5. Все слова *singularia tantum* распределяются по I—IV согласовательным классам, обладая при этом неполной числовой парадигмой (к V и VI классам они относиться не могут, так как у них в ед. числе согласовательная модель совпадает соответственно с IV и III классами). Большинство слов *singularia tantum* относится к III и IV классам (например, III класс: *χat* «воск», *laχa* «масло с мукой из печеных зерен», *taχa* «овес», *χal* «мечта» и т. д.; IV класс: *akon* «свет», *amk'* «пот», *maj* «костный мозг, жир», *χe'kul* «холод» и т. д.); зафиксировано по одному слову *singularia tantum* для I класса (*abtu* «отец») и ко II классу (*eʒtur* «мать»).

6. С точки зрения именного согласования значительно больший интерес представляют слова *pluralia tantum*. Рассмотрим сперва личные местоимения мн. числа.

- (9) *ez nep kɾ'an ʒi i* «я нас люблю»
ez ʒw'en kɾ'an ʒi i «я вас люблю»
nep qχa' «мы пришли»
ʒw'en qχa' «вы пришли»
- (10) *b-ez teb kɾ'an ʒi b-i* «я их люблю»
teb b-a'-qχa' «они пришли»

Как видно из сравнения (9) с (2), (5) — (7), местоимения *nep* «мы», *ʒw'en* «вы» имеют согласование отличное, от *teb* «они» (10) и от всех слов I—II класса.

- (11) *nep qχw'e'-nib qχa'* «мы (т. е. неизвестно, мужчины или женщины) двое пришли»
nep qχw'e'-w-u qχw'a' «мы (т. е. мужчины) двое пришли»
nep qχw'e'-r-u d-a'-qχa' «мы (т. е. женщины) пришли»

В сочетании с числительным местоимения *nep* и *ʒw'en* имеют три согласователя: с одной стороны, это *o/PL* (до сих пор числительное всегда стояло в ед. числе!), если не известен пол или участвуют мужчины и женщины, а с другой — *w/w*, если имеются в виду только мужчины, и, наконец, *d/r*, если речь идет только о женщинах. Таким образом, слово *nep* (а также *ʒw'en*) разбивается на три омонима: *nen^I* «мы (безотносительно к полу)», *nen^{II}* — «мы (мужчины)», *nen^{III}* — «мы (женщины)». Становится очевидным, что объединение контекста типа (3) с контекстами типа (1), (2) (как это сделано в табл. 1 — 3; колонка с ед. числом) неправомерно и нужно различать контексты с собственным ед. числом, мн. числом и с сочетанием «числительное + существительное». Последний контекст назовем счетной фор-

мой. После проведения указанного разграничения желательнее получить от *nen* и *ɜwen* согласование по ед. числу. Посмотрим, есть ли в арчинском языке грамматическая корреляция между местоимениями *zon* «я» и *nen* «мы», *un* «ты» и *ɜwen* «вы». Для этого надо подобрать дополнительно такие диагностические контексты, в которых можно было бы косвенным образом получить от *zon* мн. число, а от *nen* — ед. число. Такими контекстами могут быть высказывания: «X и Y пришли» (12), «из X-ов один самый красивый» (13). Рассмотрим эти контексты сперва для изученных классов слов (I—IV классы):

- | | |
|---|---|
| (12) <i>dija-w-u bo ʃ or-u b-a'-qχa'</i> | «отец и мужчина пришли» |
| <i>dija-w-u buwa-w-u b-a'-qχa'</i> | «отец и мать пришли» |
| <i>dija-w-u (buwa-w-u) dogi-w-u b-a'-qχa'</i> | «отец (мать) и осел пришли» |
| <i>dija-w-u (buwa-w-u) motol-u qχa'</i> | «отец (мать) и козленок пришли» |
| <i>dogi-w-u no' ʃ -u b-a'-qχa'</i> | «осел и лошадь пришли» |
| <i>motol-u bi ʃ -u qχa'</i> | «козленок и теленок пришли» |
| (13) <i>b-iṭ-ib k̄rele-me-qχ'i ʃ os k'an muṭu w-i</i> | «из имеющих мужчин один самый красивый» |
| <i>b-iṭ-ib' xem-e-qχ'i ʃ os k'an muṭu-r d-i</i> | «из имеющих женщин одна самая красивая» |
| <i>iṭ-ib dogi-ṭi-t ʃ e-qχ'i ʃ os k'an muṭu-b b-i</i> | «из имеющих ослов один самый красивый» |
| <i>iṭ-ib motol-um-t ʃ e-qχ'i ʃ os k'an muṭu-t i</i> | «из имеющих козлят один самый красивый» |

Очевидно, что согласование в (13) такое же, как в (1) и (2), а в (12) — как в (4) и (5), с тем, правда, усложнением, что разные классы в случае их комбинации в субъектной группе «X с Y-ом» имеют различный вес: наибольший вес у IV класса, затем идут I—II классы, наименьший вес у III класса, и согласователи мн. числа выбираются в соответствии с весом⁵, т. е. в соответствии с классом слова, имеющего наибольший вес (хотя само слово стоит в ед. числе!).

Теперь рассмотрим в этих контекстах личные местоимения:

- | | |
|--|--|
| (14) <i>zon (un) qχu'a'</i> | «я (ты) (т. е. мужчина) пришел» |
| <i>zon (un)' d-a'-qχa'</i> | «я (ты) (т. е. женщина) пришла» |
| (15) <i>w-ez un k̄r'an ʃ i w-i</i> | «я тебя (т. е. мужчину) люблю» |
| <i>d-ez un k̄r'an ʃ i d-i</i> | «я тебя (т. е. женщину) люблю» |
| (16) <i>nen-u (zon-u) ɜwen-u qχa'</i> | «мы (я) и вы пришли» |
| <i>nen-u (zon-u) dija-w-u qχa'</i> | «мы (я) и отец пришли» |
| <i>nen-u (zon-u) buwa-w-u qχa'</i> | «мы (я) и мать пришли» |
| <i>nen-u (zon-u) dogi-w-u qχa'</i> | «мы (я) и осел пришли» |
| <i>nen-u (zon-u) motol-u qχa'</i> | «мы (я) и козленок пришли» |
| (17) <i>la-qχ'i ʃ os k'an muṭu-t i⁶</i> | «из нас один (т. е. мужчина или женщина) самый красивый» |
| <i>la-qχ'i ʃ os k'an muṭu w-i</i> | «из нас один (т. е. мужчина) самый красивый» |
| <i>la-qχ'i ʃ os k'an muṭu-r d-i</i> | «из нас одна (т. е. женщина) самая красивая» |

⁵ Нам важен факт согласования по мн. числу с субъектной группой «X с Y-ом», а не точные правила комбинации классов в позициях X и Y, поэтому некоторые тонкости согласования для простоты изложения опущены.

⁶ Это предложение вне контекста признается носителями языка с некоторой натяжкой, поэтому можно было бы также считать, что у *nen*^I нет форм ед. числа (**zon*^I «я (неизвестно, мужчина или женщина)» по семантическим причинам также невозможно).

Примеры (14) и (15) выделяют для местоимений «я», «ты» по два омонима, обозначающих лиц мужского или женского пола.

Пример (16) убедительно показывает, что *zon* требует тех же согласователей мн. числа, что и *nen*, а пример (17) свидетельствует, что *nen* требует тех же согласователей ед. числа, что и *zon*. Таким образом, удобно считать, что в арчинском языке местоимения 1—2-го лица (кроме эксклюзивной формы *nen*, к ним относится также инклюзивное местоимение 1-го лица мн. числа *nen't'u*) изменяются по числам и распадаются на три согласовательных класса, отличных от выделенных ранее (см. табл. 4).

7. В арчинском языке, как и в русском, есть так называемые слова *pluralia tantum*, обозначающие счетные предметы. Это, во-первых, слова типа *marzik'olor* «ткацкий станок», которые могут обозначать как один предмет (и обычно именно один), так и много предметов, и во-вторых, слова типа *bokr* «люди», обозначающие совокупность счетных предметов (лиц).

- | | |
|---|--|
| (18) <i>olo marzik'olor muṭ-ib i</i> | «наш ткацкий станок красивый»,
«наши ткацкие станки красивые» |
| <i>ez marzik'olor kx'anṣi i</i> | «я ткацкий станок люблю», «я ткацкие станки люблю» |
| (19) <i>qχ'w'e'-t'-u marzik'olor eḡuli i</i> | «два ткацких станка лежит» |
| (20) <i>iṭ-ib marzik'olor-t ṣe-qχ'i ṣ</i>
<i>os k'an muṭ-ib i</i> | «из имеющихся ткацких станков
один самый красивый» |
| (21) <i>b-olo bokr hibaṭ-ib b-i</i>
<i>b-ez mart ṣi kx'an ṣi b-i</i> | «наши люди хорошие»
«я всех люблю» |
| (22) <i>bokr-me-qχ'i ṣ qχ'w'e'-ṅib b-a'-qχ'a'</i> | «из людей двое (т. е. мужчины
или женщины) пришли» |
| <i>bokr-me-qχ'i ṣ qχ'w'e'-w-u qχ'w'a'</i> | «из людей двое (т. е. мужчины)
пришли» |
| <i>bokr-me-qχ'i ṣ qχ'w'e'-r-u d-a'-qχ'a'</i> | «из людей двое (т. е. женщины)
пришли» |
| <i>bokr-me-qχ'i ṣ os k'an muṭu-t i</i> | «из людей один (т. е. неизвестно,
мужчина или женщина)
самый красивый» |
| <i>bokr-me-qχ'i ṣ os k'an muṭu w-i</i> | «из людей один (т. е. мужчина)
самый красивый» |
| <i>bokr-me-qχ'i ṣ os k'an muṭu-r d-i</i> | «из людей одна (т. е. женщина)
самая красивая» |

Судя по (20) и (19), слова типа *marzik'olor* имеют в ед. и мн. числа согласователи *o/PL*, а в счетной форме — согласователи *o/IVi'* и тем самым отличаются от всех остальных классов. К словам этого типа относятся также *qχ'a'ba'qχ'u'r* «вид арчинского супа из муки», *arsiṃul* «весы» (формально — мн. число от *arsi* «деньги»), *ṣarum* «кладбище» (формально — мн. число от *ṣar* «могила»), *ṣetqχ'uṭ* «рама (оконная или дверная)» и др.

Слово *bokr* распадается на три омонима: *bokr^I*, обозначающее мужчин и женщин, и отличающееся от всех остальных классов ⁷, *bokr^{II}*, обозначающее

⁷ В этот класс попадают также слова *teb* «они» [см. (10)], *uṭat* «большое количество людей», *abaj* «родители», *χalatil* «старика и старухи», *marṭi* «все», *oḡob* «братья и сестры» и т. д.

Таблица 4

Номер класса	Представитель класса	Согласователи			
		сч.тн. ф.	ед. ч.	мн. ч.	
I	<i>boʃor</i>	«мужчина»	<i>w/w</i>	<i>w/w</i>	<i>b/PL</i>
II	<i>ʃoʃol</i>	«женщина»	<i>d/r</i>	<i>d/r</i>	<i>b/PL</i>
III	<i>dogi</i>	«осел»	<i>b/b</i>	<i>b/b</i>	<i>o/PL</i>
IV	<i>motol</i>	«козленок»	<i>o/tVt'</i>	<i>o/tVt'</i>	<i>o/PL</i>
V	<i>lo</i>	«ребенок»	<i>o/tVt'</i>	<i>o/tVt'</i>	<i>b/PL</i>
VI	<i>ʃalqʃ'</i>	«народ»	<i>b/b</i>	<i>b/b</i>	<i>b/PL</i>
VII	<i>nen^I</i>	«МЫ» (м. и ж.)	<i>o/PL</i>	<i>(o/tVt')</i>	<i>o/PL</i>
VIII	<i>nen^{II}</i>	«МЫ» (м.)	<i>w/w</i>	<i>w/w</i>	<i>o/PL</i>
IX	<i>nen^{III}</i>	«МЫ» (ж.)	<i>d/r</i>	<i>d/r</i>	<i>o/PL</i>

Таблица 5

Номер класса	Представитель класса	Согласователи			
		сч.тн. ф.	ед. ч.	мн. ч.	
I	<i>boʃor</i>	«мужчина»	<i>w/w</i>	<i>b/PL</i>	
II	<i>ʃoʃol</i>	«женщина»	<i>d/r</i>	<i>b/PL</i>	
III	<i>dogi</i>	«осел»	<i>b/b</i>	<i>o/PL</i>	
IV	<i>motol</i>	«козленок»	<i>o/tVt'</i>	<i>o/PL</i>	
V	<i>lo</i>	«ребенок»	<i>o/tVt'</i>	<i>b/PL</i>	
VI	<i>ʃalqʃ'</i>	«народ»	<i>b/b</i>	<i>b/PL</i>	
VII	<i>nen^I</i>	«МЫ» (м. и ж.)	<i>o/PL</i>	<i>(o/tVt')</i>	<i>o/PL</i>
VIII	<i>nen^{II}</i>	«МЫ» (м.)	<i>w/w</i>	<i>o/PL</i>	
IX	<i>nen^{III}</i>	«МЫ» (ж.)	<i>d/r</i>	<i>o/PL</i>	
X	<i>bokx</i>	«люди»	<i>b/PL</i>	<i>(o/tVt')</i>	<i>b/PL</i>
XI	<i>marzik'olor</i>	«трацкий станок»	<i>o/tVt'</i>	<i>o/PL</i>	<i>o/PL</i>

чающее мужчин и входящее в класс I; *bokx^{III}*, обозначающее женщин и входящее в класс II. (Таким образом, *bokx^{II}* и *bokx^{III}* ведут себя так же, как *lo^{II}* и *lo^{III}*).

В результате получаем следующую классификацию согласовательных классов (см. табл. 5).

8. Что касается классов VII—IX, то они представляют собой закрытые и очень ограниченные списки слов, которые вряд ли могут быть расширены при пополнении словаря в процессе исследования. Поэтому относительно них может быть принято два решения: 1) считать их отдельными классами, как это сделано в табл. 4 и 5; 2) считать все слова этих классов относящимися к классу IV и при них в словаре указывать отклонения от типичного для этого класса согласования.

Классы V, VI, X и XI охватывают незначительное, но не закрытое множество слов, и нет гарантии, что с увеличением словаря не появятся слова, имеющие такое же согласование. Поэтому представляется целесообразным считать эти классы полноценными согласовательными классами.

Целью настоящего анализа не являлось постулировать то или иное число согласовательных классов, так как для этого формальных соображений недостаточно (необходимо исходить из употребительности выделенных классов, удобства окончательного описания и т. п.). Важно другое, а

именно демонстрация того, что нацеленность на построение в конечном счете классифицирующей, а не порождающей (исчисляющей все правильные высказывания на данном языке) грамматики языка приводит, как правило, к необнаружению явлений, обсуждавшихся выше (пп. 3—7), а это, в свою очередь, ведет к невозможности породить грамматически правильные высказывания типа (7) — (9), (11) — (13), (16), (17), (19), (20), (22), исходя из грамматик, не описывающих с достаточной последовательностью правила, по которым проводится согласование. Поскольку эти правила выявлены, можно принять решение о включении их в грамматическую часть описания или в словарные статьи⁸.

⁸ Пользуюсь случаем выразить благодарность информанту по арчинскому языку Д. Самедову, без помощи которого данная работа не могла бы быть осуществлена.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

А. А. Реформатский. Из истории отечественной фонологии. — М., 1970, 527 стр.

Книга А. А. Реформатского посвящена только одной из страниц истории советской фонологии, а именно — истории Московской фонологической школы. Другие направления рассматриваются в ней лишь попутно как фон, на котором складывались и развивались идеи этой школы. Большую часть книги (стр. 123—523) занимает хрестоматия (точнее было бы сказать — антология) фонологических работ основателей и сторонников Московской фонологической школы, в основном — Р. И. Аванесова, В. Н. Сидорова, П. С. Кузнецова и А. А. Реформатского, опубликованных в разных изданиях, начиная с 1930 и кончая 1963 г.

Хрестоматии предпослан монографический очерк ее составителя (стр. 9—120), с рассмотрения которого естественно и начать разбор рецензируемой книги в целом.

А. А. Реформатский избрал мемуарный стиль изложения, чем освободил себя от обязанности документировать все сообщаемые им факты и сведения, многие из которых восстанавливаются просто по памяти. Для читателя такой стиль должен быть известным предупреждением, ибо никто не может поручиться за безусловную достоверность своих воспоминаний, но от читателя естественно ожидать доверия к автору, а это накладывает на него еще большую ответственность как научную, так и этическую.

В «Очерке», написанном со свойственным его автору мастерством и страстью, сообщается немало интересного о разных важных и менее важных начинаниях и событиях в нашей лингвистике, которые многим (и не только молодому поколению) либо мало известны, либо совсем неизвестны. Воскрешаются имена лиц, о которых редко вспоминают. Интересны характеристики отдельных лингвистов. Конечно, они субъективны, но это не умаляет их ценности, поскольку они принадлежат перу одного из виднейших представителей нашей науки.

В общем, будущий историк советского языковедения найдет во 2 и 3-м разделах

«Очерка» много ценного и полезного для себя материала. Вместе с тем я должен сразу же сказать, что в «Очерке» нет не только объективной истории отечественной фонологии в целом (автор этого и не обещает сделать), но и сколько-нибудь стройного изложения путей развития теории Московской фонологической школы. Читатель не получает ясного представления даже о сущности этой теории, о том, что характеризует именно ее в отличие от всех других наших и зарубежных теорий.

Не удивительно, что автор, заканчивая свой очерк, сам заметил это упущение и вынужден был дать сжатое и догматическое изложение (как он сам его характеризует) основных положений Московской фонологической школы (стр. 114—120). При этом значительная часть сообщаемого здесь не содержит ничего специфического для МФШ (Московской фонологической школы). Например: «4. Для каждого яруса может быть выделена его основная единица. 5. Для морфологического яруса основной единицей является м о р ф е м а. 6. Для фонологического (или: фонетического) яруса основной единицей является ф о н е м а... 30. При определении того или иного фонологического изменения следует опираться не на натуралистический закон М. Граммона о „более сильном звуке“, а на его интерпретацию, данную М. И. Стеблиным-Каменским, указавшим на „функционально более важный в системе элемент“ и т. д. (ср. также шп. 19, 26, 27)».

Для недостаточно осведомленного читателя остается неясным, что именно отличает теорию МФШ от других фонологических теорий. В очерке достаточно ясно показано, что началом теории МФШ, наиболее характерной для нее особенностью является признание всех комбинаторно и позиционно обусловленных чередований звуков модификациями фонемы, независимо от того, используются ли когда-нибудь в данном языке чередующиеся звуки как противопоставленные

фонемы или же не используются, иначе говоря, свойственны ли данные чередования сильной позиции (позиции максимального различия фонем) или только слабой (т. е. позиции нейтрализации). Первый вид модификации дает вариации фонем, второй — варианты. Особенно необходимо было бы подчеркнуть это особое значение термина «вариант», которое отличается от его трактовки в мировой фонологии. Указанное положение является центральной идеей МФШ, характеризующей ее на протяжении всей истории этой школы. Оно является той лакмусовой бумажкой, по которой можно определить принадлежность того или иного фонолога к МФШ.

Раздел «Зарождение московской фонологической школы» в тех немногих страницах, которые относятся к существу теории МФШ, представляет во многом искаженную картину. На стр. 16 А. А. Реформатский правильно сообщает о том, что Н. Ф. Яковлев изложил свое фонологическое кредо еще в 1923 г. в «Таблицах фонетики кабардинского языка», но он не приводит из этой работы никаких цитат и не включает ее в свою хрестоматию. Вместо этого А. А. Реформатский цитирует в этом разделе, а в хрестоматии полностью перепечатывает статью Н. Ф. Яковлева «Математическая формула построения алфавита», опубликованную в 1928 г.

Как известно, в первой статье Н. Ф. Яковлев выражает лишь свое несогласие с психологическими формулировками Бодуэна и Щербы, считая, что они не отражают существа их понимания фонемы. По поводу индивидуального сознания говорящего он писал: «фактически не оно и является базисом в работах последователей теории фонемы. Таким базисом является место и роль отдельных звуковых моментов в системе смысловых, т. е. морфологических и лексических элементов языка»¹. Цитата, приводимая А. А. Реформатским из работы Н. Ф. Яковлева 1928 г., звучит несколько по-иному. Объяснить это можно только тем, что Н. Ф. Яковлев по обязанности марриста, каким он стал к этому времени, должен был представить Щербу как идеалиста.

Самое главное, однако, не в этом, а в том, что обе обсуждаемые статьи не имели ни малейшего отношения к еще не зарождавшейся в те годы МФШ. Из работ Н. Ф. Яковлева, безусловно, должны были найти себе место в хрестоматии те страницы из его книги по адыгейской грамматике, написанной в соавторстве с Ашхамафом, на которых излагается теория фонемы. Там, действительно, авторы исходят из изложенной выше основной идеи МФШ. А. А. Реформатский,

конечно, не случайно не поместил этого в хрестоматию; он, очевидно, не хотел показывать, что теория МФШ использовалась в плане «нового учения о языке». Впрочем в этом не крылось никакой опасности, так как всякому читателю ясно, что попытка истолковать определение фонемы Марра в духе МФШ не имеет абсолютно никаких оснований.

Не имеет отношения к МФШ статья А. М. Сухотина и К. К. Юдахина, а также и статья Г. О. Винокура. Первая в общем не противоречит любой теории фонемы, вторая не содержит даже термина «фонема», хотя она была опубликована в 1947 г., когда это понятие завоевало уже весь лингвистический мир; по существу же ее можно истолковать и в духе щербовских двух типов чередований, но только описанных в старомодных выражениях.

Нельзя согласиться с А. А. Реформатским в его трактовке взглядов Бодуэна. Бодуэн не был догматиком, и взгляды его не оставались неизменными. Во «Введении в языковедение», в отличие от старых работ, он считал фонему единицей деления «с точки зрения фонетической», а морфему — «с точки зрения семасиологически-морфологической». Это совсем не похоже на признание фонемы частью морфемы, а звука — единицей фонетической делимости, какое мы находим у А. А. Реформатского и у Бодуэна семидесятых годов.

Указание Бодуэна на то, что «фонемы и вообще все производительно-слуховые элементы не имеют сами по себе никакого значения» (стр. 48), может быть, и не означает ничего более общепризнанного положения, что фонемы как таковые лишены смысла. Во всяком случае и здесь уместно вспомнить, что в одной из самых последних его работ, относящихся к последнему году его жизни, Бодуэн различал два принципа орфографии: фонемографию и морфемографию, а из этого следует, что он признавал независимость фонем от морфем.

Больше всего эмоций вложено А. А. Реформатским в разделы о расхождении Московской и щербовской фонологических школ и об оценке МФШ зарубежными и отечественными лингвистами. Вследствие этого они наименее объективны и точны. Многие в них поставлено с ног на голову.

А. А. Реформатскому почему-то очень не хотелось бы, чтобы Щерба первым сформулировал так называемую смысло-различительную функцию фонемы, он приписывает это Бодуэну, но процитировать Бодуэна он, естественно, не может, так как у него подобной формулировки нет не только в работе 1868 г., но и ни в одной позднейшей. А. А. Реформатский цитирует С. И. Бернштейна, который, однако, совершенно не имел

¹ Н. Ф. Яковлев, Таблицы фонетики кабардинского языка, I, 1923, стр. 65.

в виду «испровергать» Щербу. Что же касается существа дела, то идея различительной роли звуков интуитивно присутствовала в науке с тех пор, как возникло языковедение: в русской науке, как я уже однажды писал об этом², совершенно недвусмысленно высказывался в этом плане еще Ломоносов в «Российской грамматике». Вместе с тем определение фонемы и притом с полной четкостью ввел Щерба, и, как, конечно, известно А. А. Реформатскому, впервые указал на это не кто иной, как Трубецкой³. Важнее всего не само определение, а то, что Щерба таким путем противопоставил понятия «фонема» и «оттенок»; ведь только с принятия этого противопоставления можно сказать, что теория фонемы получает ясные очертания.

Во всех фонологических теориях гораздо больше общего, чем различного. Много общего также и между фонологией щербовской и МФШ и притом даже в исходных положениях. А. А. Реформатский не заметил того, что Щерба, как и после него представители МФШ, при истолковании понятия фонемы отпирывались от ее связи с морфемой и способности различать морфемы. Однако Щерба выводил из этого самостоятельность фонемы как лингвистической единицы, по МФШ же фонема это только часть морфемы, это единица, которая занимает, по словам П. С. Кузнецова, одно и то же порядковое место в составе данной морфемы⁴.

В основе щербовского толкования понятия фонемы лежит то, что ее неделимость (синтагматический план) и единство (парадигматический план) определяются в конечном счете смысловым и морфологическим критерием. Этим щербовская фонология отличается и от Пражской, и от дескриптивистской и от ряда других. Обо всем этом можно заключить уже при внимательном чтении «Русских гласных».

К сожалению, А. А. Реформатский не заметил этого и даже счит возможным процитировать слова Г. А. Климова о практической беспомощности фонологического анализа Щербы⁵. Разве не известно всем, что при описании множества бесписьменных языков Советского Союза, все лингвисты в двадцатых и тридцатых годах пользовались выявлением фонемных противопоставлений через смысловозначительную функцию, как это

было указано Щербой в «Русских гласных»? Разве не ясно, что все без исключения фонологи определяют состав фонем языка по наличию противопоставлений в положении максимального различения? Расхождения в результатах объясняются не различной трактовкой фонемы, а, в основном, разным объемом привлекаемого материала и разным пониманием механизма членения потока речи.

По правильному определению А. А. Реформатского, фонология — это более высокая ступень развития фонетики. Как пишет польский фонетик Л. Заброкский, «все современные фонетические исследования, исходя, по существу, из того самого собой разумеющегося положения, что звуковая субстанция является отражением абстрактных единиц»⁶. И действительно, для современной фонетики ясно, что в языке и в речи не существует иной звуковой единицы, кроме фонемы. Сказанное справедливо не только для собственно фонетических исследований, но и для исследований по акустике речи, автоматическому распознаванию речи и т. п.

Считая, что в этих случаях оперируют единицами, определяемыми не лингвистически, что такие речевые единицы, следовательно, существуют, А. А. Реформатский не отдает себе отчета в том, что он в этом отношении стоит на точке зрения досиверсовской фонетики первой половины прошлого века. Впрочем это можно сказать о МФШ вообще, если учесть следующую цитату из программной статьи П. С. Кузнецова: «Любой звук речи может быть ограничен от звука речи предшествующего и последующего. Это может быть сделано с разной степенью точности, какими средствами — в данном случае безразлично. Несмотря на различные артикуляционные и акустические переходы от одного звука к другому, такое разграничение проведет любой говорящий на данном языке, с большей степенью точности наблюдатель-лингвист, еще с большей степенью точности — прибор»⁷.

В «Очерке» содержится множество порицаний Щербы и его последователей и, наоборот, высоких оценок МФШ, с которыми не всегда можно согласиться. О некоторых из них хочу сказать несколько слов. По А. А. Реформатскому, получается, что теория фонемы МФШ созвучна идеям мировой фонологии (см. стр. 73). С ним пришлось бы согласиться, если бы он привел в качестве

² Л. Р. Зиндер, К истории фонетики в России, «Уч. зап. ЛГУ», 237, 1960, стр. 9.

³ Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960, стр. 42—43 (примеч.).

⁴ П. С. Кузнецов, Об основных положениях фонологии, в кн.: «Из истории отечественной фонологии», стр. 476.

⁵ А. А. Реформатский, Из истории отечественной фонологии, стр. 66.

⁶ L. Zabrocki, [Ред. на кн.:] «Sprachen, Zuordnung, Strukturen», «Phonetica», 18, 4, 1968, стр. 247.

⁷ П. С. Кузнецов, указ. соч., стр. 473. Неясно, как относится к этой статье А. А. Реформатский, но для всех она прозвучала как манифест Московской фонологической школы.

примера хотя бы одну такую теорию, в которой противопоставляются понятия (я не говорю о терминах): фонема — вариация — вариант. Противопоставление же: фонема — оттенок (или вариант, аллофон) не нуждается в подобных иллюстрациях ввиду почти полной его универсальности. Что же касается «нейтрализации», то она трактуется по-своему как в Щербовской школе, так и в МФШ.

А. А. Реформатский всячески подчеркивает лингвистичность теории МФШ. Вместе с тем, не соглашаясь с морфологическим обоснованием бифонемности долгого мягкого глухого шипящего в русском языке, он пишет: «по Аванесову и Реформатскому... при московском (и общеславянском) произношении этих согласных как „долгих дорсально мягких фрикативных“ наличие монофонемности, тогда как при других „произношениях“ (щ как [шч] или [ш:] твердо!) следует признать бифонемность» (стр. 73).

Одним из важнейших преимуществ теории МФШ А. А. Реформатский считает, по-видимому, ее мнимую созвучность с основными принципами рациональной орфографии. Следует отметить, что этот тезис усиленно пропагандируется всеми сторонниками МФШ, так что многим он кажется достаточно убедительным. Тем не менее приходится признать, что это является плодом глубочайшего недоразумения, корни которого кроются в том, что МФШ, как об этом свидетельствуют и первые работы, опубликованные в «Хрестоматии», возникла из рассмотрения принципов русской орфографии.

Отражение позиционно чередующихся единиц вовсе не подразумевает того, чтобы они представляли одну морфему, а не объяснялись морфологическими связями. Поэтому между сторонниками МФШ и не согласными с ней лингвистами абсолютно нет никаких принципиальных противоречий относительно ведущего принципа, в частности, русской орфографии. Разногласия по существу касаются только названия этого принципа. В этом смысле не было абсолютно никаких разногласий и у Щербы с Н. Ф. Яковлевым.

В этой связи я считаю необходимым подчеркнуть, что Бодуэн, готовый признать за одну фонему даже и исторически чередующиеся фонемы⁸, считал ор-

фографию типа русской м о р ф е м о г р а ф и е й.

Итак, если отвлекаться от чисто внешних ассоциаций и вникнуть в существо дела, то оказывается, что теория фонемы МФШ не только не раскрывает основ русской орфографии, а полностью беспомощна в объяснении написаний так называемых гиперфонем. Действительно, почему в слове *стол* нужно писать *с*, а в *где* *г*? По-видимому, не совсем неправ был Л. И. Жирков, обвиняя МФШ в агностицизме. П. С. Кузнецов, может быть, движимый стремлением выйти из этого тупика, и пришел к понятию звука языка, но ведь это понятие подразумевает независимое от морфем существование я з ы к о в ы х звуковых единиц.

В заключение должен указать на абсолютную недопустимость цитирования неопубликованных работ и особенно в случае, если они подвергаются критике. Это А. А. Реформатский позволили себе сделать в отношении еще и до сих пор не опубликованной статьи Л. В. Бондарко, которая доверительно послала ему рукопись статьи на отзыв. Непонятно, почему редакция книги допустила такое недозволительное цитирование.

Что касается «Хрестоматии», то, с учетом высказанных выше замечаний, ее появление следует, безусловно, приветствовать. Читателю, конечно, удобно иметь в одной книге работы, собранные из разных изданий, зачастую малодоступных. В свете этого мне кажется, что вместо некоторых статей, включенных, как я указывал выше, без достаточных оснований, было бы целесообразнее включить в «Хрестоматию» некоторые разделы из «Введения в языковедение» А. А. Реформатского, несмотря на то, что эта книга достаточно широко известна.

Л. Р. Зиндер

2, М., 1963, стр. 277. Как известно, Бодуэн не дал единого законченного определения фонемы. С. И. Бернштейн в своей статье «Основные понятия фонологии» (ВЯ, 1962, 5) прекрасно показал, что за бодуэновской фонемой скрывается целая система фонологических единиц. Недаром ближайшие ученики Бодуэна, сначала Щерба в России, а за ним Улашин в Польше сочли необходимым развить то, чего не сделал их учитель «с надлежащей полнотой» (см. «Русские гласные», § 1).

⁸ Н. А. Бодуэн де Куртенэ, Избр. труды по общему языкознанию,

Н. И. Толстой. Славянская географическая терминология. Семасиологически этюды. — М., изд-во «Наука», 1969. 263 стр. (АН СССР. Институт славяноведения и балканистики).

Со времени лингвистической экспедиции в Полесье (1962—1965) прошло немногим более пяти лет. Однако результаты этой экспедиции вполне очевидны: в короткой последовательности друг за другом опубликованы три содержательных тома¹, в которых собраны материалы экспедиции. Плодотворность подобного предприятия вполне ясна из многогранности поставленных проблем, которые до сих пор лишь отрывочно освещались в специальных публикациях. В настоящее время не подлежит сомнению, что это последовательное мероприятие с его системной направленностью, с ясной, планомерной и многосторонней целевой установкой принадлежит к крупным лингвистическим начинаниям последнего времени, осуществленным непосредственно в полевых условиях: обращение к первоисточникам, как и всегда, оказалось весьма полезным.

Доказательством этого являются и рецензируемые «Семасиологические этюды»; они основаны на обширном материале, собранном непосредственно *en terga* и впоследствии дополненном путем исчерпывающего привлечения рукописных сборников и картотек диалектных словарей².

Вряд ли, однако, можно согласиться с утверждением автора о том, что «материал представляет собой наибольшую ценность». Мы вполне понимаем это скромное утверждение, помня о том, что едва ли можно ожидать, чтобы в недалеком будущем методические возможности семасиологии получили такое развитие, при котором достигнутые автором лингвистические результаты и их экстралингвистические следствия потребовали бы какой-то корректировки или тем более оказались бы устаревшими.

Книга «Славянская географическая терминология»³ — одно из крупных ис-

следований, появившихся в последнее десятилетие, посвященных анализу однозначно ограниченного круга общеславянской лексики⁴. В данном случае избрана определенным образом ограниченная номенклатурная лексика, соотносимая с естественными реалиями внешнего мира, которые обычно находят отражение в языковых обозначениях. Эти обозначения элементов экстралингвистической действительности опираются на их реальные или условные различия (разграничения). Отсюда особый интерес целого ряда научных дисциплин к работам подобного рода, особенно тех наук, которые используют донаучное толкование понятий в качестве своего рода «окаменелых свидетелей» (*Leitfossilie*) прошлого. Исследование понятий на основе и посредством знаков, обозначающих предметы повседневного опыта и различающихся во временном и пространственном планах, уже давно было названо «археологией духа». Наши ожидания относительно возможностей исследований подобного рода не велики, ибо хорошо известна определенная ограниченность возможных при этом выводов. Мы помним также и некогда существовавшее в науке резкое противопоставление слова и вещи, знака и понятия, что еще раз предостерегает нас от слишком поспешных или механистических выводов. Рецензируемая работа, основанная исключительно на анализе фактического материала и на использовании рационального метода, безусловно, гарантирует автора от разного рода эксплицитных или имплицитных манипуляций с далеко идущими экстралингвистическими выводами.

В своей работе Н. И. Толстой затрагивает тему, которая в послевоенные годы была различным образом исследована в отдельных языках⁵; общеславянский подход, однако, не характерен ни для одной из критически разбираемых им работ. Следует особо подчеркнуть, что целевая установка автора не ограничивалась «славянской географической терминологией» (в связи с этим заголовки работы оказываются не совсем адекватными). Автор скорее предлагает семасиологические этюды, основанные на рассмотрении инвентаря знаков, относящихся к различным понятийным сферам. Его основное внимание направлено на выработку методологии. Итогом рецензируемых этюдов явились своеобраз-

¹ Кроме рецензируемого исследования, см.: «Полесье», М., 1969; «Лексика Полесья», М., 1968. Рец. см.: «Die Welt der Slawen», Jg. XIV, 1969; ВЯ, 1971, 4.

² «Дыялекталагічны атлас беларускай мовы» (Минск), «Атлас середньонадніпряньских і північних говорів української мови» (Київ); «Карпатский диалектологический атлас» (Москва); «Словарь русских народных говоров» (Ленинград) и др.

³ По мнению многих современных ученых, название «терминология» в строгом смысле слова не применимо к объектам данной предметной области, ибо здесь мы не имеем дела с искусственными и объективно-научными классификациями. См.: E. Coşeriu, Einführung in die strukturelle Betrachtung des Wortschatzes, Tübingen, 1970, стр. 93.

⁴ Ср., например: О. Н. Трубачев, Ремесленная терминология в славянских языках, М., 1966.

⁵ Ср. даваемую автором критическую оценку этих публикаций во «Введении», стр. 5—12.

ные повторяющиеся семантические схемы развития «значения (значений)», которые показывают семантическую структуру участка словаря, избранного автором для исследования. Рассматривая и сопоставляя разрозненные «этикетки» (обозначения понятий), Н. И. Толстой выясняет причины их внутренней взаимообусловленности и вытекающую отсюда упорядоченность в общеславянском плане. Он также прокладывает пути к пониманию механизма системности значений. Автор не скрывает, что содержащаяся в его книге постановка проблемы, значительно усложненная и имеющая другую направленность по сравнению с более ранними тематически близкими исследованиями, проведенными на материале отдельных языков, стала возможной именно при учете результатов этих исследований. Не подлежит сомнению, что Т. А. Марусенко⁶, которая на анализируемой ей территории выделила узкие локальные зоны, добилась значительных результатов, а установленные ею лексические изоглоссы как методически, так и по выводам оставили далеко позади прежние работы, посвященные исследованию других славянских языковых ареалов. Только на основе тщательного и подробного сопоставления методики имеющих исследований, близких по тематике к рецензируемой работе, и на основе здоровой оценки прежнего состояния методики подобных исследований можно понять сделанный Н. И. Толстым шаг вперед в другом направлении. Речь идет «о наблюдениях за семантическими сдвигами и смещениями слов, бесспорно относящихся к одному этимону» (стр. 13). Тем самым оправдывается ограничение исследования определенным фрагментом словарного состава⁷, который разбирается в четырех главах: «Гора — лес», «Безлесное пространство — лес», «Болото», «Омут. Яма. Лука».

Если это ограничение не нуждается в дальнейших оправданиях, то второе ограничение, на которое указывается в работе, выглядит несколько неожиданным. Речь идет об использовании примеров из языковых памятников в диахроническом плане. Автор пишет, что «привлечение этого материала было бы, безусловно, полезно» (стр. 13), но в качестве причины отказа от исторического материала он указывает в первую очередь на возможное в этом случае

удвоение объема работы «при пропорционально гораздо меньших общих результатах разрешения поставленных задач» (там же). Однако именно здесь и может возникнуть расхождение мнений. Нам известны цели, поставленные автором, а также и то, что при его исследовании должно занять первое место. Следует, однако, помнить, что из возможного множества «семантических сдвигов и смещений слов», существование которых может быть практически доказано, в языке находит отражение лишь ограниченное их число. Именно поэтому здесь была бы желательна «историческая» полнота засвидетельствованных контекстов. Изучение слов, с какой бы целью и в каком бы направлении оно ни предпринималось, всегда касается в первую очередь их истории и раскрывает все многообразие их бытования. Подход автора в данном случае нельзя считать безусловно убедительным. Отказ от примеров из диахронии, мотивированный тем, что это привело бы «к весьма значительному расширению объема работы» (там же), сам по себе не является обоснованным. В противоположность этому следует всецело поддержать положение автора о том, что к анализу следует подходить с чрезвычайной осторожностью, причем каждый пример из языковых памятников следует подвергнуть филологическому и лингвистическому анализу, после которого все же остается сомнение в том, представлен ли обнаруженный географический термин в историческом контексте в определенном значении и каков диапазон этого значения. Однако здесь следует отметить (и это автору, безусловно, хорошо известно), что и представленные диалектные вокабулы, взятые из вторых рук и из письменных памятников, нередко также не поддаются проверке и не являются а priori контекстуально однозначными и ясными.

В этом месте «Введения» у читателя еще не складывается представления о тех методических принципах, на основе которых автор разворачивает свою на редкость стройную аргументацию. Это несколько критически настраивает читателя и даже ведет к некоторому скепсису. Несмотря на растущее согласие читателя с выкладками автора по мере приведения им фактического материала, напряжение поддерживается на протяжении чтения всей книги, вплоть до «Кратких выводов». Там все проясняется в заключительном положении: «Иными словами, синхронные особенности диалектов в пространстве могут быть представлены как диахронические, как последовательности изменения диалектных черт во времени» (стр. 242).

Такая подмена пространственных семантических колебаний диахроническими вызывает принципиальное сомнение. Историю и эволюцию понятия не следует

⁶ Т. А. Марусенко, Названия рельефов в украинском языке. Канд. диссерт., Киев — Каменец-Подольский, 1967; ср.: е е же, К словарю украинских географических апеллятивов, Названия рельефов, сб. «Полесье».

⁷ «Материал для сравнения привлекался по принципу общности полесских и других славянских лексем или тождественности семантических сдвигов» (стр. 12).

подменять максимально широким инвентарем синонимов и его взаимодействием внутри языковой семьи в синхронии. Все это, однако, хорошо известно автору и было в полной мере принято во внимание в его исследовании. Он обнаружил, что, учитывая константный характер лексики славянских языков, при исследовании достаточно широкого круга семем можно с большой уверенностью высказаться о семантической эволюции. «Чем большее число различных значений-рефлексов известно в славянском мире, тем с большей достоверностью и подробностью возможно восстановление процесса семантической эволюции от начального до конечного ее состояния, тем более убедительна реконструкция семантики термина-этимона» (стр. 242). Этот прием обладает замечательным свойством: он оперирует «ассоциативным полем» в качестве языковой модели и одновременно нейтрализует принцип относительности как выражение различного членения словесного, а также и понятийного, поля в отдельных славянских языках в процессе их самостоятельного развития. В этой связи можно указать на синонимию и спонтанный параллелизм семантических сдвигов. Мы узнаем, что, развиваясь по ассоциативному принципу, этимон как морфологическое ядро семемы может обозначать не только то или иное понятие, но и его противоположность. Это относится и к суффиксам (например, *-ина* как суффикс множественности однородных предметов и как суффикс с индивидуализирующей функцией, стр. 59; ср. также *лес* в значении «Wald» и «отдельное дерево», стр. 60; ср. также пару *шума* «низкорослый лиственный лес» и *гора* «строевой лес», стр. 65 и сл.; соотношение *гора* : *лес* характеризуется как «универсальный семантический сдвиг»).

Остается вопрос, как быть со ссылкой на параллельные семантические процессы? Они обладают определенной доказательной силой в рамках аналогии, но сами по себе не являются доказательными для других семантических отношений. Все упирается в вопрос мотивации в самом буквальном смысле, в вопрос об импульсе, вызвавшем семантический переход. Засвидетельствованная в псковском ареале многозначная вокабула *краж* сама по себе лишена определенного значения. Совершенно ясно, что для того, чтобы выяснить, что она означает в каждом конкретном случае, необходимо (как в отношении, скажем, местоимений) проследить ее использование в контексте.

Мы не будем здесь подробно рассматривать многочисленные выводы автора по частным вопросам, которые нередко имеют большое значение и отличаются новизной. Он приводит многочисленные примеры близости словенского и словацкого языков (стр. 79, 127 и др.). Хотя этимология не является предметом исследования, автор рассматривает этимологически спорные факты на основе широкого семасиологического анализа (например, **gaj*, **galo*, **bolna* и др.). Важным представляется нам указание на то, что **kaluga* встречается в тех славянских языках, где имеется также **jaruga*. Однако я не могу присоединиться к объяснению автора на стр. 240.

Интересны и важны сделанные мимоходом указания на дублетные формы с *b/p* в начале слова (стр. 74), на повторяющиеся сочетания *ka-*, *ba-* в украинских названиях ям и луж, указания на параллельное использование строительных терминов и орографических терминов и т. д.

«Краткие выводы» автора снова являются подтверждением его чрезвычайной скромности. Здесь спокойно констатируется: «...одной из главных задач нашей работы было установление наиболее полного набора семем, относящихся к каждой отдельной лексеме в общеславянском масштабе, и выявление на этом основании ряда „семантических цепей“» (стр. 243). Автор называет звенья таких семантических цепей связанными семемами и приводит типичные примеры. Речь идет об установлении основных структур семантических переходов в изучаемой номенклатуре, таких как «гора» ↔ «лес», «гора» ↔ «берег», «дуг» ↔ «лес» и др. Выделенные таким образом значения свидетельствуют о переменчивой смысловой нагрузке отдельных названий. Моментом, который вступает в противоречие с этой многозначностью, является мотивированность лексемы, т. е. еще сознаваемая или живая этимолого-семантическая связь.

Книга Н. И. Толстого даже для тех читателей, которые критически настроены по отношению к ее отдельным частям, является исключительно полезной и необыкновенно поучительной. Эта работа свидетельствует о большой эрудиции автора, является попыткой проложить новые пути в методологии исследования и представляет собой достойный вклад в современную славистику.

И. Шютц

Перевел с немецкого М. М. Маковский

Ф. П. Сороколетов. История военной лексики в русском языке (XI—XVII вв.). — Л., изд-во «Наука», 1970. 381 стр.

Лексика русского языка в истории системных связей между ее единицами, необычной обширности и подвижности их, еще не изучена как целое. Наши знания касаются большей частью происхождения или истории отдельных лексем, реже тех или иных групп слов и семантических полей и пока не дают возможности для широких обобщений, в частности, для установления функционально-стилистических сфер применения языка и представления его в системе. Естественно поэтому, что в имеющихся пособиях по истории древнерусского языка раздел «Лексика» либо совсем не представлен, либо содержит отрывочные сведения. В свете сказанного и следует оценивать книгу Ф. П. Сороколетова.

В рецензируемой монографии исследуются пути формирования весьма значительного пласта древнерусской лексики (~1500 слов, относящихся к военному делу) на протяжении огромного и сложного исторического периода — с XI в. вплоть до середины XVII в. Выбор для исследования указанного пласта слов вполне оправдан как с лингвистических, так и с культурно-исторических позиций. Особенностью выбранного метода исследования, который во многом способствовал успеху анализа, является совмещение тематической классификации изучаемого материала с его лексико-семантической группировкой, сочетание языкового подхода с культурно-историческим.

Ф. П. Сороколетов убедительно показывает, что исследуемая лексика представляет собой не набор разрозненных, изолированных единиц, а подчинена, несмотря на известную «открытость», системным связям и отношениям, которые порождаются: а) отношениями между предметами и явлениями самой действительности. Состояние военных сил в различные исторические периоды (особенно в периоды более прогрессивных форм общественных отношений) характеризуется определенной упорядоченностью, организующим моментом, противопоставленностью реалий. Это обстоятельство тотчас же обнаруживается в языке; б) принадлежностью слов к одной лексико-семантической группе, например *полкъ, рать, дружина, сила, люди; воевода, голова, атаманъ, полководецъ, сотникъ* и т. д.; в) семантической общностью слов, входящих в ту или иную лексико-семантическую группу, наличием синонимических связей между словами. Так, многозначные слова *полкъ, рать, дружина, вои* обладали в древнерусском языке (т. е. в XI—XIII вв.) общим значением «войско, вооруженная сила» (стр. 291—293); благодаря общему значению в течение определенного периода устанавливались устойчивые (январные) лексико-се-

мантические отношения между этими словами. Системные отношения хорошо прослеживаются там, где несколько слов-терминов служат для наименования одного понятия. Например, для названия война-знаменосца существовали слова: *стяговникъ, стяжьникъ, знаменьчикъ, знаменосецъ* (стр. 113); г) взаимодействием военной лексики одного тематического разряда с лексикой других тематических разрядов, а также со словами нетерминологического характера, с функционально ограниченной лексикой старославянского языка, с лексикой иноязычной. Все это осложняет картину функционирования военной лексики и свидетельствует о том, что лексика и фразеология «не являются механическим, бессистемным и случайным собранием разрозненных элементов, а представляют собой определенную систему» (стр. 350), хотя и не вполне выработанную; д) наличием целого ряда микросистем в системе военной терминологии. Такого рода микросистемами являются, например: названия родов войск; наименования воинов по профессиональному признаку; название воинов по служебному положению; названия способов боя и тактических приемов и мн. др. (см. стр. 355); е) существованием в терминологическом ряду семантически опорного слова, вокруг которого группируется серия частных наименований; при этом опорный термин является обобщающим, родовым наименованием, по отношению к которому зависимые от него термины выступают как видовые. Таким термином, например, было слово *воин*. Видовыми терминами к этому слову служили в древнерусском языке частные наименования воинов: *пѣшъць, коньникъ, съцьць, стрѣльць, бренидьць, лодейникъ* и др. под. (см. стр. 100—112); ж) принадлежностью слов, образующих ту или иную тематическую группу, к определенному словообразовательному типу (ср., например, наименования воинов по профессиональному признаку: *забральникъ, копейникъ, стяжьникъ, стрѣльникъ* и др. под. — (стр. 112 и сл.). Сюда же примыкают и слова, образованные от одинаковой основы.

Несомненной заслугой автора является и то, что система военной лексики предстает не как некая статическая отвлеченность, а в динамике, в движении, в процессе функционирования на протяжении семи столетий. Автор выявляет экстралингвистические причины изменения в отдельных ее звеньях (микросистемах), в то же время обращая внимание на сдвиги семантико-стилистического плана, обусловленные внутренними закономерностями развития языка. Это дало возможность Ф. П. Сороколетову дополнить и представить в системе сведения не только

о военной лексике, но и о военной организации, существовавшей на Руси (воинские единицы, субординация входящих в них социальных прослоек, уровень военной техники и т. п.). Так, он показывает, как с ростом и укреплением Московского государства растет и совершенствуется военное дело, появляются новые виды оружия, по-новому организуются вооруженные силы, меняется тактика боя и как все это находит непосредственное отражение в языке (стр. 135—160, 186—190, 200—203, 209—212 и др.). Например, указывается экстралингвистическая причина более позднего появления у собирательного существительного *дружина* сингулятива *дружинникъ* (при параллельном существовании *гридь* — *гридин*, *рать* — *ратник*), связанная с весьма сложным, четко дифференцированным социальным составом древнерусской дружины (стр. 68).

В книге хорошо показано, что формирование системы военной лексики представляло непрерывный процесс, что количественные изменения лишь со временем привели в ней к изменениям качественным (по существу только во второй половине XVII в.), что резкой ломки системы при переходе от древнерусского языка к языку русской народности не было. Вместе с тем оказались раскрытыми те особенности, которые были присущи военной лексике древнерусской (XI—XIV вв.) и более поздней поры (XV—XVII вв.). Определенное противоречие во взглядах автора мы видим в том, что Ф. П. Сороколетов рассматривает «развитие лексики русского языка от XI до середины XVII вв. как историю развития одной лексической системы» (стр. 4). Однако он не разъясняет, как это согласуется с общепринятым разграничением древнерусского и собственно русского языков как разных систем и с предложенной им самим периодизацией истории военной лексики, включающей даже не два, а три этапа: XI—XIII (XIV), XIV—XV (XVI), XVI—XVII вв.

Ф. П. Сороколетов характеризует рассматриваемую систему как открытую, имеющую широкие связи с другими элементами словарного состава. Можно полностью согласиться с тезисом автора, что «для древнерусской военной терминологии... характерно не столько наличие особых терминов, речений или особых значений, не существующих в общенародном языке, сколько своеобразные отношения различных специализирующихся слов со словами общелитературного языка, отношений, в которых можно заметить известную систему, отражавшую в то время систему военного мышления, систему военных понятий» (стр. 30). Это значит, что для «изучаемого периода... можно говорить лишь о становлении специальных терминов и системы военной терминологии» (там же).

Более того, Ф. П. Сороколетов не переносит ходячие представления о характере терминов (однозначность, отсутствие синонимии и др.) на древнерусский период, не модернизирует и не упрощает их природу. Он утверждает вполне справедливо, что терминология как часть словарного состава языка теснейшим образом связана с ним и «развивается по тем же законам, что и весь словарный состав» (стр. 356). Однако смущает слишком категоричное утверждение, что «различия между термином и нетермином надо искать не в плане выражения» (стр. 29), что термины, как и неспециальные слова, оформляются «структурно-грамматически» одинаково. Это, возможно, правильно по отношению к изучаемому периоду и ко многим современным терминам, но следует иметь в виду, что в связи с развитием терминологической системы русского языка, ее специализацией, усилившейся дифференциацией функционально-стилистических средств языка появляются и особые средства для образования терминов. Ср. хотя бы популярные с недавнего времени суффиксы: *-ма* в лингвистике, *-трон* в физике, *-он* в химии и т. п.

Автор прослеживает сложные и нередко противоречивые факторы, участвующие в формировании термина, показывает механизм выработки терминологической системы в процессе развития языка, выявляет разнородные, часто сталкивающиеся тенденции, ведущие к специализации значения слова.

В процессе становления термина между несколькими параллельно существующими словами военного содержания, обозначающими одно и то же понятие, возникает конкуренция. В результате такой борьбы наблюдается: а) семантическое расхождение, размежевание конкурирующих слов. Например, в конце XVII в. в слове *ополчение* происходит семантический сдвиг: оно начинает обозначать «войско, собираемое в помощь регулярной армии». Это вызвано появлением слова *армия*, которое стало передавать общее понятие о войне (стр. 172 и сл.); ср. также семантическое расхождение и смысловую дифференциацию между терминологическими словосочетаниями и словами *служилые люди* и *ратные люди* (стр. 176 и сл.); *стрѣльць* и *тулавецъ* (стр. 223); *воевода* и *голова* (стр. 239—240); б) исчезновение одного или нескольких слов, не выдержавших конкуренции. Так, слово *станъ*, служившее в языке XV—XVII вв. основным наименованием военного лагеря, окончательно вытеснено из языка синонимический ряд *товарь*, *шатерь*, *колымагъ*, *таборъ*, *кошь* (стр. 194—200). Возможна также замена ряда слов одним родственным. Например, термин *пѣхота* в начале XVII в. сменил такие однокоренные термины, бытовавшие в старший период древне-

русского языка, как *пѣшцы*, *пѣшие люди*, *пѣшие* (стр. 353); в) устранение семантической слитности, нерасчлененности. Как показывает исследование Ф. П. Сороколетова, военные и невоенные аспекты в семантике соответствующих слов не были строго дифференцированы: например, они совмещались в слове *городовой* («военный» и «полицейский»); в словах *кузнецы* и *плотники* военные значения теснейшим образом переплетались с ремесленными и т. д. Такой семантический синкретизм отражал состояние реалий. Вследствии у таких слов оставалась одна семантическая функция, другие значения постепенно исчезали; г) перераспределение мест в синонимическом ряду; д) утверждение в языке однозначного слова-термина, который одерживает победу над многозначным наименованием. Таков, например, термин *вбстовой*, вытеснивший в более позднюю эпоху многозначное слово *вбстовыцикъ* (стр. 214—215) и т. д.

Ф. П. Сороколетов во многом пополнил или уточнил наши представления о военной лексике. Полная история многих терминов (*дружина*, *рать*, *воевода*, *стрѣльць*, *коньникъ* — *коневникъ* и т. д.) в его книге оказалась освещенной впервые и исчерпывающей. В монографии показана исконно славянская словарная база военной лексики, которая пополнялась в основном за счет внутренних источников (переосмысление существующих слов, новообразования по тем или иным моделям). Несомненными находками являются выявленные Ф. П. Сороколетовым собственно русские новации (например: *рать* в значении «войско, вооруженные силы», *полкъ* в значении «определенная часть войска; сражение; военный поход», а также *берладьникъ*, *загоньцикъ*, *подсада* и ряд других), о которых мы знаем до сих пор явно недостаточно. В книге раскрыты источники заимствований, которые были незначительными (стр. 250). Специально останавливается автор и на диалектных вкраплениях в общерусском фонде, иллюстрируя их семантическую специфику (стр. 304) и малочисленность.

Автор стремился наряду с семантической характеристикой терминов дать функционально-стилистическую (*воинство*, стр. 162, *ополчение*, стр. 173 и др.); хронологически прикрепить появление и исчезновение того или иного термина, создание или разрушение соответствующих синонимических рядов; показать тенденции терминологизации и детерминологизации, деривационные возможности рассматриваемых терминов (*война* — *военный*, *воинский*, *воиникъ* и т. д.), формирование на их основе совокуностей устойчивых сочетаний, отражающих дифференциацию обозначаемых понятий (*дружина передняя*, *лутшая*, *старшая*, *лепшая* и т. п.), внутрисистемные отношения между исконно русскими словами

и заимствованными при близости их семантики (*полкъ* — *режиментъ*, стр. 149); разграничить среди иноязычной лексики по существу экзотизмы, обозначающие явления, не свойственные русской жизни, и слова, заимствованные вместе с определенными предметами (стр. 250), раскрыть всю сложность процесса их освоения.

Много ценных и тонких наблюдений содержит этот труд по отдельным частным вопросам. Выводы и наблюдения автора строятся на основе огромного фактического материала, почерпнутого из различных письменных памятников древнерусского и старославянского языков; эти наблюдения опираются на материалы картотеки ДРС, на диалектные источники и т. д. Автор широко использует данные славянских языков. Книга написана просто и доходчиво, отличается композиционной стройностью.

В числе недостатков можно было бы назвать следующие.

1. Автору не везде удалось очертить границы распространения системных отношений в сфере военной лексики и фразеологии. Поэтому отдельные тематические разряды, нередко составляющие особую микросистему, не нашли своего отражения в книге. Сюда можно отнести, например, слова, обозначающие предметы вооружения (*копьѣ*, *стрѣла*, *лукъ*, *мечъ*, *кинжолъ*, *сабля*, *сулиця*, *боевой топоръ*, *булава*, *кистень* и т. д.).

2. В книге нет необходимой четкости в толковании семантики некоторых терминов. Так, неправомерно приписывать существительному *вои* значение ед. числа (стр. 79), к тому же на основании одного примера, имеющегося в «Материалах» И. И. Срезневского: «Имате ли воѣ (Мф. XXVII. 65. Четвероув.)». Форма *воѣ* здесь — вин. падеж. мн. числа от *вои* «войско». Не случайно, что в Остромировом евангелии на месте этой формы стоит *коустодиж* в значении «полк воинов». Соотносительной формой ед. числа к *вои* «войско» было не *вой*, а *воинъ*, зафиксированное уже в древнейших памятниках. Невозможно согласиться с утверждением автора книги о неизвестности сингулятива *воинъ* древнерусскому языку на раннем этапе его развития. Это не согласуется даже с примерами, приводимыми в книге. Да и как тогда могло быть вытеснено уже в древнерусском языке существительное *вои* производным *воинъ*? И так ли прозрачна внутренняя форма слова *вои*, как утверждает автор (стр. 78)? На каком основании строится предположение о его первоначальной семантике «военный», принадлежащий войску, если единственным исторически засвидетельствованным значением является «войско» и само производное *воинско* относится к древнерусскому периоду?

Не подтверждено также примерами (стр. 81), а потому вызывает сомнение

существование формы ед. числа *оимъ* «воин» (при наличии слов *оимы*, *оиминъ*), ибо слова, особенно заимствованные, лишь по внешнему виду могут совпадать с формой мн. числа, не являясь таковыми по существу (ср. *татары* — *татаринъ* при отсутствии формы ед. числа *татарь*).

3. Автор рецензируемой книги при анализе некоторых производных не учитывает характера словообразовательного типа, по которому они созданы, деривационного значения соответствующих аффиксов. Поэтому, например, утверждение, что «суфф. *-иць* вносит (в производное *полчиць*. — В. Ж. и В. М.) значение увеличительности вместе с пренебрежительно-презрительной экспрессией» (стр. 48), не соответствует действительности. Во-первых, весьма сомнительно, чтобы рассматриваемое слово имело начальную форму на *-ь* и, следовательно, суффикс *-иць*, ибо последний в древнерусском языке был по значению близок к современному *-ѣнок* (*богатиць* «сын богача», *детиць* «дитя», *женимиць* «сын наложницы», *kozyлиць* «теленок»). В этом случае производное *полчиць* означало бы «сын полка», что никак не вяжется с контекстом «Оузрѣша ины полчиць, свињу великую, которая баше

вразилася въ возники Новгородскыѣ» (Новг. I л., 6776 г.). Во-вторых, если предположить, что в данном слове имеется суффикс *-ище* с видоизмененным конечным гласным, то надо доказать, что этот суффикс имел здесь увеличительное, а не усилительное значение (см., например, в словаре В. Дала: *пблчище* «рать, войско, ополчение; полк, толпа, ватага» и *полчища* «большой полк», *пблчища* мн. «сильная рать, войско»).

Резюмируя сказанное о книге Ф. П. Сороколетова, еще раз подчеркнем, что это первое исследование, в котором большой пласт тематически отобранной древнерусской лексики, объединяющей ряд лексико-семантических групп, представлен в системе. Ее история, отражающая особенности процесса терминологизации слов в древний период и специфику самих терминов, прослежена на протяжении семи столетий. Общие выводы автора об источниках и путях формирования военной лексики на Руси, об ее отношении к нетерминированному словарному фонду, о ее функционально-стилистическом распределении и перераспределении в древнерусском языке, о внутрисистемных «взаимоотношениях» не подлежат сомнению.

В. П. Жуков, В. И. Максимов

«Noul Atlas lingvistic român pe regiuni. Oltenia». I, II, întocmit sub conducerea lui B. Cazacu, de T. Teaha, I. Ionică și V. Rusu. — București, 1967; 1970.

«Atlasul lingvistic român pe regiuni. Maramureș». I, de P. Neiescu, Gr. Rusu și I. Stan. — Timișoara, 1969.

Особенности говоров румынского языка отражены на картах трех лингвистических атласов, опубликованных в течение 60 лет. Это «Linguistischer Atlas des dakorumänischen Sprachgebietes» Г. Вейганда (WLAD), вышедший в свет в 1909 г. в Лейпциге, «Atlasul lingvistic român» (ALR) С. Попа и Э. Петровича, подготовленный и изданный под руководством С. Пушкарю с 1938 г. по 1942 г. (Клуж — Сибиу — Лейпциг), а с 1956 г. по 1969 г. в новой серии под руководством Э. Петровича (Клуж), и «Noul Atlas lingvistic român pe regiuni» (NALR).

Инициатором создания региональных лингвистических атласов румынских говоров является акад. Э. Петрович. Необходимость нового атласа объясняется тем, что сетка старого ALR слишком редка (около 300 пунктов)¹.

На конференции румынских диалектологов, которая состоялась в Бухаресте

16—18 апреля 1958 г., был обсужден проект составления Нового румынского лингвистического атласа по областям. За годы социалистического строя произошли существенные изменения: общественно-экономические преобразования, повышение культурного уровня масс, широкое влияние литературного языка, значительные передвижения населения и др., которые повлияли в большой степени на состояние устной местной речи².

Новый румынский лингвистический атлас (NALR) объединит восемь региональных лингвистических атласов. Семь атласов включают дакорумынские говоры по историческим областям (Банат, Кришана, Марамуреш, Молдова и Буковина, Мунтения и Добруджа, Олтения и Трансильвания), а восьмой — три исторических диалекта к югу от Дуная — маке-

¹ E. Petrović, Sarcinile actuale ale dialectologilor din R.P.R., «Fonetica și dialectologie», I, 1958, стр. 208.

² B. Cazacu, Noul Atlas lingvistic român, I. Oltenia, «Studii de dialectologie română», București, 1966, стр. 57.

дорумынский, мегленорумынский и истрорумынский³.

NALR представляет собой своеобразное дополнение и углубление данных ALR. Таким образом, региональный NALR не заменяет зональный ALR. Он призван уточнить ареалы распространения явлений, выявить новые особенности говоров, представить новые данные в связи с динамикой диалектных границ, определить положение той или иной группы говоров в диалектной структуре всего языкового массива.

Из запланированных томов увидели свет: «Noul Atlas lingvistic pe regiuni. Oltenia», I и II (NALR-Olt.) в 1967 г. и в 1970 г. и «Atlasul lingvistic român pe regiuni. Maramureș», I (ALRR-Mar.) в 1969 г. В настоящей рецензии рассматриваются эти три тома, содержание которых тематически одинаково. NALR задуман как труд, представляющий результат соблюдения единых установок — один общий вопросник, одна и та же формулировка вопросов, те же приемы их постановки, единые принципы отбора информаторов, те же методы картографирования и комментирования и т. д.⁴ Однако уже первые тома атласов Олтенции и Марамуреша представляют значительные расхождения, нарушение задуманного единства.

«Предисловия» к первым двум томам NALR-Olt. (на румынском языке с переводом на французский) написаны руководителем работ проф. Б. Казаку. Указываются методологические принципы, которые лежат в основе этого атласа, и основные сведения, касающиеся вопросника, приемов опроса, анкетированных населенных пунктов, анкетаторов, информаторов, фонетической транскрипции, редактирования и картографирования материала. Автором «Вводного слова» к атласу Марамуреша является акад. Э. Петрович. В нем обосновывается необходимость составления региональных атласов Румынии и излагаются некоторые особенности составления ALRR-Mar., которые более подробно рассматриваются во «Введении», написанном П. Нейеску, Гр. Русу и И. Стан.

Данные для региональных атласов собирались по вопроснику, составленному под руководством Э. Петровича и Б. Ка-

заку, авторами рецензируемых томов⁵.

Вопросник NALR содержит 2543 вопроса, касающихся фонетики и фонологии, морфонологии, словообразования и морфологии, и, главным образом, лексики. Он состоит из трех частей: в первой части, вводной, имеется 57 вопросов, которые относятся к анкетированному населенному пункту и к информатору; во второй части, общей, 1943 вопроса, которые группируются по семантическим сферам в 14 разделов: тело человека, семья, дом, двор, земледелие, садоводство, лес, рельеф, школа, ремесла и др.; в третью часть — специальные вопросники — включено 543 вопроса из 7 разделов: по пчеловодству, овцеводству, по кузнечному делу, по гончарному делу и др. Кроме того, анкетаторам предоставлено право включения 30—40 вопросов, касающихся специфических особенностей обследуемой области. Вопросы, одинаковые по форме и по содержанию, должны обеспечить точность ответов, полученных разными анкетаторами. Для сбора сопоставимых данных в вопроснике NALR включены многие вопросы WLAD и ALR.

Для общей части вопросника рекомендуется строго соблюдать принцип опроса одного субъекта — мужчины — в возрасте 40—65 лет в каждом населенном пункте. По специальным вопросникам допускается опрос 2—3 информаторов — людей разных специальностей⁶.

Говоры 98 населенных пунктов Олтенции (площадь — 24 078 км², население — 157 574 чел.) были обследованы с марта 1963 г. по декабрь 1964 г. тремя анкетаторами — Т. Тяха (34 пункта — 901—934 — в северо-восточной части Олтенции между реками Жиу и Олт), И. Ионика (32 пункта — 967—998 — в южной части Олтенции) и В. Русу (32 пункта — 935—966 — в северо-западной части Олтенции между рекой Жиу и Мехединцскими горами)⁷.

⁵ «Chestionarul Noului atlas lingvistic român», întocmit sub conducerea acad. Emil Petrovici și a prof. B. Cazacu, «Fonetica și dialectologie», V, 1963.

⁶ T. T e a h a, Despre chestionarul «Noului atlas lingvistic român» (NALR), «Fonetica și dialectologie», V, 1963. Для изучения вопросов синтаксиса, стилей устной речи и др. во всех населенных пунктах проводилась магнитофонная запись диалектных текстов. К каждому региональному атласу как приложение будет опубликован том диалектных текстов. См.: «Texte dialectale. Oltenia», publicatе sub redacția lui B. Cazacu, de C. Coșuț, G. Ghiculete, M. Mărdărescu, V. Șuteu și M. Vulpe, București, 1967.

⁷ B. C a z a c u, Despre tehnica elaborării Noului Atlas lingvistic român (NALR) — Oltenia, «Fonetica și dialectologie», VI, 1969.

³ Из румынских лингвистов акад. Ал. Граур и проф. И. Котяну считают, что македо-, меглено- и истрорумынские наречия являются языками. См.: Al. G r a u r, Studii de lingvistică generală, București, 1960, стр. 293—341; I. C o t e a n u, Elemente de dialectologie a limbii române, București, 1961, стр. 114—116.

⁴ T. T e a h a, Despre Atlasul lingvistic al Olteniei (I), «Limba română», 3, 1965, стр. 353.

Говоры 20 населенных пунктов Марамуреша (площадь — 3380 км², население — 161 940 чел.) были обследованы в 1962—1963 гг. тремя анкетаторами — П. Нейеску, Гр. Русу и П. Стан. Между ними были разделены вопросы программы. Все они работали параллельно во всех пунктах за исключением сел Хотены и Стрымтура, обследованных П. Нейеску и Гр. Русу.

Следует отметить, что все анкетаторы NALR-Olt. и ALRR-Mar. — уроженцы других областей Румынии.

В сетку населенных пунктов томов NALR включены все пункты, анкетированные в ALR, и значительная часть сел, включенных в сетку атласа Г. Вейганда. Сетка атласа Олтении в 3,5 раза гуще сетки ALR. Она содержит 98 пунктов, при 22 пунктах в ALR I и 6 пунктах в ALR II. 13 пунктов являются общими с WLAD. Распределение анкетированных пунктов неравномерно. Оно обусловлено языковыми особенностями исследуемой территории и густотой населения. В сетку NALR-Olt. включено и два районных центра (п. 934 Балш и п. 955 Стрехая), которые вошли в сетку ALR, и несколько переселенческих трансильванских пунктов (906, 907 и 917).

В число 20 пунктов ALRR-Mar. включено 8 пунктов, обследованных Г. Вейгандом, 6 пунктов, включенных в ALR I, и 2 пункта — в ALR II. Сетка атласа Марамуреша, таким образом, в 2,5 раза гуще сетки ALR. В сетку атласа включен пригород Сигета — Япа (п. 226).

Регистрация ответов для NALR проведена в фонетической транскрипции старого ALR, несколько видоизмененной. Анкетаторы избегали любой униформизации или стандартизации в записях.

Название каждой карты NALR-Olt. и ALRR-Mar. дано в румынской литературной форме с переводом на французский язык. Далее следует формулировка вопроса и указываются соответствующие карты других румынских и романских атласов, зональных и региональных. Комментарии информаторов и замечания анкетаторов даны в нижней части свободного поля.

Языковой материал представлен по разному в NALR-Olt. и в ALRR-Mar.

В первый том атласа Олтении включено 147 лингвистических карт, посвященных первому разделу — тело человека (части тела, болезни, физические и моральные свойства). Они отобраны из общего числа 406 вопросов-карт. Это словесные карты, составленные традиционным методом, общим для большинства романских атласов, на которых отражены явления, имеющие большое количество вариантов, территориальных синонимов, и образующие отдельные ареалы в пределах данной области. Примером могут служить карты *feastă* (№ 4) «черепная кость», *omușor* (№ 56) «язычок», *bărbie*

(№ 78) «подбородок», *esofag* (№ 86) «пищевод», *tinăr* (№ 161) «молодой человек» и др. Следует, однако, отметить, что среди этой группы карт имеются многие такие, на которых нет, да и не могло быть, лексических вариантов. Эти названия отдельных частей тела имеют всеобщее распространение, образуют на всей площади единый ареал, так как они принадлежат к основному фонду. Ср. карты *cap* (№ 1) «голова», *ochi* (№ 24) «глаза», *ureche* (№ 42) «ухо», *dinte* (№ 68) «зуб», *buză* (№ 74) «губа», *piept* (№ 91) «грудь» и др. Эти карты представляют особый интерес для фонетики, фонологии, морфологии и морфологии олтянских говоров, но именно поэтому они не отличаются от материалов, представленных в некартографированном виде на планшах. Ср. *frunte* (№ 1) «лоб», *față* (№ 2) «лицо», *carne* (№ 5) «мясо», *sînge* (№ 5) «кровь», *unghie* (№ 8) «ноготь», *genunchi* (№ 9) «колени» и др. Если и в остальных региональных атласах, например, Баната или Трансильвании, будет сохранено это стремление представлять на картах лишь те материалы, которые имеют особую вариантность и образуют отдельные ареалы, то в итоге не получится общий атлас, отражающий современный уровень развития диалектной речи. Приложенные некартографированные данные лишь частично восполняют этот пробел.

На 12 страницах — планшах некартографированного материала представлены в списках ответы, полученные на другие 110 вопросов этого же раздела в том же виде, что и на лингвистических картах, однако чаще всего без каких-либо комментариев информаторов и анкетаторов. Это материалы, отражающие явления, которые не образуют компактных больших ареалов на территории Олтении. Так считают авторы тома. В ряде случаев представляется, что и этот лингвистический материал образует весьма обширные и компактные зоны, не отличающиеся, таким образом, от материала, отобранного для картографирования. См. *(ochi) negri* (№ 2) «черные (глаза)», *(ochi) căprui* (№ 2) «карне (глаза)», *nas* (№ 2) «нос», *nară* (№ 3) «ноздря», *îță* (№ 6) «женская грудь» и др.

В архиве Центра по фонетическим и диалектологическим исследованиям, где выполнены работы по составлению и по изданию NALR-Olt., остались в рукописи 149 карт только раздела «тело человека», которые, надо полагать, по мнению их авторов, не представляют интереса для характеристики олтянских говоров. Любопытно, что некоторое количество карт из этой группы включено в первый том атласа марамурешских говоров (см. карту 119, вопрос 360). И наоборот, в первом томе ALRR-Mar. нет карты *cap* (вопрос 58) «голова», которой открывается олтянский атлас, нет карты *subțire* (вопрос 65) «тонкий», которую находим

на планше 1 некартографированного материала в NALR-Olt., нет карт *mă piepten* (вопрос 67) «причесываясь», *mă lau* (вопрос 68) «мою (голову)», (*păr*) *des* (вопрос 74) «густой (волос)», и многие другие (см. NALR-Olt., карты 7, 8, 14, 29, 34, 67, 70, 106, 108, 130, 131, планш 1 и др.).

Некоторые материалы указанных выше двух разделов представлены и на интерпретативных картах аналитического или синтетического характера. Аналитические карты представляют ареалы распространения фонетических, фонологических, морфонологических и морфологических явлений, а также лексических вариантов. Синтетические карты представляют ареалы распространения лингвистических явлений по частоте их бытования в соответствующих говорах (NALR-Olt. I, карты 1—147, планши 1—12, карты I—XL).

Впервые в румынской лингвогеографической практике в атласе Олтении представлены синтетические интерпретативные карты. Различной штриховкой представляется частота выявления определенных процессов в пределах соответствующих языковых ареалов. Примером такого типа карт являются карта IX — «Частота палатализованных форм (*ph'*, *pk'*, *k'*) в *piele*, *piept*, (*furca*) *pieptului*, *pieptene*, (*mă*) *piepten* и карта X — о частоте депалатализованных форм в тех же контрольных словах.

Аналитические интерпретативные карты представлены двойко. Лексические — кружками, как это сделано в малых атласах Э. Петровича и С. Попа, фонетические варианты лексем не приняты во внимание (карты XXXI—XL), а фонетические (карты III—V и др.) — штриховкой [в «Micul atlas lingvistic român». I (ALRM I) и ALRM II фонетические карты аналитического типа представлены, как и лексические, и морфологические, кружками различного цвета и дополнительными линиями и точками внутри кружков. Таким же образом составлено несколько фонологических, морфонологических и морфологических карт (II, VI, XIV, XXIV—XXX). В первом томе атласа Олтении интерпретативных карт различного типа 40.

Во втором томе NALR-Olt материалы представлены как и в первом томе, в трех разделах. 238 лингвистических карт группируются в соответствии с тематикой вопросника следующим образом: семья (родство, рождение, женитьба, смерть) — 37 карт, дом (части дома, мебель, предметы домашнего обихода) — 71 карта, пища, одежда, обувь — 51 карта, время, атмосферные явления — 14 карт, местность, рельеф — 22 вопроса, школа, армия, администрация, разное — 43 вопроса. На 43 планшах даны некартографированные материалы по тем же семантическим сферам. Это ответы еще на

372 вопроса. Интерпретативные карты, составленные по материалам первых двух разделов, посвящены ударению (карты I—IV), фонетике, фонологии, морфонологии, словообразованию и морфологии (карты V—XLII), а также лексике (карты XLIII—LIV).

В первом томе атласа Марамуреша имеются 243 карты, в том числе 4 вспомогательных. К тематической группе «тело человека» относятся 165 лингвистических карт из 406 вопросов-карт. Ко второй тематической группе «семья (родство, рождение, женитьба, смерть)» относятся 72 карты из 188. К сожалению, нигде не сказано, по какому принципу они были отобраны, что представляют собой неопубликованные материалы. В атласе Марамуреша нет ни одной интерпретативной карты. Все карты тома словесные.

Диалектная лексика, зафиксированная в говорах Олтении и Марамуреша, говорит о богатстве устной народной речи, о ее образности и точности. Часто в говоре одного села сосуществуют несколько слов-синонимов (*pasile*: *năstur*ⁱ «таблетки», карта 132, пункт 903, *năstur*ⁱ: *bulinur*ⁱ — пункт 988, *buline*: *gogoleaie* — пункт 980, *bumbă*: *pasile* — карта 151, пункт 237 и др.). Комментарии информаторов помогают понять оттенки их значений, зависящие от формы реалий, от функции, ими выполняемой, от материала и др.

Во введении к атласу Марамуреша приводятся очень подробные сведения об исследуемых селах (географическое положение, первое историческое упоминание, старые названия села и его окраин, национальный состав населения, предприятия, школы и культурные учреждения, с какими населенными пунктами поддерживает экономические и культурные связи, наиболее частые имена мужчин и женщин, прозвища и др.) и об информаторах (имя, фамилия, прозвище — все в транскрипции, — возраст, род занятий, образование, семейное положение, откуда родом родители и жена или муж, как часто и сколько времени не находился в селе, сколько детей и где они учатся, какие газеты читает, какие у него личные качества, на какие вопросы программы отвечал и др.). Представляется, что нет необходимости говорить об огромном значении всех этих данных для диалектологических исследований. Подобных сведений в атласе Олтении нет. В какой-то мере этот недостаток компенсируется историко-демографическими картами, которыми начинается первый том.

Другим положительным новшеством ALRR-Mar. является алфавитный указатель слов, зафиксированных на картах атласа и в комментариях к ним (стр. XXXIII—XXXVIII), составителями которого являются В. Бидиан и Д. Лошонци, как и карта территорий семи региональных атласов с указанием научных

учреждений, которым поручено их составление.

Среди вводных материалов ALRR-Mar. имеется также список соответствий карт первых двух региональных атласов, ALRR-Mar. и NALR-Olt. (стр. XXXIX—XL), но он относится лишь к первой тематической группе «тело человека», так как группа «семья» вошла во второй том NALR-Olt., опубликованный годом позже.

Запись ответов для региональных атласов проводится в фонетической транскрипции «Румынского лингвистического атласа» С. Попа и Э. Петровича, в основе которой лежит современная графическая система румынского языка, дополненная отдельными буквами из других систем, например греческой γ , δ , χ , ϕ и др. и диакритическими знаками. Введены, однако, некоторые изменения в транскрипции NALR-Olt. В характеристике звуков имеются непоследовательности. Например, отмечаются звонкость и глухость большинства согласных, исключение составляют лишь сонанты m , n , l , r . Одни и те же дополнительные знаки фиксируют различные качества звуков. Например, знак \checkmark означает немного палатализованный (d^{\checkmark} , k^{\checkmark} , l^{\checkmark} , n^{\checkmark} , t^{\checkmark}) и немного смягченный (j^{\checkmark} , r^{\checkmark} , s^{\checkmark}) звуки, знак \prime — палатальный (h^{\prime} , l^{\prime} , n^{\prime} , t^{\prime}), мягкий (j^{\prime} , r^{\prime} , s^{\prime} , ξ^{\prime}) и палатализованный (g^{\prime} , k^{\prime}), знак $''$ — палатальный (d'' , t''). А. Росетти посвящает отдельную статью соотношению палатализованных — палатальных — смягченных или мягкий s . В отличие от характеристики звуков, данной в таблице фонетической транскрипции ALR I, согласные m и n в NALR-Olt. названы дополнительно смягченными, в то время как l оставлен без указания его щелевого признака. Приложенная к ALRR-Mar. таблица «Фонетическая транскрипция» идентична с таблицей ALR I, отличаюсь, таким образом, от таблицы NALR-Olt. не только характерными для говоров этой области a , e , o , o , u , \hat{a} , \hat{a} , j^{\checkmark} , r^{\checkmark} , ξ .

В региональных атласах Олтении и Марамуреша не соблюден порядок карт, установленный в вопроснике, например, *chel* в ALRR-Mar. карта 17, в NALR-Olt. карта 23; *cu coada ochiului* в ALRR-Mar. карта 29, в NALR-Olt. карта 35; *ochelari* в ALRR-Mar. карта 37, в NALR-Olt. карта 26 и др., тематическая группа «семья (родство, рождение, женитьба, смерть)» в первом томе ALRR-Mar., но во втором томе NALR-Olt. В титулах карт в NALR-Olt. указывается в сокращенной форме число, единственное или множественное, в порядке ожидаемого ответа, наклонение, время и лицо

глагола и др. (см. карты 50 *pistru*, sg. 53 *batistă*, pl., 52 *ti curge nasul*, ind. prez. 3 и др.). В ALRR-Mar. подобных грамматических указаний нет.

Имеются расхождения в переводах на французский язык (столь необходимых исследователям, слабо владеющим румынским языком) названий карт.

В некоторых случаях формулировка вопросов в той или иной степени изменена в одном из атласов. Ср. вопрос 285 и карту 90 в NALR-Olt., вопрос 316 и карту 114 в ALRR-Mar., вопрос 321 и карту 108 в NALR-Olt., вопрос 429 и карту 148 в ALRR-Mar., вопрос 450 и карту 140 в NALR-Olt. и др. На нескольких картах не формулируется вопрос, а указывается лишь форма его постановки, например, *întrebare indirectă* «косвенный вопрос», *întrebare indirectă, indic.* «косвенный вопрос, указание» и др. (см. NALR-Olt. карты 6, 8, 37, 39, 42, 46, 53, 58, 186, 200, 209, 239 и др.). Поэтому иногда трудно судить об адекватности многих ответов, например, *méstec — móljăi — cléfăt — rod — toc — rúmeg — dimic — mstui — fjarjec*.

Корреляция с другими романскими атласами, национальными и региональными, и вопросниками преследует определенную цель — способствовать сравнению сведений той или иной карты с соответствующими данными говоров и диалектов других языков. Аналогичные отсылки имеются на картах атласа К. Яберга и Я. Юда, лингвистического и этнографического атласа Гасконии, Лионского атласа, составленного под руководством П. Гардета, «Молдавского лингвистического атласа» (АЛМ), «Лингвистического атласа Иберийского полуострова», и др. Не следовало бы, однако, ограничиваться сопоставлением лишь с романскими атласами. Ведь для изучения говоров Олтении несомненный интерес представляют материалы «Болгарского лингвистического атласа» (см. NALR-Olt., карты 172, 184, 197, 202, 205, 235, 245, 248, 262 и др.), для исследования марамурешских говоров — материалы «Карпатского диалектологического атласа», составленного под руководством С. Б. Бернштейна, атласа Э. Штибера, атласа М. Малецкого и К. Нича, атласа К. Дейны, атласа Й. А. Дзедзелевского и др. (см. ALRR-Mar. карты 17, 170, 174, 176, 184, 226).

В отдельных случаях допущены неточности, например, NALR-Olt., карта 59 — АЛМ кест. 499 вместо 411, карта 104 — АЛМ кест. 122 совершенно другой вопрос, планша 4 *limbă* — АЛМ кест. 934 также совершенно другой вопрос. Отсутствуют ссылки, например, в NALR-Olt. к карте 6 из WLAD 50, 54, AIS 637, ALL 920, АЛМ кест. 406, к карте 11 из АЛМ кест. 735, к карте 69 из АЛМ кест. 70, к карте 74 из АЛМ II 29—31, ALF 765, AIS 105, ALL 1080, ALG 867, АЛМ кест. 293 и др. Корреляция с теми же картами

⁸ A. I. Rosetti, Despre consoanele palatalizate și consoanele muiate, «Studii și cercetări lingvistice», VI, 3—4, 1955, стр. 199 и сл., его же, Introducere în fonetică, București, 1957, стр. 52—53.

в одних случаях полней в ALRR-Mar. (см. карты 9, 69, 74, 81, 1138), в других — в NALR-Olt. (см. карты 15, 18, 25, 43, 53). Весьма редко проводится соотношение с картами новой серии ALR и ALRM. В ALRR-Mar. корреляция с другими атласами представлена не на полях соответствующих карт, как в NALR-Olt., а в одном из вводных приложений (стр. XLI—XLVI).

Поскольку анкетаторы придерживались принципа регистрации первого ответа без уточнений от единственного информатора, сравнительно часты случаи, когда, например, вместо имени существительного на картах фигурируют глаголы, вместо одного времени — другое время, вместо одного лица — другое. Отсутствуют даже соответствующие указания в скобках, как это рекомендуется в вводных материалах и встречается во многих пунктах. См. NALR-Olt. карты 30, 35, 45, 57, 66, 67, 79, 98, 100, 110, 128, 131, 133, 194, 380 и др.

На многих картах имеются пункты, где множественное число существительных или, наоборот, единственное число отсутствует. Законен вопрос: является ли та или иная форма неупотребительной, или был ли поставлен соответствующий вопрос? См. NALR-Olt. карту 84 *amigdale* «миндальны», пункты 913, 923, 953, 954, 964, 971, 972, 983, 988 и др., карту 86 *esofag* «пищевод», пункты 901, 905, 914, 935, 986, карту 99 *sudoare* «пот» и др.

В некоторых случаях причиной ошибочных ответов следует считать плохо сформулированные вопросы. Таковым является вопрос 149 *palid* «бледный» (карта 48) — «Cum zici că este un om cînd, după o boală, i-a pierit tot sîngele din obraz?» (почти дословно: «Каким, говоришь, является человек, когда, после болезни, у него пропала вся кровь с лица?»). В одних пунктах получены правильные ответы: *gălbîn* «желтый», *pălid* «бледный» и др., а в других *bolnăv* «больной», *oșitid* «увядший», истощенный, *anemic* «анемичный», малокровный, *debil* «хилый», *zlab* и *slab* «худой», *slăbit* «похудевший» и др. Неверные ответы получили на этот вопрос и анкетаторы атласа Марамуреша (см. карту 56, пункт 227 — *uscăt*, *slăbd'it*, *săc*, *și'imbăt la fătă*). Плохо сформулирован и вопрос 442 *guturai* «насморк». Ср. ответы: *răcălă* «простуда», *gripă* «грипп» и др. (карта 135). См. также ALRR-Mar. карту 154, пункты 227, 236.

Отсутствие учета этнографического момента наблюдается на картах NALR-Olt. 254, 255 и др. Например, на карте 255 на вопрос: *Как называется то, в чем толчешь чеснок?*, получены ответы: *pîyă* «ступа», *străk'ină* «глиняная миска», *blid de lemn* «миска из дерева», *castrôn* «кастрюля», *covăjă* «маленькое корыто», *pe măsă* «на столе» и др.

В сетку национального «Румынского лингвистического атласа» включены были пункты, население которых другой нацио-

нальности: венгры, украинцы, болгары, сербы, немцы и цыгане. Это повествование ALR, высоко оцененное специалистами, позволяло исследовать по материалам «Румынского лингвистического атласа» многие проблемы славистики, германистики, а также общего языкознания (заимствования, лингвистические кальки, билингвизм и др.). Не понятно, почему авторы региональных румынских атласов отказались от проведения анкет в населенных пунктах с иноязычным населением.

Досадным упущением, как нам кажется, является несоответствие в названиях региональных атласов — «Noul Atlas lingvistic român pe regiuni. Oltenia» («Новый румынский лингвистический атлас по областям. Олтения») и «Atlasul lingvistic român pe regiuni. Maramures» («Румынский лингвистический атлас по областям. Марамуреш»). Более удачным нам представляется второе название, ибо первое допускает предположение, что существует и старый региональный атлас.

Представляется, что в будущем, в процессе работы над следующими томами NALR-Olt. и ALRR-Mar., а также над атласами Баната, Кришаны, Трансильвании и других областей (сбор материала должен проводиться всюду в одни и те же годы), отдельные участки работы будут координироваться более четко (названия карт, их переводы, формулировки вопросов, порядок карт, корреляция с другими атласами, фонетическая транскрипция и др.) и, что более важно, будут вновь рассмотрены возможности представления языкового материала. В этом будет большая заслуга Координационного комитета.

Не следует оставлять без ответа вопрос об организации сбора материалов для следующих региональных атласов. Как было указано выше, NALR-Olt. объединяет три микроатласа территорий, обследованных самостоятельно тремя анкетаторами (см. карту В). ALRR-Mar. подготовлен также тремя анкетаторами, которые, однако, провели сбор материалов во всех населенных пунктах области. При подобном распределении, очевидно, сокращается процент неизбежных субъективных расхождений в регистрации ответов.

Рецензируемые тома NALR-Olt. и ALRR-Mar. изданы отлично. Особо следует отметить кропотливый труд картографов-художников Шт. Поенару, М. Гомбос и В. Фелекан, подготовивших карты регионального атласа Марамуреша, а также Э. Джорджеску и К. Матеску, пером которых написаны ответы и комментарии ко всем пунктам атласа Олтения.

Среди румынских атласов, получивших высокую оценку специалистов-лингвистов-географов, новые региональные атласы Марамуреша и Олтения занимают достойное место. Их богатые и разнообразные,

часто совершенно новые материалы, столь точно зарегистрированные опытными диалектологами, какими являются П. Нейеску, Гр. Русу, И. Стан, Т. Теаха, И. Ионика и В. Русу, прошедшие хорошую школу под руководством известных ученых акад. Э. Петровича, акад. А. Росетти, члена-корр. Б. Казаку, члена-корр. Д. Макри и др. в своей стране и за рубежом, в том

числе в Советском Союзе, представляют особую ценность для исследования говоров других романских языков, а также для славянской (украинской, польской, болгарской, сербской и др.) и венгерской диалектологии, для этнографии и других смежных наук.

Р. Я. Удлер

P. M. Postal. Aspects of phonological theory, Harper and Row Publishers.—New-York — Evanston — London, 1968. XV + 326 стр.

Монография П. Постала принадлежит к довольно специфическому жанру: это почти всецело полемическое сочинение, направленное против так называемой «автономной» (иначе — «таксономической») фонологии и в утверждение порождающей (иначе — «системной») фонологии. Книга состоит из двух глав: «Автономная фонология: за и против» и «О менталистском характере так называемых звуковых изменений», которые посвящены сопоставлению «автономной» и порождающей концепций на почве, соответственно, синхронии и диахронии. Глава I содержит разделы: «Ложный аргумент в пользу автономной фонологии» и «Подлинные аргументы против автономной фонологии», глава II — разделы: «Исторический фон и младограмматическая позиция», «Эмпирическое опровержение младограмматической позиции» и «Природа звуковых изменений».

Прежде всего следует пояснить, что под «автономной фонологией» имеется в виду «обычная», традиционная фонология и даже, в сущности, едва ли не всякая фонология, отличная от порождающей.

Порождающая фонология не получила достаточного освещения в отечественной литературе¹, хотя, по-видимому, необходимость в этом назрела². Настоящая рецензия, уже в силу «законов жанра», не может, разумеется, поднимать проблему в целом. Более того, даже для всего

круга вопросов, затронутых в монографии П. Постала, рамки рецензии определены узки³. Поэтому мы по необходимости ограничимся разбором лишь нескольких кардинальных положений книги.

Основной вопрос, дебатруемый в монографии, сводится к следующему: существует ли между собственно фонетическим «уровнем» и уровнем фонологическим («системно-фонологическим») в смысле Халле — Хомского — Постала (т. е. уровнем, в терминах единиц которого записываются морфемы, единицы лексикона, или, иначе, морфофонологическим уровнем при другом словоупотреблении) особый промежуточный уровень? Представители порождающей фонологии решительно отрицают существование такого уровня, который как раз и соответствует обычному фонологическому уровню традиционной фонологии.

Согласно взглядам, принятым в генеративной лингвистике, фонология есть часть грамматики — один из основных ее компонентов, наряду с синтаксическим и семантическим (последний, впрочем, не всегда включается в этот перечень). Задача фонологического компонента — получив на вход поверхностную структуру предложения, где морфемы записаны в «системно-фонологической» транскрипции, выработать, по определенным упорядоченным правилам, на выходе фонетическую интерпретацию этого предложения в «системно-фонетической» транскрипции. Никаких других уровней, кроме «системно-фонологического» и «системно-фонетического», фонологический компонент не со-

¹ См. переводы работы Н. Хомского «Логические основы лингвистической теории» («Новое в лингвистике», IV, М., 1965), где фонологические вопросы занимают едва ли не преобладающее место (55 стр. из 105), и части работы М. Халле «Фонологическая модель русского языка» («Новое в лингвистике», II, М., 1962).

² Напомним, что вопрос «Порождающая фонология или автономная фонология?» вынесен на пленарное заседание XI Международного конгресса лингвистов в Болонье, и, кроме того, проблемам порождающей фонологии посвящена работа специальной секции этого конгресса.

³ В частности, в самом начале оговоримся, что мы не будем рассматривать полемику Постала с концепцией стратификационной фонологии, которая занимает в книге весьма значительное место, так как это потребовало бы изложить хотя бы вкратце также и стратификационную концепцию, известную у нас еще менее, чем порождающая (см.: S. L a m b, Prolegomena to a new theory of phonology, «Language», 42, 2, 1966, и др. работы).

держит (см., например, стр. 204—205).

Можно заметить, что при такой интерпретации указанный компонент грамматики — скорее «фонетический»: его входом является «готовая», фонологическая запись, а выходом — фонетическая. Вопрос о том, как вырабатывается фонологическое представление морфем, подаваемое на вход, обсуждается в генеративной литературе, в определенной степени, в частности, и в монографии Посталя (см. ниже), однако соответствующие процедуры как будто не являются частью фонологического компонента.

В отличие от этого, традиционная фонология прежде всего занимается именно выяснением фонологического представления единиц языка в терминах предварительно установленной системы фонем. Иначе говоря, подход прямо противоположен: традиционная фонология начинается с текста и приходит к системе (и представлению единиц в терминах членов системы), порождающая же фонология начинается с системы (точнее, представления в терминах членов системы) и приходит к тексту. В этом заключается причина значительнейшей части противоречий, на чем мы еще будем останавливаться в дальнейшем.

Известно, что в традиционной фонологии для перехода от фонетической данности к фонологическому представлению центральную роль играет понятие фонологической оппозиции (в американской терминологии — «контраста»). Посталь признает, что это понятие необходимо в фонологии любого толка. Он настаивает, что порождающая фонология — вопреки утверждениям ее критиков — обеспечивает отличие противопоставленных единиц от непротивопоставленных. Критика же вызывается прежде всего тем, что в порождающей фонологии фонологически различные цепочки могут получить совпадающую фонетическую интерпретацию, т. е. фонологическое различие не сопровождается различием фонетическим, оппозиция никак не манифестируется (стр. 9—10 и др.).

Анализируя этот вопрос, Посталь, отрицая, вслед за Н. Хомским, понятие дополнительной дистрибуции⁴, сводит

⁴ См.: Н. Хомский, указ. соч., стр. 548—551. В рецензируемой монографии принципу дополнительной дистрибуции практически не уделяется специального внимания (ср., однако, некоторые интересные замечания на стр. 47—48, примеч. 11), поэтому мы также не будем на этом останавливаться (некоторые критические замечания по поводу отказа Хомского от этого принципа см.: J. Vachek, On some basic principles of «classical» phonology, «Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung», 17, 1964, стр. 420 и сл., 429—430).

проблему к противопоставлению «свободное варьирование/позиция». Он утверждает, что генеративная концепция обеспечивает различие свободного варьирования и оппозиции следующим образом. Два отличающихся фонетических представления находятся в отношении свободного варьирования, если правилами фонологического компонента они относятся к одному и тому же элементу фонологической записи, присутствующей на входе. Два идентичных фонетических представления находятся в отношении свободного варьирования уже в силу своей идентичности (стр. 14). Причем оказывается, что в последнем случае свободное варьирование не имеет никаких фонологических импликаций, так как соответствующие элементы могут, тем не менее, иметь различный фонологический статус.

Представляется, что Посталь, утверждая присутствие в своей концепции понятия традиционной оппозиции, на самом деле оперирует совсем не той оппозицией и не тем свободным варьированием, которые имеются в виду в традиционной фонологии.

Прежде всего, Посталь «переворачивает» отношение свободного варьирования и оппозиции: в традиционной фонологии свободное варьирование — это эмпирически устанавливаемый факт, из которого (с одной оговоркой — см. ниже) следует отсутствие оппозиции (т. е. противопоставляются «опозиция» и «отсутствие оппозиции», а свободное варьирование рассматривается как проявление отсутствия оппозиции). У Посталя же отсутствие оппозиции «предсказывает» свободное варьирование (см. особенно стр. 217), в чем опять-таки сказывается противоположность подхода. В результате, когда Посталь пытается доказать, что его концепция обеспечивает и оппозицию в традиционном смысле, получается порочный круг: утверждается, что оппозиция отсутствует, если сегменты находятся в отношении свободного варьирования; в отношении же свободного варьирования они находятся тогда, когда принадлежат одному «фонологическому входу» (см. выше), т. е. когда отсутствует оппозиция.

Традиционное понятие свободного варьирования в данном случае ясно предполагает, далее, что соответствующие единицы суть варианты — варианты одной фонемы. В концепции же Посталя и др., как мы видели, это не так. Вероятно, здесь свободное варьирование Посталя — просто синоним идентичности, причем идентичности фонетической.

Здесь мы подходим к критическому для теории вопросу. Дело в том, что в традиционной фонологии вопрос об идентичности применительно к собственно фонетическим представлениям не ставится (пожалуй, такой вопрос уместнее ожидать на дофонологической стадии фонетики). Утверждение «А идентично В», т. е.

«А имеет то же звучание, что В», вообще говоря, лишено смысла (во всяком случае, без привлечения количественных данных — таких, как величина ошибки и т. д.). Правомерно лишь утверждение «А имеет то же звучание, что В для носителя *данного языка*» — но ведь это утверждение совершенно явно фонологическое, т. е. это утверждение о фонологической характеристике, о фонологическом составе А и В. Следовательно, все самым фиксированием идентичности все дальнейшие вопросы снимаются⁵.

Разобранный выше аргумент Постал повторяет далее в несколько модифицированном виде. Никто не доказал, говорит он, что существование оппозиции должно обеспечиваться одним единственным уровнем: в синтаксисе, например, предложение типа *The troops stopped stealing* также неоднозначно, но эта неоднозначность снимается путем того, что поверхностная структура возводится к двум разным глубинным структурам. То же и в фонологии, где идентичные «системно-фонетические цепочки» возводятся к разным «системно-фонологическим» цепочкам (стр. 15—18). Иными словами (ср. стр. 42), здесь идет речь о допущении

⁵ Ср.: Л. Р. Зиндер, Основные фонологические школы, «Вопросы общего языкознания», Л., 1967, стр. 85. Постал приводит также (стр. 36—37, примеч. 2) высказывание Р. Уэллса (R. Wells, [рец. на кн.:] K. Pike, *The intonation of American English*. — *Language*, 23, 1947, стр. 270—271), где достаточно ясно излагаются близкие сформулированному выше взгляды, однако понимает их как утверждение взаимодозначности между фонетическим и фонологическим уровнями, возражая по этому поводу, что в таком случае все равно возникнет неоднозначность — между фонологическим и морфологическим уровнями. Но из сказанного выше должно следовать, что применительно к «фонетическому уровню» нельзя говорить о независимой идентичности — стало быть, и говорить о взаимодозначности можно лишь в смысле эквивалентности; т. е., иначе, «фонетический уровень» — это лишь реализация, «способ существования» фонологического уровня, а вовсе не уровень, находящийся в самостоятельных с этим последним отношениях. Когда Постал настаивает на существовании особого уровня «системной фонетики» (например, стр. 98 и сл.), то это можно истолковать лишь как изучение потенциальных возможностей речевого аппарата и типологии потенциальных артикуляций (соответственно звучаний). Что же касается неоднозначности при переходе к морфологии, то там неоднозначность возникает на уровне морфем, что никак не затрагивает фонологических оппозиций (см. также ниже).

нейтрализации, которая, однако, снимается обращением к правилам, связывающим соответствующие уровни.

По поводу «идентичности» на фонетическом уровне (и степени его самостоятельности) мы уже говорили выше. Изложим нашу точку зрения на нейтрализацию.

Прежде всего, позиция Постала в данном случае имеет смысл только тогда, когда на самом деле подразумевается не нейтрализация, а омонимия. В чем, однако, суть — и различие — омонимии и нейтрализации? По традиционному неформальному определению, омонимы суть единицы с одинаковым звучанием и разным значением. Иначе говоря, это разные единицы с одинаковыми десигнаторами и отличающимися десигнатами, или, в формулах, где числитель дроби соответствует десигнатору, а знаменатель десигнату: $\frac{a}{b}$ и $\frac{a}{c}$. В случае

же нейтрализации суть заключается именно в том, что при одном десигнаторе для десигната допускаются две возможности (не менее двух): есть одна единица типа $\frac{a}{b/c}$, нет никаких способов, в том числе и внешних по отношению к знаку, для разграничения двух единиц. Следовательно, оппозиции здесь принципиально не может быть и нельзя говорить о ее сохранении, признавая нейтрализацию, как это фактически делает Постал.

Существенно, что и понятие омонимии, и понятие нейтрализации требуют наличия двух планов (выражения и содержания) — чего нет в ярусе фонологии. Как было показано выше, заменить эти планы уровнями также не удастся, ввиду несамостоятельности фонетического уровня. В рассматриваемых случаях нейтрализации (как это, собственно, имплицитно уже утверждалось ранее) подвергаются морфемы, в состав десигнаторов которых входят соответствующие фонемы. В приведенной Посталом синтаксической аналогии также налицо нейтрализация, т. е. отсутствие оппозиции, и пример, следовательно, опровергает, а не подтверждает рассуждение Постала.

П. Постал выдвигает еще три аргумента против традиционной фонологии. Первый — очень важный в глазах представителей генеративной концепции — восходит к М. Халле⁶. Он заключается в том, что при допущении «промужучотного» уровня традиционной фонологии теории приходится постулировать обобщениями и описывать одинаковые факты как разные. Это иллюстрируется, в частности, русскими примерами, где озвончению перед звонкими подвергаются, например, и /t/, и /tʃ/, что в традиционной фонологии опи-

⁶ См.: М. Халле, указ. соч., стр. 304—307.

сывается по-разному, а в порождающей — единым правилом (стр. 40 и сл.). В традиционной концепции, действительно, чередования фонем уместно относить к морфологии (под которой мы понимаем правила перехода от фонологически основного варианта морфемы ко всем остальным, также фонологическим, и наоборот, во всех релевантных контекстах, фонологических и иных), чередование же аллофонов рассматривается в собственно фонологии. Существуют некоторые более общие закономерности, которые распространяются как на фонологические, так и на аллофонические чередования (возможно, это связано с наличием в системе определенных дифференциальных признаков), однако от этого эти два вида чередований не перестают различаться. Думается, нельзя исходить из априорного допущения о том, что самое общее правило и есть самое адекватное. Это можно признать лишь при прочих равных условиях. Однако здесь нет равных условий, так как традиционная концепция исходит из кардинального лингвистического различия между фонемными и субфонемными единицами, а порождающая в данном случае это различие игнорирует, и никаких аргументов — кроме вневингвистических соображений о большей общности описания — не выдвигает.

В связи с изложенным находится и другой аргумент Поставала против традиционной фонологии — аргумент «с точки зрения фонотактики» (стр. 208—216). Наличие особого уровня, говорит Поставал, предполагает наличие особых правил сочетания единиц этого уровня («тактики»). Однако, продолжает он, эти правила полностью избыточны, если описание ведется в терминах «автономных» фонем, так как правила сочетаемости последних либо дублируют правила сочетаемости морфем, либо полностью предсказуемы, исходя из этих правил; следовательно, заключает Поставал, не существует и уровня «автономной» фонологии. Но Поставал не учитывает, что для того, чтобы установить состав морфем в терминах морфем, нужно с н а ч а л а знать фонемы⁷. Затем, мы бы сказали, устанавливается не состав морфем в терминах морфем, а состав означющего основного варианта морфемы в терминах фонем, из которого выводятся все остальные варианты. Уже последние получают фонетическую интерпретацию.

По мнению Поставала, традиционные фонемы, находящиеся «между» морфонологической словарной и фонетической записями, не имеют смысла потому, что они столь же предсказуемы, сколь и соб-

ственно фонетические варианты (как в упоминавшемся примере с озвончением в русском языке), и традиционная фонология, считает он, не может дать никаких оснований, чтобы отличить такого рода фонемные единицы от фонетических (стр. 47 и др.). Но такое основание есть: если соответствующий элемент в сильной позиции, т. е. в позиции максимальной дифференциации, может быть противопоставлен другим элементам, то и в слабой позиции, будучи предсказуемым, он остается, тем не менее, фонологичным.

По сходным соображениям нельзя согласиться и с третьим аргументом Поставала, касающимся так называемой «нетранзитивности оппозиции» (стр. 216—228). Если оставить в стороне детали, то Поставал считает, что «автономная фонология» предсказывает свободное варьирование фонетических цепочек, исходя из идентичности цепочек фонемных (в отличие от порождающей фонологии, которая может возвести свободно варьирующие элементы к разным фонологическим представлениям). Но идентичность, говорит он, логически представляет собой эквивалентность и, в частности, должна обладать свойством транзитивности. Однако, утверждает Поставал, имеются факты, которые показывают отсутствие транзитивности в соотношении фонемных цепочек, и, следовательно, ошибочность исходной посылки. Факты состоят в том, что, например, в английском языке слово *unless* может произноситься с /ʌ/ и «шва», *intentional* — с /ɪ/ и «шва» и т. д., но первое слово не может произноситься с /ɪ/, а второе — с /ʌ/, т. е. /ʌ/ и /ɪ/ порознь якобы эквивалентны «шва», но не эквивалентны между собой.

Мы уже говорили, что Поставал «переворачивает» действительные отношения в традиционной фонологии. Но в любом случае его рассуждение построено на ошибке: если речь идет об идентичности фонемных цепочек, то цепочки не могут оставаться идентичными при замене фонемы — а замена /ʌ/ или /ɪ/ на «шва» — это замена фонемы. При утрате же идентичности (т. е. эквивалентности) теряет смысл рассуждение о транзитивности. Сохраняется в примерах типа приведенных идентичность морфем (слов), но это уже нечто совсем другое (в хрестоматийных русских парах «шкап — шкаф», «калоша — галоша» слова не меняются, но фонемные цепочки — меняются).⁸

⁸ Ясно, что суть здесь кроется в существовании в языке «двойного членения», и не случайно, что в другой своей работе П. Поставал отзывается об этом понятии как о «бессодержательном»: положение о двойном членении и генеративная концепция в фонологии явно не согласуются (см.: P. P o s t a l, [реч. на кн.:] A. Martinet, Elements of general linguistics, «Foundations of language», II, 2, 1966, стр. 162).

⁷ Ср.: J. V a c h e k, указ. соч., стр. 410 и др.; F. W. H o u s e h o l d e r, Jr., On some recent claims in phonological theory, «Journal of linguistics», I, 1, 1965, стр. 31.

Свободное варьирование фонем — вовсе не то же, что свободное варьирование аллофонов; критерий для различения этих двух видов свободного варьирования — тот же, что уже упоминался: возможность противопоставления в сильной позиции.

Один из основных упреков, который Постал делает в адрес традиционной фонологии, состоит в том, что традиционная фонология принципиально отказывается от привлечения грамматической информации для решения фонологических вопросов⁹. На этот раз с автором следует в основном согласиться. Отечественные фонологические школы всегда настаивали на определяющей роли грамматических, в частности, морфологических, факторов для фонологического анализа, хотя и расхолись в вопросе о границах их релевантности. Сделаем и мы существенную оговорку: грамматические факторы абсолютно необходимы для выяснения системы фонем; когда же система выяснена (сложилась), она приобретает ту самую (частичную) автономность, против которой возражает Постал.

Как уже говорилось выше, генеративные авторы практически не занимаются установлением системы фонем языка. Это тем более странно, что установление системы фонем, в сущности, моделирует ее усвоение при стихийном овладении языком, а генеративная концепция настаивает на сугубой важности этого аспекта¹⁰.

Постал, подобно Хомскому и Халле, занят вопросом установления непосредственно фонологического облика морфем в словаре (лексиконе). Большое значение здесь придается принципу маркированности (стр. 153—197), согласно которому каждый «сегмент» описывается набором бинарных признаков, принимающих два значения: «маркированный» и «немаркированный». Имеются правила, частично универсальные, частично специфические для каждого языка, устанавливающие, какие именно значения конкретных признаков выступают как маркированные и

немаркированные. Например, для признака «глоттализированный / неглоттализированный» немаркированным принимается значение «неглоттализированный». Это означает, что каждый сегмент реализуется как неглоттализированный — кроме тех случаев, когда для него в матрице соответствующий признак помечен как «маркированный». Иначе говоря, выбираются значения признаков, которые представляются «естественными», «нормальными», из чего следует, что качество сегмента по этому признаку определяется автоматически, если нет специального указания (т. е. указания «маркированный»).

Можно заметить, что указание на «немаркированность» — это тоже специальное указание, к тому же требующее особой конвенции. Причем это именно конвенция, так как никакого операционального определения для выбора маркированного значения признака нет¹¹. Наконец, понимание каждого конкретного описания как фрагмента описания «спинлингвистического» (языка вообще) отягощает это описание избыточными для данного языка признаками (что, очевидно, лишает его адекватности по отношению к «менталистской» реальности, на необходимости которой настаивает Постал и его коллеги).

Мы не затрагиваем важных вопросов, обсуждаемых в книге — в частности, вопросов фонологической диахронии во II главе (стр. 231—307), где Постал в основном резонно упрекает традиционную фонологию в младограмматическом фонетизме, настаивая, что «звуковые изменения» — это изменения по самой сути фонологические, «менталистские»¹².

Следует еще раз подчеркнуть, что противоречия между порождающей и традиционной фонологией в значительной степени объясняются разными подходами: традиционная фонология (пусть имплицитно) ориентируется на моделирование усвоения языка и восприятия речи. Порождение речи в ней отражается хуже, и в этом смысле она неполна. Однако очень странно выглядят слова Посталя о том, что сама задача традиционной фонологии

⁹ Постал связывает отказ от грамматической информации в фонологии с антиментализмом бихевиористского толка. Антиментализм, однако, проявил себя двояким образом: как требование эксплицитного формулирования приемов лингвистического анализа (и в этом его значение полностью сохраняется), и как «физикализм», принципиально отрицающий не только всякое обращение к значению, поскольку оно «ненаблюдаемо», но и вообще выводящий значение за пределы лингвистики — в то время как значение и есть, несомненно, *raison d'être* языка.

¹⁰ См., например: Н. Хомский и, указ. соч., стр. 555; Н. Хомский и Дж. Миллер, Введение в формальный анализ естественных языков, «Кибернетический сборник», Новая серия, 1, 1965, стр. 236.

¹¹ Неудивительно, что сразу же возникают разногласия по конкретным вопросам. Так, У. Чейф (W. Chafe) в рецензии на книгу П. Посталя высказывает мнение, что глухость (а не звонкость, как считает Постал) должна быть признана маркированной, так как для работы речевого аппарата нормально именно наличие голоса («Language», 46, 1, 1970, стр. 119).

¹² Впрочем о фонологическом, «мутантном» характере изменений в фонетике писал еще в 1931 г. Р. Якобсон (R. Jakobson, Prinzipien der historischen Phonologie, TCLP, 4, 1931). См. также: Л. Р. Зиндер, Общая фонетика, Л., 1960 (особенно стр. 262).

(объяснить, как звуки различают высказывания) неверна и должна быть заменена другой: объяснить, как произносятся высказывания (стр. 310), т. е. именно той задачей, которую ставит перед собой генеративная фонология. Решение этой последней задачи исчерпывающе описывало бы речевую деятельность человека единственно в том случае, если бы правила восприятия речи автоматически выводились из правил порождения речи. Думается, однако, что в полном объеме это переально¹³.

¹³ Отвергая действительно примитивный подход к восприятию, согласно которому анализ осуществляется лишь последовательным использованием чисто фонетической информации, Постал взамен не предлагает ничего, кроме общих и

в заключение заметим, что, если не считать формализма, то основные вопросы, дебатлируемые в книге Постала и вообще в мировой фонологии последних лет, давно уже были предметом оживленного обсуждения в отечественной науке. Нетрудно видеть, что многие положения генеративной фонологии исключительно близки постулатам Московской фонологической школы. Представляется, впрочем, что в ряде отношений московские фонологи более «лингвистичны».

В. Б. Касевич

расплывчатых высказываний (см. например, стр. 37, примеч.). Не лучше обстоит дело и в других генеративных трудах (см. например, N. Chomsky, M. Halle, *The sound pattern of English*, New York, 1968, стр. 24).

J. W. R. Lindemann. *Old English preverbal ge-: its meaning*.—Charlottesville, The University Press of Virginia, 1970. 71 стр.

Проблема видо-временной системы в древних германских языках уже около двух столетий привлекает пристальное внимание научно-лингвистической мысли. И это вполне понятно, ибо указанный вопрос находится как бы на перекрестке наиболее сложных и важных проблем общего языкознания, типологии и сравнительной грамматики германских и индоевропейских языков. Недаром лучшие умы языковедческой науки (Я. Гримм, К. Бругман, Л. Влумфилд, А. Мейе, Б. Трика, В. Штрайтберг и др.) неоднократно обращались к этому вопросу, представляющему непреходящий интерес и поныне. Достаточно напомнить, что этот вопрос обсуждался на IX Международном конгрессе лингвистов в США. Проблемы вида/времени в германских языках в конце XIX в. явились предметом величайших научных заблуждений и целого ряда догматических построений. Именно здесь, как ни в одном другом вопросе, было наглядно продемонстрировано, к чему может привести произвольность и предвзятость в науке: какая-то часть фактов, рассматриваемая с определенной априори известной точки зрения, внешне выглядит вполне убедительно (ср. классическую концепцию В. Штрайтберга о видовом значении префиксированных глаголов, особенно с «семантически опустошенным» префиксом *ga-* в готском языке и об уподоблении германской «видовой системы» славянской), тогда как другая часть фактов (или даже те же самые факты!) используется для доказательства противоположных точек зрения (ср. концепцию А. Бэра о так называемом «стилистическом» значении «опустошен-

ных» глагольных префиксов в германских языках или концепцию Ф. Шерера об использовании глагольных Komposita при определенной последовательности времен в предложении или вне такой последовательности — так называемое «комбинированное» или «изолированное» употребление; с другой стороны, Ф. Шерер считает, что сама по себе морфология глагольных форм не выражает видового значения).

Литература по вопросу о видо-временной системе в германских языках с каждым годом увеличивается. Однако, как это ни странно, до сих пор профилирующей точкой зрения среди большинства языковедов продолжает оставаться давно опровергнутая и устаревшая концепция В. Штрайтберга. Интересно, что сторонники этой теории настолько фанатично отстаивают свою концепцию, что пытаются во что бы то ни стало «объяснить» все случаи, не укладывающиеся в прокрустово ложе их догмы [так, Берихардт «объясняет» перевод греч. *καρπάζει* (Mt. XXVII, 52) готским бесприставочным глаголом *ligan* (а не приставочным, как это следовало ожидать, в свете традиционной теории) аллитерацией со словом *leika*, используемом в том же стихе!]. Эта концепция приводится в качестве канонической даже в недавно изданной в Советском Союзе фундаментальной многотомной «Сравнительной грамматике германских языков» (М., 1966, т. IV).

К сожалению, обилие специальной литературы и ее постоянное пополнение никак не возмещает отсутствие объективного и всестороннего исследования, необходимость которого давно назрела. Имен-

но это обстоятельство заставляет весьма критически и осторожно относиться к новым выходящим исследованиям проблемы вида/времени в германских языках, в большинстве своем не оправдывающих возлагаемых на них надежд¹.

Рецензируемая монография профессора Виргинского Политехнического института и Государственного Университета в Виргинии (США) Дж. В. Р. Линдемана (ныне покойного) состоит из двух глав. В первой главе (стр. 1—18), воспроизводящей ранее опубликованную статью того же автора², делается попытка критически рассмотреть некоторые наиболее распространенные концепции функционирования глагольных префиксов (особенно *ga*, *ge*, *gi*) в германских языках (семантическая «опустошенность» значения префикса *ge*-; использование этого префикса для «интенсификации» действия и для перевода непереходного глагола в результативный переходный; использование *ge*- для придания глаголу значения завершенности или выражения перфективного вида).

Вторая глава монографии Дж. Линдемана посвящена самостоятельному исследованию первоначального лексического значения префикса *ge*- на материале шести диалектных изводов (*collations*) древнеанглийского евангелия от Матвея (в издании В. Скита), сопоставляемых с соответствующим латинским оригиналом. Кроме того, для сравнения привлекается материал некоторых других древнегерманских языков. Исследование это, как отмечается в подзаголовке II главы, производится на основе «эмпирических допущений и лингвистических фактов» (стр. 19).

В первой главе рецензируемой книги, отличающейся обилием рассмотренной литературы и остротой полемики, Дж. Линдеман справедливо отвергает теорию В. Штрайтберга, приводя при этом довольно значительный фактический материал (стр. 11—18), который, по его мнению, призван показать ошибочность этой весьма прочно укоренившейся догмы. Необходимо отметить прежде всего, что в работе Дж. Линдемана не выдвигается каких-либо определенных методических принципов анализа фактического материала и даже не ставится вопрос о необходи-

мости разработки таких принципов, хотя именно от этого в сущности зависят результаты исследования.

В практической части работы Дж. Линдемана эклектически соединяются несколько методологических установок, давно используемых как сторонниками теории В. Штрайтберга, так и ее противниками. Сюда относится в первую очередь субъективное толкование видového значения глагола на основе контекста. При этом контекст понимается как имманентная универсальная «метасущность», стоящая как бы над исторической спецификой того или иного языка и приложимая к любому новому или древнему языку.

В этой связи весьма уместно вспомнить предупреждения Н. Э. Коллинджа о том, что при синтаксических исследованиях древних текстов весьма опасно слишком доверять своему языковому чутью («*Sprachgefühl*»). Н. Э. Коллиндж пишет: «... in the interpretative process of relating text to context it is usually hard, and often impossible, to know the situation in which the text was uttered. The linguistic context which is available conceals the absence of situational context, which is not»³.

В качестве примера толкований Дж. Линдемана приведем следующий (стр. 11):

«Matt 12, 46:

C. *ƿa stod his moder and his gebroðra ƿær-ūta*

L. *Heonu moder his and broðero stondas I gestodon ecce: lat. mater eius et fratres stabant foris*

Lenz (p. 48), „bestehen“; Lorz (p. 36) „beistehen“

Уч. «Stoden without forth». Линдеман толкует: «Therefore not „stopped“, but „continued to stand“».

Вполне понятно, что то или иное толкование или перевод этого места у Ленца, Лорца и Виклифа никак не предвещает вопрос о видовом значении глагола *standan* в древнеанглийском. Кроме того, не исключено, что в различных изводах одно и то же место было неодинаково истолковано в стилистическом и семантическом планах. С другой стороны, Дж. Линдеман, к сожалению, не обращает внимания на вариативность *stondas — gestodon* в Линдисфарнском евангелии (впрочем одна

¹ Ср., например: F. A. Raven, Phasenaktionsarten im Althochdeutschen, «Zeitschrift für deutschen Altertum», 92, 3, 1963; M. L. Samuel, The *ge*-prefix in the Old English gloss to the Lindisfarne Gospels, «Transactions of the Philological Society», London, 1949. Исключение составляет работа: A. Joly, *Ge*-préfixe lexical en vieil anglais, «Canadian journal of linguistics», XII, 1967.

² J. W. R. Lindeman, Old English preverbal *ge*-: a re-examination of some current doctrines, JEGPh, LXIV, 1965.

³ См.: N. E. Collinge, Some reflections on comparative historical syntax, в его кн.: «Collectanea linguistica», The Hague — Paris, 1970, стр. 105. Показательно, что Дж. Линдеман в своей книге поднимает на щит весьма слабую в теоретическом отношении статью Л. Р. Лимарь «К вопросу о роли глагольных приставок в связи с видовым значением глаголов» («Уч. зап. [1-го МГПИИЯ]», М., 1963, стр. 159 и сл.), целиком основанную на толковании древнеанглийского материала.

из этих форм может быть более поздней приваггисации (латинской глоссы).

«Matt. 2, 23 (стр. 11—12).

C. he com þa and eardode on þære ceastre L. Cuom *gebyde* in ceastra: лат. *ueniens habitait in ciuitate*»

Линдеман интерпретирует: «Not „took up his residence“, or „established himself“ or „settled“, but „abode“ there. Hesse (p. 15) „verbleiben“, Wuth (p. 62) „verharren, verweilen“».

Дж. Линдеман не только использует толкование по контексту, но и соотносит изучаемые им древнеанглийские глагольные формы с соответствующими формами латинского оригинала. Так, по его подсчетам, в древнеанглийском варианте евангелия от Матвея (Дж. Линдеман почему-то не указывает, в каком именно изводе этого евангелия) в 16% всех случаев др.-англ. претерит переводит латинский перфект, в 15% всех случаев др.-англ. претерит переводит латинский плюсквамперфект, в 20% случаев др.-англ. настоящее время индикатива переводит латинское будущее время. В остальных случаях, по наблюдениям Дж. Линдемана, и перфективное, и имперфективное значение в изучаемом евангелии выражается бесприставочным глаголом. Вряд ли следует доказывать, что грамматическое значение той или иной древнеанглийской глагольной формы не стоит ни в какой зависимости от соответствующей формы латинского оригинала — это видно уже из приведенных выше очень кратких данных самого Дж. Линдемана, об этом же говорят и факты готского перевода Библии, где самые разнообразные греческие глагольные формы (аорист, перфект, имперфект) могут соответствовать как приставочным (с *ga-*), так и бесприставочным глаголам⁴. Что же касается статистических данных, то особенно в отношении древних языков, зафиксированных только в определенных текстах, такое исследование вряд ли может всегда служить адекватным отражением реальных языковых фактов.

Отметим, что в работе Дж. Линдемана не делается каких-либо разграничений между категориями вида и аспекта, которые в свою очередь никак не соотносятся с грамматическим временем⁵; видовой же категории в древнегерманских языках рассматривается Дж. Линдеманом только на материале глагольной префиксации при полном игнорировании дру-

гих средств перфективации и имперфективации, наметившихся в древних германских языках, в частности так называемых *expanded forms*, *Perfektiva Simplicia*, *Nichtperfektivbare Durativa* и др. глаголов⁶.

На стр. 21 Дж. Линдеман, опровергая теорию В. Штрайтберга, указывает на то обстоятельство, что в древнеанглийских евангелиях сложные глаголы с *ge-* могли употребляться после *onginnan* (Mt XI, 7; Mt XI, 1, Mk V, 18, Lk XIV, 30 в ливдифарнских евангелиях, Lk XIX, 37, Mk XIII, 4 и др. в узсекских евангелиях). Укажем в связи с этим, что еще в 1957 г. автор этих строк указал на возможность употребления глаголов с *ge-* после *dugginnan* в древнеанглийском, приведя при этом обширный фактический материал⁷.

Основная концепция Дж. Линдемана относительно значения префикса *ge-* в древнеанглийском изложена во второй главе рецензируемой книги (стр. 19—66), где она документирована обширным фактическим материалом (стр. 39—62). Суть этой концепции сводится к следующему: древнеанглийский префикс *ge-*, как и и.-е. **gho*, рефлексом которого он является, имел чисто лексическое значение, а именно пространственное значение движения, и соответствовал латинским превербам *ad-*, *in-*, *ex-*, немецким *an-*, *zu-*, *hin-*, *hinweg-*, *auf-*, *be-*. Дж. Линдеман ссылается при этом на высказывания таких ученых, как Гримм, Потт, Кун, Хойслер, Бругман, Альман, Кёстлер и др. (он категорически отвергает первоначальное собирательное значение этого префикса, постулируемое В. Штрайтбергом). Так, он приводит мнение Куна о том, что древнеанглийский префикс *ge-* в свое время имел аналог в древнеисландском, сохранившийся в слове *öglíkr*, где он выступал в значении направленности. Автор приводит цитату из работы малоизвестного нидерландского ученого эпохи Ренессанса И. ван Горпа (Бекания), который в своем сочинении «*Hermathena*» (Антверпен, 1580) писал: «*Hinc sit ut Ge aliquando pro Ad Latino-rum usurpemus: ut si quis dicat Ge Louen/ides ad Louanium vel Louanium versus*». «*Ge idem est quod Latinus dicit versus sive ad*». Дж. Линдеман приводит также высказывание Х. Педерсена о другом рефлексе и.-е. **gho*, а именно об армянском *z*: «*Ebenso bezeichnet z den weg einer bewegung*».

Каким же образом Дж. Линдеман чисто лингвистически доказывает «пространственное» значение древнеанглийского

⁴ Ср.: М. М. Маковский, К проблеме вида в готском языке, «Уч. зап. [1-го МГПИИЯ]», XIX, 1959, стр. 79 и сл.

⁵ F. G. Banta, Tense and aspect in the Middle High German of Berthold von Regensburg, JEGPh, LIX, 1960; A. R. Venham, The expression of result in Old English prose, doctoral dissertation, Yale University, 1905.

⁶ Ср.: G. Nickel, Die expanded form im Altenglischen, Neumünster, 1966.

⁷ См.: М. М. Маковский, О значении конструкции «глагол быть + причастие I» в нортумбрийских глоссах, «Уч. зап. [1-го МГПИИЯ]», XI, 1957.

глагольного префикса *ge-*? Он приводит 136 сопоставлений древнеанглийских глаголов с *ge-* в уэссекском, рашвортском и линдисфарнском изводах евангелия от Матвея, а также соответствующие места из среднеанглийского, древневерхне-немецкого, исландского, готского.

Например: ср. Mt. 8, 17 лат. *accepit* — др.-англ. *C. He onfeng ure untrumnessa. R. onfeng. L. genom. T. inphing. K. benamen. I. uppa sig tekite. G. usnam.*

Линдеман толкует: «Took on».

Mt 26, 2 лат. *tradetur* — др.-англ. *C. wite ge þ . . . mannes bearn bið gesald. R. biðsald. L. gesald bið; T. giselit; K. averghelevert; I. overseliant. G. atgibida (hinübergergeben).*

Линдеман толкует: «Despite the participial construction, not just „will be given“, but „will be given over!“».

Mt 14, 32, лат. *cessavit* — др.-англ. *C. geswac; L. geblann; T. bilan; Th. vor gink; I. fyrdi.*

Линдеман толкует: «The wind „moved away“, not „stopped“» (стр. 51).

Стр. 49: Mt 5, 28 лат. *viderit* — др.-англ. *C. aelc þæra þe wif gesyhð. R. gesihð. L. gesis. I. litr til.*

Линдеман толкует: «Here an excellent example of the difference between *seon* and *geseon* — Luther: „ansieht“, A.V. „Looketh on“».

На стр. 64 Дж. Линдеман приводит интересный пример: «Mt. 25, 5 (Lind): *gesplepeden alle and geslepdon (лат. dormitaverunt omnes et dormierunt)*», который он толкует в смысле «they fell asleep and they continued sleeping». Свое толкование он «подкрепляет» современным нижне-немецким переводом этого места: «Un daröwer *slapt se weder to* („and on that they fell asleep again“)... un so *slapt se beid bet morgens to* („and so the two continue to sleep until dawn“»).

Уже приведенные примеры не оставляют сомнения в том, что основным методом анализа Дж. Линдемана является все то же субъективное, произвольное толкование текста в угоду заранее известной догме, которым так злоупотреблял В. Штрайтберг: в отличие от последнего, Дж. Линдеман бескомпромиссно толкует древнеанглийский глагольный префикс *ge-* в пространственном лексическом значении, тогда как В. Штрайтберг с меньшей фанатичностью толковал готский префикс *ga-* в перфектном значении и считал его синтаксическим показателем. В этой связи странным парадоксом выглядит эпиграф ко второй главе книги Дж. Линдемана, почерпнутый им у Витгенштейна: «Denk nicht. Schau!»

Необходимо отметить, что наличие в других изводах английской Библии или в переводах Библии на другие языки глаголов с пространственными префиксами, соответствующих др.-англ. *ge-*, естественно, ничего не доказывает относительно за-

кономерностей в древнеанглийском (особенно, когда в пределах одного и того же стиха Библии на разных языках мы имеем дело с разными глаголами) Дж. Линдеман явно не учитывает различный хронологический статус сопоставляемых им текстов, а также различные принципы перевода этих текстов и неодинаковые закономерности соответствующих языков (в некоторых из них префикс *ge-* вообще отсутствовал)⁸.

В каждом из этих случаев переводчики могли вполне сообщать неодинаковый смысл (как пространственный, так и непространственный) одним и тем же глаголам, стоящим в рассматриваемом стихе евангелия. Бесприставочные глаголы могли быть равнозначны глаголам с пространственными префиксами⁹. Специальные исследования, посвященные сопоставлению древнегерманских приставочных глаголов с греческими и латинскими соответствиями в оригинале показали, что изучаемый префикс лишь в меньшинстве случаев соответствует приставочным глаголам оригинала. Такое соответствие скорее всего было обусловлено калькированием, а также принципом рекуррентности¹⁰.

Кстати, В. Штрайтберг в своем анализе делал основную ставку именно на так называемые «отклонения от оригинала», т. е. на случаи, когда бесприставочные глаголы в оригинале соответствуют приставочным (особенно с *ga-*) в переводе. Метод этот по целому ряду причин не всегда оказывается неуязвимым¹¹ (в частности, одна и та же форма оригинала нередко передается разными формами перевода, а одна и та же форма перевода соответствует различным формам оригинала).

Результаты работы Дж. Линдемана еще раз настойчиво подчеркивают необходимость дальнейших исследований затронутого вопроса на основе объективного и беспристрастного подхода к фактам языка.

М. М. Маковский

⁸ Ср.: A. R. Watkins, The function of the verbal prefix *ge-* in late Middle High German as exemplified in «Die Erlösung», doctoral dissertation, Stanford University, 1949.

⁹ Ср.: М. М. Маковский, О лексическом выражении видовой дихотомии в германских языках, ФН, 1967, 3.

¹⁰ Ср.: A. L. Rice, Gothic prepositional compounds in their relation to their Greek originals, Philadelphia, 1932; J. R. Hendrickson, Old English prepositional compounds in relationship to their Latin originals, Philadelphia, 1948; H. Rosen, Old High German prepositional compounds in relation to their Latin originals, Philadelphia, 1934.

¹¹ Ср.: М. М. Маковский, Об определении автохтонности синтаксических моделей при анализе «отклонений от оригинала» ВЯ, 1961, 1.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

НОВОЕ В КАРТВЕЛИСТИКЕ

Монография Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани «Система сонантов и аблаут в картвельских языках» (Тбилиси, 1965) получила, судя по известным мне рецензиям, высокую оценку со стороны весьма авторитетных лингвистов, как советских, так и зарубежных, почти единогласно признавших появление названного труда значительным событием в картвелистике и вообще лингвистике¹. Следовательно, вполне оправдался наш рекомендательный отзыв (1964) об этой монографии: «Выявление системы сонантов и аблаута в картвельских языках, прекрасно осуществленное в монографии, мы считаем огромным достижением картвелистики: этим путем удастся восстановить древнейшие процессы становления картвельских языков. Труд этот представляет собой новый этап в развитии картвелистики: он послужит надежным фундаментом успешного исследования картвельских языков и создания полноценной их сравнительной грамматики. Значение рецензируемого труда выходит за пределы картвело-логии: он чрезвычайно важен и для индоевропеистики и общего языковедения».

Только Арн. Чикобава (опубликованный свою критическую статью спустя пять лет после выхода в свет работы Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани) встретил появление монографии остро отрицательно², именно по я в л е н и е, а не качество монографии, ибо о научном качестве ее он чрезвычайно высокого мнения: «... работа исключительно интересная и по

выводам, и по принципиальным установкам и опорным общелингвистическим понятиям, далее — с точки зрения толкования таких понятий, как общекартвельский язык, историческое взаимоотношение картвельских языков, задачи реконструкции» (стр. 50), «Монография..., написанная на высоком профессиональном уровне талантливыми авторами, прекрасно владеющими материалом» (стр. 60). Несмотря на такую высокую оценку монографии, выход ее в свет Арн. Чикобава считает определенно вредным. И все дело в том, что авторы, по его мнению, сделали заведомо неправильный выбор направления своего исследования. Невероятно, чтобы они, обладая всеми положительными качествами исследователей, как это признает Арн. Чикобава, не понимали, какое направление диктуется анализируемыми ими фактами, ибо при подлинно научном исследовании не может быть речи о произвольно выбранном направлении.

Арн. Чикобава, называя работу Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани п о и с к о в о й, продолжает: «Поиски бывают удачные и неудачные. В данном случае неудача обусловлена направлением, в котором велся поиск; выбор направления был объективно неоправдан; решать существенные вопросы истории и структуры картвельских языков, ориентируя исследовательскую мысль на взаимоотношения с индоевропейскими языками, и г н о р и р у я при этом взаимоотношения картвельских языков (исторические, структурные) с горскими и иберийско-кавказскими языками, бесперспективно» (стр. 60).

Во-первых, Арн. Чикобава, видимо, считает возможным выбрать направление произвольно, до ознакомления с фактическим материалом и до анализа его, и рекомендовал бы авторам монографии выбрать то направление, которое он сам возглавляет.

Во-вторых, можно ли говорить о н е у д а ч е авторов монографии и о б е с .

¹ См. рецензии таких известных исследователей картвельских языков, как Г. А. Климов (ВЯ, 1966, 4), Х. Фугт (ВЯ, 1966, 6; см. также «Revue de Karthvélogie», 52—53, 1967), К. Х. Шмидт (IF, 73, Hf. 3, 1968), а также индоевропейцев — В. П. Лемана [«Language», 44, 2 (pt. 1), 1968], В. М. Иллич-Свишча (ВЯ, 1966, 4) и отзыв В. М. Жирмунского (ИАН ОЛЯ, 1967, 1, стр. 19).

² А р н . Ч и к о б а в а, К вопросу об отношении картвельских языков к индоевропейским и северокавказским языкам, ВЯ, 1970, 2 (далее ссылки на стр. этой статьи даются в тексте).

перспективности нового подхода в изучении картвельских языков? Именованное общепризнанное достижение неудачей, а ясную и надежную перспективу бесперспективностью недопустимо.

В плане сравнительно-исторического изучения этих языков, как известно, до появления этой монографии не было достигнуто существенных результатов иными направлениями — ни при продолжительном господстве марровского «нового учения», ни при не менее длительном действии подобного же понимания взаимоотношений картвельских и северокавказских языков в иберийско-кавказском направлении.

В-третьих, Арн. Чикобава неверно информирует читателей, будто авторы игнорируют взаимоотношения картвельских и иберийско-кавказских языков. На самом же деле в монографии читаем: «Полученная типологическая модель находит ближайшую параллель в горских иберийско-кавказских языках, в особенности в западнокавказской (абхазско-адыгской) группе. Как раз для этой группы характерен чрезвычайно сложный консонантизм и крайне простой вокализм; ударение подвижное и динамическое, имеющее (во всяком случае в абхазском и кабардинском) дистриктивную функцию» («Система сонантов...», стр. 373, см. также русское резюме стр. 470 и *passim*).

Как видим, взаимоотношения картвельских и северокавказских языков в действительности отнюдь не игнорируются в монографии. Верно то, что авторы «ориентировали исследовательскую мысль» на взаимоотношения картвельских языков с индоевропейскими в большей степени, ибо этого требовали показания фактического материала и это оправдало себя: реконструкция общекартвельских языковых структур показала, что они очень близки к реконструированным структурам индоевропейских языков. В результате авторы дали картину картвельско-индоевропейского морфологического изоморфизма и тем самым открыли новую страницу карвелистики, попутно объяснив ряд неясных вопросов, что очень важно во всех случаях. Например, постулированием в картвельских языках слогообразующих сонантов, замеченных еще Н. Я. Марром³,

³ Н. М а р р, Грамматика древнелитературного грузинского языка, Л., 1925, стр. 41: «Подбор согласных, при которых легко исчезал гласный, может объясняться тем, что эти согласные были некогда сонантами и в грузинском (l, r, n, v)». Об этом акад. Г. В. Церетели пишет: «Только Н. Я. Марр, благодаря своей паразитивной интуиции, почувствовал возможность существования некогда в грузинском сонантов l, r, n» (стр. 036 монографии, примеч. 4). Между тем Арн.

объяснен целый ряд закономерных соответствий между картвельскими языками. О проблемах, разрешение которых не удавалось до выхода в свет монографии Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани, говорит Г. В. Церетели в своем обстоятельном предисловии к монографии («Система сонантов...», стр. 020).

Между тем Арн. Чикобава пытается показать, что покойный Г. И. Мачавариани якобы расхотелся со своим соавтором в основном вопросе, что сказало в его появившейся после монографии работе, где будто бы он придерживается мнения, противоположного точке зрения Т. В. Гамкрелидзе. Но так как коллективная монография вышла еще при жизни Г. И. Мачавариани, и в ней нет и намек на разногласие между авторами по каким-либо вопросам, то возникает вопрос: какая, в конце концов, польза для разрешения проблемы в том, что будет опровергаться единый взгляд обоих авторов монографии со ссылками на приписываемые одному из авторов аргументы из работы этого последнего, появившейся после монографии?

Гораздо важнее вопрос о дальнейшей исследовательской работе карвелологов и кавказологов. Мы думаем, что при явном преимуществе нового пути в карвелистике, убедительно продемонстрированного в монографии Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани, сравнительно-историческое исследование картвельских языков может быть постепенно переведено на новые рельсы по мере создания необходимых для этого условий, особенно в деле привлечения и воспитания соответствующих новых кадров.

Что же касается иберийско-кавказского направления, то оно особенно развилось в Тбилиси (в Университете и в Институте языковедения АН ГрузССР) под научно-организационным руководством Арн. Чикобава, имея опорно-исследовательские центры в Сухуми, Махачкале, Грозном, Нальчике и др. Располагая высококвалифицированными научными кадрами, это направление добилось, безусловно, определенных результатов в области исследования отдельных кавказских языков в описательном, а также сравнительно-историческом плане, насколько это позволяет фактический материал изучаемых языков; при исследовании других кавказских языков привлекается, конечно, по возможности и надобности материал картвельских языков. Зачастую явления этих последних находят объяснение на основе анализа фактов из других кавказских языков. Высо-

Чикобава пишет: «Из наличия сонантов [j, w] не вытекает необходимость постулировать наличие (наряду с l, r, n,) словообразующих j, r, n: показания картвельских языков не в состоянии поддерживать такое допущение» (стр. 59).

кий научный уровень огромной печатной продукции этого направления на грузинском и русском, а отчасти и на зарубежных языках, говорит о больших возможностях исследований такого характера. Совершенно ясно, что эти исследования представляют большой интерес и для

картвелистики нового направления, поскольку многовековое более или менее близкое соседство кавказских племен и народов друг с другом оставило определенный след и в их языках.

Г. С. Ахведиани

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

22—24 июня 1971 г. три советские организации — действительные члены Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) — Ленинградский государственный университет, Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский дом) и Научно-методический центр русского языка при Московском государственном университете — провели международный симпозиум «Страноведение и преподавание русского языка как иностранного».

МАПРЯЛ с самого своего основания в 1967 г. отстаивала точку зрения, согласно которой преподавание русского языка иностранцам должно быть тесно связано с изучением страноведения (государственного устройства, общественной и политической жизни, географии, истории, культуры и искусства СССР)¹. По сравнению с традиционным пониманием страноведение стало пониматься как методическое преломление общелингвистической проблемы «язык и культура», требующее осмысления преподаваемых фактов языка в контексте национальной культуры.

В симпозиуме участвовали 101 делегат из 31 зарубежной страны и более 100 советских участников из Ленинграда, Москвы, Киева, Баку и других городов. На трех пленарных и семи секционных заседаниях, проходивших в помещении Пушкинского дома и Ленинградского университета, было прочитано 67 докладов и сообщений, по многим из которых состоялись дискуссии. Подготовительные материалы симпозиума опубликованы².

Открывая симпозиум, председатель пленарного заседания президент МАПРЯЛ

акад. М. Б. Храпченко во вступительном слове подчеркнул, что знакомство с советской культурой в процессе усвоения русского языка — необходимая предпосылка учебной работы. Страноведение — неотъемлемый компонент как учебных пособий, так и практических занятий. Эта установка явилась лейтмотивом симпозиума.

Историко-теоретическое осмысление этой установки было дано в ярком докладе акад. М. П. Алексеева, который на множестве блестящих примеров показал, как роль нашей страны в мире и общечеловеческая ценность русской культуры предопределяли интерес к русскому языку за рубежом, начиная со времен Ярослава Мудрого в XI в. Выход централизованного русского государства на международную арену в XV—XVI вв. повлек за собой углубление этого интереса; в Англии, например, в XVI в. к услугам желающих изучать русский язык имелись русские буквари. В основе распространения русского языка лежали не только потребности торговли и дипломатии, но и потребность знать русскую науку и литературу; в XVI в. англичане и голландцы переводят на свои языки русские сочинения по географии, а в 1618 г. бакалавр Ричард Джеймс составляет словарь живого обиходного русского языка. Москвовой, ее культурой и русским языком интересовался Шекспир, а затем — особенно после реформ Петра I — очень многие деятели: французские энциклопедисты, Вольтер, Дидро, Мери-ме, переводивший Пушкина. Великие достижения русской культуры и художественной литературы XIX в. заложили основу для превращения языка этой культуры в мировой; этот процесс стал очевидной реальностью в связи с величайшим вкладом нашей страны в общечеловеческое развитие после 1917 г. Русский язык сейчас не только стал — в соответствии с предвидением Ф. Энгельса и В. И. Ленина — одним из общепринятых мировых языков, но и вышел среди них на второе место по интенсивности изучения.

В докладе «Лингвистическая проблематика страноведения в преподавании русского языка иностранцам» В. Г. Ко-

¹ «Русский язык в современном мире. Материалы МАПРЯЛ. Документы Учредительной конференции по созданию МАПРЯЛ», М., 1968, стр. 13.

² См.: Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, Лингвистическая проблематика страноведения в преподавании русского языка иностранцам, М., 1971; «Международный симпозиум „Страноведение и преподавание русского языка как иностранного“ (Тезисы докладов и выступлений)», М., 1971.

стомарова и Е. М. Верещагина рассматривалась страноведческая ценность учебных текстов, проблема привлечения художественной литературы как страноведческого источника и лингвострановедческая методика преподавания русского языка, т. е. методика преподавания языка через внеязыковую действительность.

На втором пленарном заседании Г. Тагамлицкая (Болгария) говорила о принципах страноведческой работы на высшем этапе преподавания. В. Е. Балахонов остановился на роли литературы в учебном процессе как средстве страноведческого познания СССР, а также гуманистического воспитания. И. Вуйович (Венгрия) рассмотрела страноведческий материал в учебниках русского языка для средней школы. Вице-президент МАПРЯЛ А. Шмид (Австрия) разобрал роль преподавателя русского языка в связи со страноведческими сведениями, передаваемыми средствами массовой информации. Л. С. Алексеева провела критику страноведческого аспекта зарубежных учебных пособий и сделала ряд предложений по совершенствованию помещаемых в них страноведческих материалов.

На секции «Общие вопросы страноведения» выступили М. Букэ и И. Евсеев (Румыния), которые подошли к проблеме страноведения в свете дихотомии «язык — речь». Коллектив авторов (Р. М. Мамедов, А. Д. Мелик-Абасова и др.) выступил с рассмотрением важного вопроса сочетания «общесоюзного» и «местного» страноведения в преподавании русского языка на местах. М. Мулич (Югославия) говорил о страноведении как о необходимой информации при изучении языка. Г. И. Макарова предлагала построить учебную модель по страноведению, варьирующуюся в зависимости от целей и условий обучения. О. Винцелер и А. Винцелер (Румыния) рассматривали лингвистические вопросы, обсуждаемые под шапкой «язык и культура». М. Ф. Парашина прочитала доклад «К вопросу о роли ономастики в методике преподавания русского языка как иностранного». М. Лозбе (Румыния) привел интересные данные по страноведческому истолкованию народных пословиц и поговорок.

На секции «Обмен опытом» В. Фейхтнер (Австрия), Г. И. Дергачева, Р. И. Яранцев-Бершадский, Л. С. Алексеева, Б. Кунхардт (ФРГ), И. Дьяченко, Д. Дашдондог (Монголия), И. Зюс (ГДР), Б. Шубик (Австрия), В. Хесснер (ГДР), Г. Бартен (ГДР), В. Поби (Австралия), С. Маврицкий (ФРГ) и М. Д. Зинозьева рассказали о созданных и создаваемых пособиях по страноведению.

На секции «Художественная литература как страноведческий источник препода-

вания русского языка» В. Г. Костомаров и Е. М. Верещагина предложили учитывать в учебных целях так называемые облигаторные книги, т. е. книги, безусловно прочитанные всеми образованными русскими. Н. М. Каучишвили (Италия) поделилась опытом соединения в преподавании литературоведческих и лингвистических сведений. Н. Г. Михайловская убедительно осветила роль страноведческих знаний на частном примере символики имени собственного в современной поэзии. Э. А. Исаева разобрала малоисследованный вопрос о роли художественной литературы на начальном этапе изучения русского языка. А. Н. Васильева посвятила свой доклад книгам для чтения и, между прочим, высказалась против адаптации художественных произведений в учебных целях. Ф. И. Сетин говорил о страноведческом и лингвистическом значении детской литературы, которая обычно бывает интуитивно адаптирована писателем. А. М. Шахнарович и Ю. А. Сорокин исследовали литературные тексты с точки зрения сведений об этикете. Н. И. Скаченко в остановилась на проблеме страноведческого комментирования произведений художественной литературы. М. Ф. Джананова (Болгария) развивала мысль о том, что оценка русского языка иностранцами имеет большое значение для повышения интереса к языку. Г. Германов (Болгария) рассмотрел русскую литературу XIX в. в преподавании русского языка.

На секции «Принципы учета страноведческого аспекта в построении языковых учебных пособий» А. В. Абрамович, Л. Дудникова (Румыния), Н. М. Дзюбанова, И. А. Дьяченко, К. Бабов (Болгария) и П. Н. Денисов рассказывали об отражении страноведческого аспекта в учебных пособиях и словарях.

На секции «Принципы создания страноведческих пособий для изучающих русский язык» К. Андрейчина (Болгария), Л. Науменко, Р. Новикова, М. Новиков (Румыния), Л. И. Ермакова, Б. Неуманн и Я. Вавра (Чехословакия), А. Н. Кожин и К. Пехливанова (Болгария) обменялись опытом написания страноведческих учебных пособий.

На секции «Этикет и язык в преподавании русского языка иностранцам» М. М. Копыленко выступил с докладом «Наблюдения над этикетом обращения». Ю. А. Сорокин остановился на языковой коммуникации в связи с проблемой так называемых «фоновых знаний». Формы приветствия в студенческой среде были описаны в докладе Р. М. Мамедова и Ю. Н. Кузьмицкой. Р. Волос (Югославия) и А. Кошелев (Болгария) вскрыли значение невербальной

(жесты, символическое поведение) коммуникации при изучении русского языка, которая имеет национальную специфику³. М. Л. Вайсбурд доложила о проблеме реалий как элемента страноведения.

На секции «Наглядные пособия и технические средства обучения в преподавании страноведения» выступили В. Кулева (Болгария), А. Блюм (Великобритания), Т. К. Кирш, Л. А. Новиков и Е. В. Сусллова, Б. В. Брагусь, Л. Д. Султанова, Г. Е. Святловский, Р. Терзиева (Болгария).

Наиболее перспективными проблемами, по мнению большинства участников, можно считать определение ценности страноведческого компонента разных конкретных фактов самого языка (особенно его лексики, фразеологии), а также анализ страноведческой роли художественных текстов. Лингвострановедение является частью собственно страноведения и не заменяет изучения страны изучаемого языка (которое может, между прочим, проходить и помимо изучения языка), т. е. ее общественного устройства, истории, экономики, культуры и т. д. В обоих случаях несомненно не только методическое направленное на адекватное усвоение фактов языка, но и общеобразовательное, политико-воспитательное значение такой работы. Соответственно страноведческая работа не может не принять дифференцированного характера.

В наиболее общей форме значение проведенного в Ленинграде симпозиума сводится к утверждению и научно-методическому обоснованию мысли о том, что преподавание русского языка иностранцам должно проводиться в тесной связи с ознакомлением обучающихся с историей СССР, его литературой, общественным устройством, географией, экономикой, искусством или, иными словами, с культурой Советского Союза. Страноведение — это важный аспект преподавания русского языка, раздел методики, предмет которой — культура СССР в изучении рус-

ского языка. При этом вторая часть формулы существенна, отчего следует приветствовать возникновение лингвострановедческой методики преподавания языка, которая требует в первую очередь анализа именно языковых фактов, того культурного элемента, который отражен и запечатлен в формах самого языка. И в этой ипостаси страноведение неотделимо от преподавания русской и советской литературы. Симпозиум показал, что к настоящему времени преподавателями проделана существенная работа по ознакомлению аудитории с культурой СССР.

Вместе с тем стало ясно, что преподавание страноведения вступает в новый этап. Внимание преподавателей и их профессиональных объединений должно быть привлечено к интенсивной теоретической разработке лингвострановедческих проблем и созданию практических учебных пособий страноведческого характера. В заключительном слове Генерального секретаря МАПРЯЛ В. Г. Костомарова, которое было принято в качестве итоговой резолюции, говорилось о желательности образования в рамках МАПРЯЛ проблемной группы по страноведению, которая должна подготовить лингвострановедческую методику преподавания русского языка иностранцам. Предполагается также организовать в Научно-методическом центре русского языка при МГУ Сектор лингвострановедения, который явится не только исследовательским, но и координационным органом. Преподавательской практики и методики, занятые разработкой вопросов лингвострановедения, заинтересованы в сотрудничестве со специалистами в области общего языкознания, изучающими вопросы макролингвистики, этнолингвистики, социолингвистики, вопросы соотношения языка и культуры.

Параллельно с Симпозиумом в Ленинграде, в помещении Дома Дружбы 24 и 25 июня 1971 г. под председательством акад. М. Б. Храпченко состоялась VI сессия Исполнительного совета МАПРЯЛ. Члены Исполсовета образовали Оргкомитет и обсудили план подготовки II Международной конференции преподавателей русского языка и литературы «Теория и практика создания учебников и учебных пособий по русскому языку как иностранному», которая состоится в Софии осенью 1973 г.

Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров
(Москва)

³ О фоновых знаниях и невербальной коммуникации см. статьи Е. М. Верещагина, Т. М. Николаевой, Е. Ф. Тарасова и А. А. Леонтьева в сб. «Роль и место страноведения в практике преподавания русского языка как иностранного» (М., 1969).

С 8 по 11 июня 1971 г. в Институте языкознания АН СССР проходило совещание, посвященное социолингвистическим проблемам развивающихся стран. Его организаторами были Исследовательские

секции по социальной лингвистике и эквосоциологии при Советской Социологической Ассоциации и сектор социальной лингвистики Института языкознания АН СССР. В работе совещания приняли участие сотрудники институтов АН СССР:

Института языкознания, Института востоковедения, Института этнографии, Института Африки, Института экономики, а также представители республиканских академий наук.

Было проведено два пленарных заседания и четыре секционных, из которых три посвящались социолингвистическим проблемам стран Азии, Африки и Латинской Америки, а последнее, четвертое — советскому опыту языкового строительства и решения национального вопроса.

Совещание открыл председатель Исследовательской секции по социальной лингвистике при Советской Социологической Ассоциации Ю. Д. Дешерев. В своем вступительном слове он отметил, что целью настоящего совещания является ознакомление со спецификой языковой ситуации в развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки, с конкретными проблемами, возникающими при ее изучении, а также координация научно-исследовательской работы, ведущейся в этой области многими научными центрами Советского Союза.

В обстоятельном докладе Г. Ф. Кима «Некоторые проблемы современных национально-освободительных революций» сделан глубокий анализ социально-экономических преобразований в развивающихся странах Азии и Африки. Отметив обострение национальных проблем в период национально-государственного строительства, докладчик подчеркнул необходимость их решения на основе ленинских принципов национальной политики.

В докладе Г. Б. Старушенко «Национально-освободительное движение и развитие народов Африки» вскрывается диалектическая сущность основного принципа национально-освободительной борьбы — принципа самоопределения. Остановившись на имеющемся опыте национального развития, докладчик подчеркнул, что лишь при социализме возможна полная ликвидация антагонистических национальных противоречий и создаются наиболее благоприятные условия для решения национального и языкового вопросов.

В докладе «Социолингвистические проблемы развивающихся стран и современная идеологическая борьба» Ю. Д. Дешерев отметил, что для развивающихся стран основной является проблема быстрой ликвидации вакуума между состоянием развития материальной и духовной культуры, уровнем развития науки и техники в молодых, развивающихся странах, с одной стороны, и в развитых странах, с другой стороны. В связи с этим особое значение приобретает проблема языка или языков, которые должны послужить орудием ликвидации этого вакуума в странах Азии, Африки, Латинской Америки и Океании, где весьма остро стоит вопрос об общем языке, языке межнационального общения. Не снята с

повестки дня и проблема неграмотности, до сих пор остающаяся «трагедией миллионов». Докладчик подчеркнул, что в этих условиях особого внимания заслуживают попытки использования советского опыта создания письменности для бесписьменных языков и развития национальных школ. Очевидно, что успешное применение советского опыта возможно лишь при самом тщательном учете специфических особенностей общественно-политического строя, языковой ситуации каждой отдельной страны. Докладчик выделил три основных аспекта рассмотрения языковой ситуации: собственно лингвистический, социолингвистический и этнолингвистический. Только глубокий анализ всех трех аспектов языковой ситуации, конкретные исследования обстановки в каждой стране могут дать положительные результаты при решении национального вопроса и языковых проблем развивающихся стран. В условиях острой идеологической борьбы, развернувшейся вокруг этих сложных и насущных проблем нашего времени, советские ученые, вооруженные передовой марксистско-ленинской методологией, теорией и богатым опытом языкового строительства, должны занять достойное место в разработке основных вопросов, связанных с решением социолингвистических проблем развивающихся стран.

В докладе директора Научно-методического центра русского языка В. Г. Костомарова «Сочетание „мировой язык“ как термин социально-лингвистической классификации» ставится вопрос о включении в социально-функциональную классификацию языков термина, который отразил бы наблюдающееся стремление нескольких языков к выполнению максимального числа общественных функций в национальном и интернациональном масштабе, но в то же время отличал бы их от «единого общечеловеческого языка будущего», прототипом которого пока не служит ни один из этих языков. Докладчик выделяет основные параметры, с помощью которых можно наглядно определить языки, принадлежащие к этому уровню социально-функциональной классификации. Наряду с параметрами, определяющими общественные функции «мировых языков», В. Г. Костомаров выделяет также ряд внутренних параметров, позволяющих дать объективную оценку собственных качеств или «достоинств» таких языков. Исследование «мировых языков» представляет теоретический и практический интерес и связано с такими направлениями, как интерлингвистика, языковая политика, языковое строительство, изучение «искусственного», «стихийного» и «сознательного» в развитии языка и т. д. Оценка языка в качестве «мирового» включает также вопрос о методической обработанности данного языка, его «подготовленности» для изучения иноязычной

аудиторией, наличии опыта его преподавания в разных языковых коллективах и ареалах. Разработка проблематики, связанной с явлением «мировых языков», может послужить продуктивной базой для научной пропаганды и активного содействия распространению в современном мире одного из таких языков — русского. В заключение докладчик привел ряд показательных статистических данных о возрастании интереса к русскому языку во всем мире, указав, однако, на все еще недостаточно высокий уровень его преподавания.

В докладе Л. Б. Никольского «Проблемы развития языков в независимых странах Востока» делается попытка вскрыть причины, приведшие к созданию сложной языковой ситуации на Востоке после второй мировой войны. Докладчик отметил, что провозглашение государственных языков не сняло остроты языкового вопроса в независимых государствах, и указал на ряд основных факторов, обусловивших сложность и остроту языковой политики в данном ареале: незначительная степень национальной консолидации, прочное положение колониальных языков во многих сферах общественной жизни, невозможность для многих местных языков заменить языки метрополий в силу особенностей своего внутривидового развития, в частности, вследствие отсутствия развитых терминологических систем. В качестве примера страны, где удался переход на местный государственный язык, Л. Б. Никольский рассмотрел КНДР, проанализировав специфические особенности решения вопросов языковой политики в этой стране. Докладчик подчеркнул, что решение языковых проблем зависит от правильной национальной политики государства, и в этой связи особое значение имеет популяризация советского опыта языкового строительства на основе ленинских принципов национальной политики.

Социолингвистическим проблемам Латинской Америки был посвящен доклад Н. А. Катагощиной «Роль романских языков в складывании специфических языковых ситуаций в развивающихся странах». Отметив, что вследствие процесса колонизации языковая ситуация в странах Латинской Америки характеризуется полным или частичным вытеснением местных языков испанским или португальским, докладчик детально охарактеризовала языковые ситуации в Бразилии и Парагвае. В докладе рассматриваются исторические, этнические, социальные и лингвистические факторы, обусловившие наличие в Бразилии, наряду с литературным бразило-португальским языком, так называемого «народного языка». Говоря о соотношении между литературным и «народным» языком, Н. А. Катагощина сделала критический обзор новейшей литературы по этому вопросу,

отметив все еще недостаточную его разработанность, и подчеркнула, что особый интерес для социолингвиста представляет изучение путей дальнейшего развития этих двух языков и их соотношения. Кроме того, в докладе затрагивается проблема устойчивого гуарани-испанского билингвизма в Парагвае, где гуарани пользуется престижем, хотя и не является государственным языком. В заключение Н. А. Катагощина высказала пожелание расширить изучение языковых ситуаций в странах Латинской Америки, чтобы советские ученые смогли внести достойный вклад в решение сложных социолингвистических проблем этого ареала.

В докладе С. А. Арутюнова и Н. Н. Чебоксарова «Языковые коммуникации и национальная консолидация» устанавливается прямая зависимость между социальной и языковой расчлененностью. Различия между характерными для определенных общественных формаций типами этнических общностей, народностями и нациями объясняются, по мнению авторов, наличием определенных «порогов плотности коммуникации, свойственных каждому из этих типов». Интересна попытка авторов представить языковые этнические группы в виде лингвистически стратифицированных пирамид с разноязычными бассейнами, в конкуренции которых можно усматривать отражение борьбы интересов различных социальных групп.

Доклады по языковым ситуациям отдельных стран на совещании подразделялись по региональному признаку. Странам арабского мира были посвящены доклады Г. Ш. Шарбатова «Общеарабский литературный стандартный язык и варьирование его различных уровней как социолингвистический фактор», в котором на материале различных арабских диалектов и литературного арабского языка сделан детальный анализ фонологических, лексико-семантических и синтаксических расхождений, выступающих как социолингвистические факторы социальной дифференциации; С. Х. Кямалева «Языковая ситуация в Ливии», содержащий интересный новый материал, свидетельствующий о развитии арабизации после революции 1967 г. и ориентации на общеарабский литературный язык, а также доклад Б. В. Романова «Некоторые проблемы языковой ситуации в Демократической Республике Судан», где рассматривается влияние этнических, географических и политико-экономических факторов на языковую ситуацию в Судане и отмечаются различия в функционировании письменной литературной и разговорной форм арабского языка, из которых последняя выступает как средство межплеменного общения.

Языковым проблемам стран Черной

Африки посвящены доклады сотрудников группы африканских языков Ин-та языкознания И. С. Федосеевой («Языковая ситуация в Танзании»), А. Б. Долгопольского («Проблема алфавита в Сомали»), а также доклады А. Д. Луцкого («Роль местных языков в жизни населения Танзании») и В. Е. Овчинникова («Языковая политика партии ТАНУ»). В докладах И. С. Федосеевой и А. Д. Луцкого рассматривается взаимоотношение национального языка Танзании — суахили — и английского языка, выполняющего широкие социальные функции в деловой и научной жизни страны, а также анализируются социальные функции местных племенных языков. Доклад А. Б. Долгопольского посвящен актуальной проблеме разработки письменности на базе арабской и латинской графики в Сомали, рассматриваются возможные варианты с точки зрения реализации в них специфики фонологической и фонетической систем сомалийского языка.

Вопросам языковой ситуации в странах иранских языков посвящены доклад Л. Н. Киселевой «Тенденции развития языка дари Афганистана как национального варианта персидского языка», где рассматриваются проблемы нормирования языка дари и специфика его внутривидового развития; выступления К. Н. Ереминой «К вопросу о перераспределении языковых контактов (на материале современного персидского языка)», посвященное лексическим заимствованиям из европейских языков в современном персидском языке; А. И. Самилова «Развитие современного литературного персидского языка и вопросы лексической нормы» и Д. Б. Логашевой «Основные аспекты просветительской деятельности „корпуса просвещения“ в Иране».

Проблемы языковой ситуации в Турции рассматриваются в докладе А. Н. Баскакова «Языковая политика „Турецкого лингвистического общества“, где анализируется деятельность «Турецкого лингвистического общества», направленная на «очищение» турецкого языка как от персидско-арабских, так и европейских заимствований. Конкретные пути «очищения» турецкого языка освещаются в выступлении Р. Р. Юсиповой «О некоторых путях „очищения“ современного турецкого литературного языка».

Социолингвистическим проблемам многонациональной Китайской Народной Республики были посвящены доклады М. В. Софронова, М. В. Крюкова, Ю. Л. Благодировой и А. А. Москалева.

Широкое освещение получили социолингвистические проблемы Индии, которым были посвящены доклады В. А. Чернышева («Об одном аспекте языковой ситуации в Индии»), Л. М. Чевкиной

(«О языковой ситуации в бенгалоязычных районах Индии и Пакистана»), Ю. А. Смирнова («Движение за образование штата Индии на основе населения — носителя языка пенджаби»), а также выступления В. М. Бескровного («Английский язык и лексика литературного хинди»), Л. В. Хохловой («К вопросу о языковой ситуации в штате Раджастан»), А. А. Сигорского («Социолингвистическая характеристика переводов общественно-политической литературы с русского на хинди»), С. А. Маретиной («Языковая ситуация в северо-восточной Индии») и Т. Халмурзаева (Ташкент) «К истории возникновения и развития проблемы урду, хинди, хиндустани».

Большой интерес вызвали доклады, посвященные языковой ситуации отдельных стран: Ю. А. Горгоновой «Языковая ситуация в Камбодже», Е. В. Пузицкого «Языковая ситуация в Бирме», Е. А. Кондрашкиной «О некоторых языковых проблемах сегодняшней Индонезии», Ю. А. Осипова «Проблема общего языка в Малайзии», И. Д. Скорбатьюка «О новой тенденции в терминотворческой работе в КНДР».

Этнолингвистический аспект социолингвистических проблем подробно рассматривается в докладах сотрудников Ин-та этнографии Я. В. Чеснова («Национальное развитие и языковые процессы юго-восточной Азии») и Г. Г. Стратановича («Местные этнолингвистические классификации юго-восточной Азии»), особо подчеркнувшего значение систематики языков и разработки этнолингвистической классификации по языковому признаку.

Специальное заседание было посвящено советскому опыту решения национального вопроса и языкового строительства. Доклад М. И. Исаева «Некоторые вопросы нормирования младописьменных языков» касался проблем создания алфавитов для языков народов СССР, письменностей на этих языках, а также вопросов создания терминологии на младописьменных языках. Сложные проблемы развития нации и языка затрагиваются в выступлении Л. М. Дробжевой «Международные ориентации и языковые контакты». В докладе М. Н. Губогло «Интегрирующие функции языка» на материале исследования структуры этнического самосознания различных групп населения в Молдавской ССР делается попытка установить определенную зависимость между языком и остальными элементами этноса.

В докладе В. Ю. Михальченко «Развитие литовского языка в советскую эпоху», посвященном функциональному развитию литовского языка, показаны выдающиеся достижения в развитии социальных функций этого языка в советскую эпоху. В выступлении С. И. Трес-

ковой «К вопросу о социолингвистических основах создания лингвистической терминологии в младописьменных языках народов СССР» делается попытка установить взаимозависимость между внутренними и социальными факторами при создании и развитии терминологических систем в языках народов СССР.

В прениях выступило большинство участников совещания. Широкие дискуссии открылись в связи с проблемой создания письменности для ранее бесписьменных языков, а также по вопросу создания письменности на основе алфавита для идеографических языков. Свои соображения высказали М. И. Исаев, Г. Г. Стратанович, М. В. Софронов, С. Х. Кямилев, говорившие о реальных возможностях и необходимых условиях для создания письменности. В выступлении М. И. Исаева подчеркивалось значение советского опыта создания письменности для бесписьменных языков народов СССР.

Интересная научная дискуссия развернулась в связи с этнолингвистической классификацией по языковому признаку, а также по проблемам языковых ситуаций и социальных функций языков. По этим вопросам выступили Г. Г. Стратанович, Н. Н. Чебоксаров, Л. Б. Никольский, В. А. Чернышев, Н. А. Катагощина, Ю. А. Смирнов, Ю. Д. Дешериев. Выступившие в прениях подчеркнули важность

настоящего совещания в плане теоретического изучения социолингвистических проблем развивающихся стран.

На научно-организационном заседании был выработан ряд предложений, единодушно принятых участниками совещания в качестве руководства в дальнейшей работе в области социолингвистики и этносоциологии развивающихся стран. Подчеркнув плодотворность сотрудничества лингвистов и этнографов в изучении языковой ситуации, совещание приняло решение о координации дальнейшей деятельности по развертыванию научно-исследовательской работы, направленной на изучение языковых проблем развивающихся стран.

Совещание «Социолингвистические проблемы развивающихся стран» еще раз продемонстрировало верность советских ученых принципам марксистско-ленинской теории в решении вопросов национальной и языковой политики. Разрабатывая социолингвистические проблемы развивающихся стран, необходимо учитывать конкретную обстановку в каждой стране, глубоко вникать в сущность исследуемых явлений, оценивать их с позиции марксистско-ленинской теории, проявлять величайшую ленинскую чуткость к национальным чувствам и традициям.

Е. Н. Сценсович, С. И. Трескова
(Москва)

*

Обсуждение Малого древнерусского словаря XI—XVII вв. состоялось в Институте русского языка АН СССР на заседании Ученого совета в январе 1971 г. Обсуждались словарные статьи на буквы И — М. В качестве рецензентов выступали два словарных коллектива: Словаря русских народных говоров Словарного сектора Института языкознания АН СССР г. Ленинграда под руководством Ф. П. Сороколетова и Старобелорусского словаря Сектора истории белорусского языка Института языкознания им. Я. Коласа АН БССР под руководством А. П. Журавского.

Рецензенты из коллектива Словаря русских народных говоров, подчеркивая «острую нужду русского и славянского языкознания в исторических словарях разных типов», отметили, что «предложенный тип словаря будет нужным и полезным лексикографическим пособием...». Значительное обогащение словника по сравнению с самым большим из существующих исторических словарей — «Материалами» И. И. Срезневского (в них 40 тыс. слов) — бесспорное достоинство нового лексикографического пособия: в нем будет представлено более 30 000 слов, до сих пор не отраженных ни в одном лексикографическом труде по языку XI—XVII вв. МДРС поможет «уточнить хро-

нологию появления слова в русском языке...». До сих пор словарем, впервые зафиксировавшим слова *каденция* и *кадий*, являлся «Новый словоупотребитель» Яновского (1804). В МДРС первое из указанных слов иллюстрируется цитатой из памятника 1681 г., а второе — 1517 г. Более полно отражается в словаре и сама жизнь слова. «Если в „Материалах“ при слове *казенный* всего 2 примера, то МДРС посвящает этому слову 2 страницы текста, богато иллюстрируя слово».

Замечания рецензентов Словаря русских народных говоров касались проблем отдельного слова и его вариантов, орфографии заголовочного слова, отдельных случаев толкования значений слов, грамматической характеристики и др.

Среди замечаний, которые предстоит учесть составителям МДРС, наиболее сложен вопрос о «способах показа категории вида, которая для представленного в словаре периода не может быть признана окончательно сложившейся». Не происходит ли «переноса нашего современного восприятия категории вида на древний материал» с установкой на видовые пары? «Правомерны ли попытки представить „видовые пары“, для периода, когда многие глаголы оставались неохарактеризованными в отношении вида»? В словаре толково-переводного типа, ориентирую-

шемся во многих случаях на ретроспективный подход к материалу, опирающемся на материал картотеки, в которой до 58% цитат относится к периоду XV—XVII в.¹, такое решение проблемы показа глагольного вида в подавляющем большинстве случаев возможно, но, вероятно, оно не должно оставаться жестким, единственным. По-видимому, шире следует пользоваться средствами перевода.

Белорусскими коллегами также был сделан ряд замечаний по подготовленной части словаря. Отмечалась неточность толкований отдельных слов. *Прей*, например, толкуется как «страна чудес, земной рай, теплые страны». В толковании семантическая характеристика широка. Белорусское «вырай — теплые страны» позволяет, сузив, уточнить ее. Отмечались случаи разного типа толкований при однотипных словах, спорны, на взгляд рецензентов, определения исходной формы некоторых реестровых слов. Следует выделить особо проблему омонимии, слабо разработанную для исторических словарей с широким хронологическим охватом и не освещенную достаточно полно и последовательно в Инструкции для составителей МДРС.

¹ О Картотеке ДРС см. подробнее статью О. И. Смирновой в сб. «Лингвистические источники. Фонды Института русского языка АН СССР», М., 1967, стр. 106.

Высоко оценивая словарь как «серьезное научное начинание, призванное сыграть большую роль в деле изучения истории словарного состава русского языка» специалистами-филологами, рецензенты из Минска отмечают, вместе с тем, что составителям удалось придать словарю нужный аспект справочного пособия, которым мог бы пользоваться широкий круг читателей для чтения древнерусских текстов XI—XVII вв. «Особо следует подчеркнуть значение словаря для составителей словарей старобелорусского и староукраинского языков».

На заседании Ученого совета зачитывался отзыв Р. Эккерта (ГДР) о материалах по букве М. С развернутой рецензией по букве Л выступил чл.-корр. АН СССР Ф. П. Филин. Им было высказано желание отнестись с большей требовательностью к определениям и подбору цитат с точки зрения историко-культурной. Например, иллюстрирование слова *Лавра* одним примером из «Жития и хожения» игумена Давиила 1113 г. явно недостаточно. Наряду с наиболее ранней фиксацией для Малого древнерусского словаря важно при цитации сообщить, когда термин *Лавра* появился на Руси, когда стали именоваться лаврой Киево-Печерский, Троице-Сергиевский монастыри.

Ученый совет принял к печати обсуждавшийся материал (И — М).

Г. А. Богатова (Москва)

ИСПРАВЛЕНИЯ

В № 5, 1971 г. в таблице на стр. 16 в стлб. V «девять» следует читать *н'ан'бин а*, *н'авин а*; в стлб. VIII следует читать:

н'ојос
мэојос
т'ојос
нојыс
т'оојос

На стр. 128 сноски 7 должна заканчиваться словами: «ВЯ, 1969, 4, стр. 90), который ранее пытался дать этому понятию приемлемое определение».

CONTENTS

Articles: I. K. Beloded (Kiev). The Soviet people, nations, languages; **Discussions:** R. A. Budagov (Moscow). Does the principle of linguistic economy really determine the development and functioning of language?; S. I. Kotkov (Moscow). On the monuments of popular-colloquial speech; Y. Goreckij (Bratislava). The phonological system of the Slovak literary language; M. L. Gasparov (Moscow). The metrical repertoire of the Russian lyric poetry of the XVIII—XX centuries; **Materials and notes:** A. I. Sologub (Moscow). The forms of the genitive, the dative and the prepositional cases of the feminine nouns in the productive declension-type of Russian dialects; A. I. Dubinskij (Warsaw). Notes on the language of the Lithuanian Tatars; G. Doerfer (Göttingen). On the state of investigation of the Haladshian group of languages; E. I. Tsarenko (Donetsk). The laryngalisation in the Kechua language; A. N. Kačalkin (Moscow). The monuments of the local official writing of the XVII century as source of historical lexicology; R. S. Manučarian (Yerevan). Problems of interpretation and measurement of the word-depth; A. K. Kibrik (Moscow). On formal isolation of concord classes in the Archin language; **Critics and bibliography;** **Scientific life: Letters to the Editorial Office:** G. S. Akhvlediani (Tbilisi). New trends in Kartvelian studies.

SOMMAIRE

Articles: I. K. Beloded (Kiev). Le peuple soviétique, les nations, les langues; **Discussions:** R. A. Boudagov (Moscou). Est-il vrai que le principe d'économie linguistique détermine le développement et le fonctionnement de la langue?; S. I. Kotkov (Moscou). Sur les monuments du langage populaire parlé; Y. Goreckij (Bratislava). Système phonologique de la langue littéraire slovaque; M. L. Gasparov (Moscow). Répertoire métrique de la poésie lyrique russe aux XVIII—XX siècles; **Matériaux et notices:** A. I. Sologoube (Moscou). Les formes de génitif, de datif et de prépositionnel des noms féminins dans la déclinaison productive des parlers russes; A. I. Dubinskij (Varsovie). Quelques remarques sur la langue des Tatares lithouaniens; G. Doerfer (Göttingen). Recherches sur les langues du groupe Khaladch; E. I. Tsarenko (Donetsk). La laryngalisation dans la langue ketchua; A. N. Kačalkin (Moscou). Les monuments d'écriture officielle locale du XVII siècle comme source de lexicologie historique; R. S. Manučarian (Yerevan). Problèmes d'interprétation et de mesure de la profondeur du mot; A. K. Kibrik (Moscou). Sur la distinction formelle des classes de d'accord grammaticale dans la langue archine; **Critique et bibliographie;** **Lettres à la rédaction:** G. S. Akhvlediani (Tbilisi). Nouvelles tendances des études kartvéliennes.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах, хорошо обработанные литературно и подписанные автором. И текст, и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала.

После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 24 стр., объем рецензии — 15 стр. машинописи.

3. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам.

4. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка: автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах.)

5. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их — в кавычках.

6. Все формулы и буквенные обозначения величин должны быть четко выполнены чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

7. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью; чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями; все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два — три раза, поэтому, фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетко, не принимаются. На обороте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка.

8. Непринятые рукописи, как правило, авторам не возвращаются.

9. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

Технический редактор *Н. А. Колгурина*

Сдано в набор 30/X-1971 г. Т. 01202 Подписано к печати 3/1-1972 г. Тираж 7185 экз.
Зак. 3006 Формат бумаги 70×108¹/₁₆ Усл. печ. л. 14,7+1 вкл. Бум. л. 5¹/₄. Уч.-изд. л. 17,0

2-я типография издательства «Наука», Москва, Шубинский пер., 10



Карта 2. Документы местных учреждений XVII в.

ВЯ 1972 1 с 106-107

